Г. Адамович

георгий **АДАМОВИЧ**

СТИХИ, ПРОЗА, ПЕРЕВОДЫ

T. [illegible]

Георгий **АДАМОВИЧ**

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Георгий **АДАМОВИЧ**

СТИХИ, ПРОЗА, ПЕРЕВОДЫ



Санкт-Петербург 1999

ББК Ш6(2=Р)6
УДК 882–8 Адамович

Издание подготовлено в рамках программы центра «Русская литература: XX век»

В очередной том собрания сочинений известного эмигрантского поэта, эссеиста и критика Георгия Викторовича Адамовича (1892–1972) вошла практически вся его немногочисленная беллетристика.

Это наиболее полное на сегодняшний день собрание стихов, прозы и переводов вдохновителя «Парижской ноты».

ISBN 5-89329-173-5



«БЕЗ КРАСОК И ПОЧТИ БЕЗ СЛОВ...»

(поэзия Георгия Адамовича)

Поэтическая карьера Адамовича с самого начала складывалась весьма успешно. По свидетельству Георгия Иванова, первая же книга Адамовича «“Облака” сразу сделала никому неведомого юного поэта “своим” в наиболее изысканном и разборчивом литературном кругу»[1]. На сборник появилось восемь одобрительных рецензий, в том числе отзывы Гумилева, Ходасевича, Жирмунского. Почти все рецензенты писали об Адамовиче как о поэте еще не установившемся, но обладающем необходимой самостоятельностью, а также хорошим вкусом (категория в акмеистской среде очень значимая). И все сошлись на том, что его поэзию следует отнести к чистой лирике. Гумилев писал об Адамовиче: «Он не любит холодного великолепия эпических образов, он ищет лирического к ним отношения»[2]. «За исключением двух или трех стихотворений, представляющих собою стихи-живопись, “Облака” всецело относятся к

---

[1] *Иванов Г.* Третий Рим. Художественная проза. Статьи. — Tenafly: Эрмитаж, 1987. С. 304.

[2] *Гумилев Н.* Письмо о русской поэзии // Аполлон. 1916. № 1. С. 26.

чистой лирике», — вторил ему другой рецензент [3]. Жирмунский добавлял к этому еще одно наблюдение: «Лирика Адамовича носит почти всегда элегический характер» [4].

Через несколько лет М. Кузмин подчеркнул эту особенность как едва ли не главную в стихах Адамовича, выгодно отличающую их от общей литературной продукции того времени. Делая обзор пореволюционной поэзии, М. Кузмин заметил, что «из десятков книг лирическое содержание можно найти в книге Г. Адамовича "Чистилище"» [5].

Казалось, столь удачно начавший автор надолго, если не навсегда, был обречен оставаться местной знаменитостью в столичных кругах литературной аристократии. Жизнь, однако, распорядилась по-другому.

«Чистилище» вышло в 1922 году, ситуация в стране была иная, изменилось и отношение к поэзии. Почти все немногочисленные отзывы на стихи Адамовича начала двадцатых годов излишне политизированы и, будучи написаны в свойственной тому времени манере, посвящены по большей части не особенностям поэтики, а инвективам в адрес автора. Наряду с упреками в несовременности критики постоянно подчеркивали литературность и безжизненность этих стихов. Николай Тихонов в статье о третьем альманахе Цеха поэтов заявил:

---

[3] Северные записки. 1916. № 2. С. 229. Подп.: Р. Д.

[4] Биржевые ведомости. 1916. 14(27) октября. № 15861. С. 5.

[5] *Кузмин М.* Парнасские заросли. — В кн.: Завтра: Литературно-критический сборник. I. Берлин, 1923. С. 119.

«Несмотря на то, что форма у них классическая, по-своему <...> стихи Г. Адамовича, Оцупа и Г. Иванова бесплодны и сухи»[6]. Илья Груздев счел, что «образы и темы Георгия Адамовича насквозь литературны»[7]. Тот же упрек слышен и в отзыве Нины Берберовой: «Отличительная черта Георгия Адамовича — его тщательность. В учебник стихосложения его стихи могли бы войти образцами. Не раз было говорено, что у Ахматовой много подражательниц среди поэтесс: гораздо тоньше, но и сильней, подражает Ахматовой Адамович. Строение стихотворений, темы и особенно интонации, которыми Ахматова так богата, поразительно точно переняты им, но часто звучат искусственно»[8].

Одобрительный пафос критики тех лет тоже нельзя назвать очень метким. Например, Борис Гусман в своей книге «100 поэтов» на трех страницах набросал портрет Адамовича в таком духе: «Застывшая оледеневшая душа <...> опустошенное сердце и отравленный сомнениями ум — вот с чем пришел Георгий Адамович в мир»[9].

Роман Адамовича с советской критикой был непродолжителен и завершился вместе с его эмиграцией. После 1925 года в течение шестидесяти лет случайные упоминания самого имени Адамо-

---

[6] *Тихонов Н.* Граненые стеклышки: о третьем альманахе Цеха поэтов // Жизнь искусства. 1922. 23 мая. № 20. С. 4.

[7] Книга и революция. 1922. № 7. С. 59.

[8] Современные записки. 1924. № 19. С. 432.

[9] *Гусман Б.* 100 поэтов: Литературные портреты. — Тверь, 1922 (на титуле — 1923). С. 5.

вича в советской печати можно пересчитать по пальцам, и о каких-либо критических оценках его поэзии в России в этот период говорить не приходится. Наиболее обстоятельной оставалась характеристика, данная в десятом томе «Истории русской литературы», где в связи с акмеизмом, «течением, выражавшим все наихудшие, наиболее декадентские черты символизма», упоминалось и о третьем Цехе поэтов, который «имел ярко выраженный контрреволюционный характер. Его вожди — Г. Иванов и Г. Адамович — вскоре перешли в лагерь белой эмиграции»[10].

На славе Адамовича в эмиграции отзывы советских критиков никак не сказались. В Париж он прибыл с прочной репутацией «тишайшего поэта»[11], строгого мастера с негромким голосом, и на это звание здесь никто всерьез не посягал. Даже наиболее ярые противники литературной позиции Адамовича не подвергали сомнению его положение мэтра, право быть наставником молодежи, положительно отзываясь о его поэзии не только в печати, но и в частных высказываниях.

Например, Ходасевич в письме Карповичу от 3 июня 1925 года, весьма нелицеприятно говоря об Адамовиче как человеке, все же признает, что он «способностей стихотворных не лишен»[12]. Глеб Струве, более, чем кто-либо другой, имевший претензий к критической деятельности Адамовича, на-

---

[10] История русской литературы. М.; Л.: Наука, 1954. Т. 10. С. 724, 777–778.

[11] Звено. 1923. 26 ноября. № 43. С. 3.

[12] Oxford Slavonic Papers. 1986. Vol. XIX. P. 144.

ходил в его поэзии немало достоинств и некоторые стихотворения считал «действительно прекрасными»[13]. Альфред Бем, придерживающийся иных воззрений на литературу, чем Глеб Струве и Ходасевич, но тоже вечный оппонент Адамовича, находил у последнего «несомненное поэтическое дарование»[14]. Даже Набоков, в пылу острой литературной борьбы позволявший себе любые выражения в адрес противника вплоть до заведомо эпатажных, выводя в романе «Дар» пародийный портрет Адамовича под именем Христофора Мортуса, упоминает о печатавшихся им «в молодости в “Аполлоне” отличных стихах»[15]. Пожалуй, единственным исключением была резко отзывавшаяся о стихах Адамовича Марина Цветаева, но тут уже сказывалась принципиальная противоположность литературных и жизненных установок. Ю. Иваск верно заметил, что «если бы они неожиданно сблизились — Цветаева перестала бы быть Цветаевой, а Адамович Адамовичем»[16].

В Париже о поэзии Адамовича писали мало, слишком большое место занял он в сознании поколения как критик, эссеист и наставник молодых поэтов, наиболее острая полемика развертывалась вокруг этих областей его деятельности, собственно

---

[13] *Струве Г.* Русская литература в изгнании. — Париж: YMCA-Press, 1984. С. 320.

[14] *Бем А.* Письма о литературе: Культ Пушкина и колеблющие треножник // Руль. 1931. 18 июня. № 3208. С. 2.

[15] *Набоков В.* Собрание сочинений в четырех томах. М.: Правда, 1990. Т. 3. С. 151.

[16] *Иваск Ю.* Разговоры с Адамовичем (1958–1971) // Новый журнал. 1979. № 134. С. 92.

же поэзия оказалась отодвинута в сторону славой «первого критика эмиграции», как назвал Адамовича Бунин[17]. Усугублялось это и тем, что Адамович, регулярно публикуя свою критическую прозу, на которой сосредоточилось всеобщее внимание, не столь уж часто напоминал о себе как о поэте. Стихи его изредка появлялись в эмигрантской периодике, обязательно включались во все альманахи и антологии и воспринимались всеми как-то безоговорочно, споров не вызывали. Как позднее заметил Георгий Иванов, «обращенные к широкой аудитории образцовые статьи, заслуженно создавшие имя автору — несколько отодвигали в тень еще более замечательного “другого Адамовича” — поэта и критика поэзии, не для всех, а для немногих»[18].

Свой новый сборник стихов «На Западе» Адамович выпустил только в 1939 году, перед самой войной. На него отозвались ведущие критики эмиграции. Обостренным чувством ответственности за свои слова объясняла Зинаида Гиппиус простоту и недосказанность стихов Адамовича: «...как бы замирание голоса, остановку на полуфразе-полуслове <...> Лучше недоговорить, лучше умолчать <...> Простота бывает и своего рода изысканностью, но в этих стихах она прямо, просто (и сознательно) проста»[19].

---

[17] Литературное наследство. Т. 84. Кн. I. М.: Наука, 1973. С. 679.

[18] *Иванов Г.* Третий Рим. Художественная проза. Статьи. — Tenafly: Эрмитаж, 1987. С. 322.

[19] Последние новости. 1939. 9 марта. № 6555. С. 3. Подп.: Антон Крайний.

Свой «ключ к пониманию поэзии Адамовича» предложил П. М. Бицилли. По его мнению, «всякое искусство рождается из “тревоги” и является своего рода спасением от нее посредством перехода в “иной план бытия”, касания “иных миров”. Но есть различные виды “тревоги” и различные способы видения “иного мира”». В отличие от метафизической тревоги Баратынского и Тютчева в стихах Адамовича Бицилли усмотрел «тревогу совести — индивидуальной и коллективной, тревогу бл. Августина, ужас перед однажды совершившимся и непоправимым злом <...> переживание, из которого вышла вся философия Шестова с ее постулатом, обращенным к Богу: “сделать бывшее небывшим”». Бицилли считал, что Адамович находит в своей поэзии единственно верный выход: «выход не из жизни, а из “истории”» — в иной жизненный план «ничего не требующей, никакой награды не ждущей Любви»[20].

После войны в эмиграции при упоминании имени Адамовича в первую очередь приходила на ум его критическая деятельность, хотя, например, Н. Станюкович считал, что «вопреки общему мнению, он больше поэт, чем критик»[21]. Ему вторил Ю. Иваск, утверждая, что Адамович «прежде всего был поэт, а не критик»[22].

Ко времени выхода итогового сборника стихов «Единство» Адамович многими в эмиграции воспринимался уже не просто мэтром, а «патриархом за-

---

[20] Современные записки. 1939. № 69. С. 383–384.

[21] Возрождение. 1955. № 48. С. 139–140.

[22] *Иваск Ю.* Собеседник: Памяти Георгия Викторовича Адамовича // Новый журнал. 1972. № 106. С. 286.

рубежной поэзии», как титуловал его Валерий Перелешин в своей «Поэме без предмета»[23]. Под стать этому были и критические суждения о его поэзии, — как правило, восхищенные, без каких-либо попыток анализа. Лишь Роман Гуль, говоря о нескольких стихотворениях, позволил себе «упрекнуть поэта за некую риторичность — в ущерб словомузыке. Но таких пьес мало»[24]. Аналогичный упрек высказывал позднее и Игорь Чиннов, в целом высоко оценивая поэзию своего учителя. В некоторых стихах Адамовича он находил нехарактерную для «апостола аскетизма» «добавку контрастной поэтической риторики»[25]. Ю. Терапиано отдавал должное «Адамовичу-поэту, в силу обстоятельств, при жизни в Париже, имевшему мало времени для писания стихов»[26].

Зарубежные слависты также первоначально обратили внимание на Адамовича-критика. Лишь в нескольких работах исследователи касались его поэзии[27]. Известность и даже своеобразная слава Адамовича-эссеиста и вдохновителя «парижской

---

[23] *Перелешин В.* Поэма без предмета. — Холиок, 1989. С. 71.

[24] Новый журнал. 1967. № 89. С. 278–279.

[25] *Чиннов И.* Вспоминая Адамовича // Новый журнал. 1972. № 109. С. 140.

[26] Русская мысль. 1972. 15 июня. № 2899. С. 9.

[27] *Tjalsma William.* The Petersburg Modernists and the Tradition. — В кн.: Антология петербургской поэзии эпохи акмеизма. — München, 1973. P. 7–26; *Tjalsma William.* Acmeism, Adamovic, the «Parisian Note» and Anatolij Steiger // Russian Language Journal. Supplementary issue. (East Lancing, Michigan) 1975. P. 92–105; *Smith G. S.* The versification of Russian Emigre Poetry 1920–1940 // The

ноты» отвлекли внимание публики от его стихов, тем более что он не стремился что-либо делать для своей поэтической популярности, предпочитая оставаться поэтом для немногих. По крайней мере отчасти Адамович сознательно отходил в тень, уступая пальму первенства Георгию Иванову. В результате его нередко считали тем же Ивановым, но разливом пожиже. Думается, тут все сложнее, причем дело не только в разных масштабах дарования. Ю. Терапиано недаром возражал Ю. Иваску, считая, что «он напрасно слишком сближает поэзию Георгия Адамовича с поэзией Георгия Иванова. Эти поэты совсем различны по существу»[28]. Сам Адамович склонен был считать так же и в письме Одоевцевой однажды заявил: «Когда-то Лозинский (помню это хорошо, на каком-то Цехе или вроде, после смерти Гум[илева]) сказал, что нет на свете людей и литераторов более различных, чем Ив[анов] и Ад[амович] — при кажущейся близости. Что совершенно верно»[29]. Через вторые руки до нас дошло и мнение Гумилева на этот счет, который склонялся к такой же точке зрения. Н. Чуков-

---

Slavonic and East European Review. 1978. Vol. 56. № 1. P. 52–66; *Hagglund Roger.* A vision of Unity: The Poetry of Georgij Adamovic // Slavic and East European Journal. 1981. Vol. XXV. № 1. P. 39–51; *Hagglund Roger.* A vision of Unity: Adamovic in Exile. — Ann Arbor: Ardis, 1985.

[28] Русская мысль. 1969. 13 февраля. № 2725. С. 8–9.

[29] Эпизод сорокапятилетней дружбы-вражды: Письма Г. Адамовича И. Одоевцевой и Г. Иванову (1955–1958) / Публ. О. А. Коростелева // Минувшее: Исторический альманах. 21. СПб.: Atheneum: Феникс, 1997. С. 420.

ский вспоминал, что Гумилев о Георгии Иванове и Адамовиче «отзывался всегда как о крупнейших, замечательнейших поэтах». По его словам, «они олицетворяли внутри "Цеха" как бы две разные стихии — Георгий Иванов стихию романтическую, Георгий Адамович — стихию классическую»[30].

В эмиграции и в первой, и во второй, и в третьей волне то и дело кто-нибудь к собственному искреннему удивлению открывал заново Адамовича и изумлялся, какой это интересный поэт. Д. Бобышев, впервые прочитав представительную подборку лучших стихов Адамовича в антологии Вадима Крейда «Ковчег», был потрясен, обнаружив «большого поэта»[31]. Но свой круг поклонников и почитателей у Адамовича был всегда.

«Дети свою родословную знают, и в ней их не собьешь...»

На генеалогии поэзии Адамовича, на родословной его души следует остановиться подробнее. Мандельштам писал: «На вопрос, что хотел сказать поэт, критик может и не ответить, но на вопрос, откуда он пришел, отвечать обязан»[32]. Первые критики стихов Адамовича сочли своим долгом

---

[30] *Чуковский Н.* Литературные воспоминания. — М.: Советский писатель, 1989. С. 35.

[31] *Бобышев Д.* «Ковчег», или Укладка с грамотами // Панорама (Лос-Анджелес). 1993. 3–9 февраля. № 617. С. 20.

[32] *Мандельштам О.* Слово и культура. — М.: Советский писатель, 1987. С. 76.

сделать именно это. Практически каждый рецензент его первой книги «Облака» назвал имена тех поэтов, которые, по его мнению, оказали влияние на стихи Адамовича. И уже здесь обнаружилась любопытная особенность стихов, проявившаяся по-настоящему гораздо позднее.

Одни рецензенты усмотрели в Адамовиче типичного представителя поэтической школы «Гиперборея». В. Жирмунский написал, что «учителями его, по преимуществу, должны считаться Кузмин, И. Анненский и Ахматова»[33]. То, что Адамович «слишком подчинен Ахматовой и Анненскому», отметил также И. Оксенов[34]. Другие рецензенты, кроме «гиперборейства», увидели и иные основы. Ряд влияний, «почти обязательных для поэтов “Гиперборея”, особенно влияние А. Ахматовой, а через нее — Иннокентия Анненского и — дальше — Верлена», — отмечал в «Облаках» и В. Ходасевич, добавляя затем: «...также есть в них кое-что от Блока, кое-что от Андрея Белого»[35]. К. Липскерову тоже показалось, что в стихах Адамовича «слышится то Блок, то Белый, то Ахматова»[36].

Имя Блока было названо не всуе, в позднейшей литературе об Адамовиче оно встанет на первое место, см., например, мнения З. Гиппиус[37] или

---

[33] Биржевые ведомости. 1916. 14 (27) октября. № 15861. С. 5.

[34] Новый журнал для всех. 1916. № 2–3. С. 74.

[35] Утро России. 1916. 5 марта. № 65. С. 7.

[36] Русские ведомости. 1916. 10 августа. № 184. С. 5.

[37] Последние новости. 1939. 9 марта. № 6555. С. 3. Подп.: Антон Крайний.

Ю. Иваска[38]. Но Блок и «гиперборейцы», казалось бы, «две вещи несовместные», особенно в те времена открытого противоборства двух направлений. И тем не менее сборник не был рядовой дилетантской эклектикой, что чувствовали и сами рецензенты. Недаром почти каждый из них, перечислив влияния, тут же считал необходимым упомянуть и о самостоятельности. «Ученик г. Адамович хороший: у него есть вкус, есть желание быть самостоятельным», — писал Ходасевич[39]. «Хорошую школу и проверенный вкус» с удовлетворением отмечал и Гумилев, прозорливо добавляя, что «иногда проглядывает своеобразие мышления, которое может вырасти в особый стиль и даже мировоззрение»[40]. «Непохожий на Ахматову по основному душевному тону, Адамович может развиться в самостоятельного и своеобразного представителя нового направления», — заключал Жирмунский[41]. Суммируя все это, В. Еникальский заявил, что «можно составить генеалогию почти каждого образа Адамовича. Среди “источников” — и Анненский, и Блок, и Кузмин, и Гумилев, и Ахматова, и т. д. вплоть до Георгия Иванова. Однако, несмотря на все это, уже сразу, после 2–3 стихов Адамовича становится ясно, что у него есть свое лицо»[42].

---

[38] *Иваск Ю.* Эпоха Блока и Мандельштама: Главы из задуманной книги // Мосты. 1968. № 13–14. С. 209–235.

[39] Утро России. 1916. 5 марта. № 65. С. 7.

[40] *Гумилев Н.* Письмо о русской поэзии // Аполлон. 1916. № 1. С. 26.

[41] Биржевые ведомости. 1916. 14 (27) октября. № 15861. С. 5.

[42] Журнал журналов. 1916. № 30. С. 9.

Уже в этих первых рецензиях на ранние стихи были верно отмечены черты будущей зрелой поэтики Адамовича: заметное воздействие двух разных поэтик — акмеизма и символизма, ярко выраженная цитатность и при всем внешнем эклектизме свое самостоятельное лицо, собственная поэтика, способная сплавить столь разнородные элементы в единое целое.

Младшие акмеисты

Первый, дореволюционный этап Адамовича прошел под знаком акмеизма, уже переживающего кризис. Самое раннее из известных нам датированных стихотворений Адамовича обозначено 1914 годом. В начале того же 1914 года Адамович «был со всем церемониалом принят обоими синдиками, Гумилевым и Городецким»[43] в Цех поэтов. Отпечаток своеобразно усвоенного акмеизма сохранился на страницах первого сборника Адамовича «Облака», а в трансформированном виде — и на последующих стихах.

О содержании понятия «акмеизм» до сих пор ведутся горячие споры[44]. Суть их сводится к тому, что одни авторы вообще отказывают акмеизму в

---

[43] Два неизвестных письма Г. Адамовича / Публ. Жоржа Шерона // Новый журнал. 1988. № 172–173. С. 569.

[44] См. тематические номера журнала «Russian Literature», посвященные акмеизму, а также специальный выпуск «Russian Language Journal» — «Toward a Definition of Acmeism» (East Lancing, Michigan, 1975).

праве считаться литературным направлением, признавая его новой ступенью развития символистской поэтики. Мнение это восходит ко взглядам Б. Эйхенбаума, выраженным в известной книге об Ахматовой, или даже к высказыванию Вяч. Иванова, уверявшего Гумилева: «Ничем вы от нас не отличаетесь». Похожие мысли высказывал в начале двадцатых годов и Мандельштам в ряде статей в «Русском искусстве», однако впоследствии он не пожелал переиздать эти статьи, где «все оценки кривы и косы», заявив, по свидетельству Н. Я. Мандельштам, что «это не то»[45].

Оппоненты, при всей расплывчатости термина «акмеизм», находят все же в поэтике его представителей достаточное единство друг с другом и в то же время достаточное количество различий с поэтами иных ориентаций, чтобы считать именно литературным направлением, пусть неточно сформулировавшим собственные цели, но все же их имевшим и существовавшим не только в манифестах, но и на практике. В первом мнении есть своя доля истины. Утверждение, что акмеизм был головной выдумкой Гумилева, во многом верно. Многие положения манифестов и особенно сам термин, действительно, были выдуманы наспех и не выдерживают критики. Верно и что эти положения далеко не всегда соблюдались. Но самоопределения, манифесты, теоретические суждения и вы-

---

[45] Цит. по: Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама: Воспоминания. Материалы к биографии. «Новые стихи». Комментарии. Исследования. — Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1990. С. 438–439.

сказывания всегда не полностью соответствуют поэтической практике, и чем крупнее поэт, тем несоответствий больше. Символисты тоже не были так уж точны в своих определениях и точно так же далеко не всегда соблюдали собственные установления на практике.

Если вожди акмеизма в юношеском задоре не сумели правильно сформулировать отличия новой школы от старой, — это еще не значит, что отличия были несущественны. Даже если признать задачи направлений несопоставимыми по масштабу, трудно не видеть явную разнонаправленность этих задач.

В. Гофман считал, что «всякая новая поэтическая школа отличается от предшествующей обращением к иным структурным возможностям, заложенным потенциально в слове как материале. Понятие школы есть, по-видимому, понятие, в значительнейшей мере, отрицательного единства»[46]. И действительно, все описания поэтики акмеизма начинаются (а порой и заканчиваются) выявлением различий с символистской поэтикой. Да и мудрено было бы без этого обойтись. Мандельштам утверждал, что «не идеи, а вкусы акмеистов оказались убийственны для символизма»[47]. Но одним изменением отношения к слову дело не исчерпывается, ибо отталкивание было не только в области стилистики, но и в мировоззрении.

---

[46] *Гофман В.* О Мандельштаме: Наблюдения над лирическим сюжетом и семантикой стиха // Звезда. 1991. № 12. С. 176.

[47] *Мандельштам О.* Слово и культура. — М.: Советский писатель, 1987. С. 261.

Символистскому «сверх-я» и перманентному горению акмеисты противопоставляли соразмерность человека миру и дискретность вдохновения, тонкую психологичность, антиутопизм. С. Аверинцев остроумно назвал акмеизм «вызовом духу времени, как духу утопии»[48]. Богоискательство было оставлено за ненадобностью, ибо у акмеистов Бог был изначально найден и находился на своем месте. Акмеисты даже родословную себе подыскали иную: ясные романские стихи вместо сумрачной германской мистики. Странствования в мирах иных превратились у Гумилева во вполне конкретные путешествия по Африке, символистская риторика — в экзотику, а напевный стих Бальмонта сменился разговорным стихом Ахматовой. Музыкальной стихии символистов акмеисты противопоставили картинность живописи и стройность архитектуры, резко обновили словарь и, наконец, ввели иной принцип словоупотребления. «Размазанная по тексту семантика» символистов[49] сменилась поисками полновесного слова.

Различия слишком велики, чтобы считать акмеизм только легким изменением символистского курса. Пусть многие акмеисты в юности прошли через символизм, и впоследствии поэтика их значительно изменилась, но по крайней мере как этап в творчестве нескольких крупных поэтов акмеизм

---

[48] *Мандельштам О.* Сочинения в двух томах. — М.: Художественная литература, 1990. Т. 1. С. 24.

[49] *Лотман Ю. М.* Поэтическое косноязычие Андрея Белого. — В кн.: Андрей Белый: Проблемы творчества. — М.: Советский писатель, 1988. С. 439.

останется в истории русской литературы, и в этом качестве термин имеет полное право на существование. Старшие акмеисты при всей значительной эволюции сохранили тем не менее многое из своих убеждений акмеистского периода.

Точно так же и Г. Иванов с Адамовичем, несмотря на эмансипацию от гумилевского влияния в эмиграции, от многих акмеистских устоев не отреклись.

Когда современные слависты (Roger Hagglund, William Tjalsma) называют младших акмеистов «третьим поколением символистов», в этом есть свой резон, так как младшие акмеисты в зрелом возрасте уже не столько отталкивались от символизма, сколько тянулись к нему, и это определение можно было бы принять, если бы оно не вносило некоторую путаницу.

Во-первых, все время придется оговаривать, что имеются в виду именно Г. Иванов и Г. Адамович, а не многочисленные эпигоны символистов, «обозная сволочь», по выражению Андрея Белого. А оговаривать это придется хотя бы уже потому, что разница между непосредственными эпигонами символизма и поэтами, вернувшимися к некоторым идеалам символизма после того, как они прошли акмеистский искус, — весьма велика, налицо глубокие отличия и в мировоззрении, и в стилистике.

Во-вторых, акмеистский этап в биографиях Г. Иванова и Адамовича налицо, и придумывать ему иные названия можно, но нецелесообразно. На этом этапе они считали себя, да в большой мере и были именно «младшими акмеистами». Конечно, Г. Иванов успел побывать и в эгофутуристах, что еще не

дает права приписывать ему и такой этап в творческой биографии, но не дает только потому, что эгофутуризм не оказал значительного и устойчивого влияния на его дальнейшую поэтику, т. е. был по сути эпизодом, так же как кратковременное воздействие Кузмина и некоторые другие влияния.

Собственно, спор идет только о двух поэтах очень разной индивидуальности: Г. Иванове и Адамовиче. И. Одоевцеву при этом всегда стараются не вспоминать, ибо ее поэзия и к акмеизму-то имеет гораздо более отдаленное отношение, а уж к символизму любого поколения — вовсе никакого. Н. Оцуп, оказавшись наиболее стойким гумилевцем из всех четверых, в эмиграции пытался основать собственную школу — «персонализм», что от символизма было тоже довольно далеко.

«Акмеистов было всего шесть, и седьмого, как постоянно подчеркивала Ахматова, никогда не было»[50]. (На роль седьмого претендовал, как известно, Г. Иванов, которого Ахматова недолюбливала.) Точно так же и младших акмеистов было четверо: Г. Иванов, Г. Адамович, Н. Оцуп и И. Одоевцева. Пятого не было. (На роль пятого претендовал было одно время Вс. Рождественский, но неудачно. Его и многих других dii minores правильнее называть поэтами акмеистской ориентации. Впечатляющий список их имен приводит Р. Тименчик[51].) Каждый

---

[50] *Тименчик Р. Д.* Заметки об акмеизме // Russian Literature. 1974. № 7–8. P. 34.

[51] *Тименчик Р. Д.* По поводу Антологии петербургской поэзии эпохи акмеизма // Russian Literature. 1977. Vol. 4. P. 315–323.

из четверых нашел в акмеизме что-то свое, но при всей непохожести друг на друга и несопоставимости масштабов поэтического дара все четверо имеют и нечто общее, отграничивающее их как от предшественников, так и от современников.

То, что почти каждый из участников очередной поэтической затеи понимает ее смысл несколько по-своему, еще не говорит о том, что сама затея является непременно мертворожденной, а самоопределение — не имеющим никакого значения. В конечном счете, «теория поэзии состоит из выводов, а не из предпосылок»[52].

Именно младшим акмеистам в эмиграции суждено было стать лидерами «парижской ноты», и новый термин был еще более расплывчатым, чем невразумительный «акмеизм». Однако и за тем, и за другим стояло некое объединяющее и одновременно отъединяющее от других групп мировоззрение и, главное, довольно определенная поэтическая практика.

Эйхенбаум говорил об акмеистах как о завершителях модернистского движения. Думается, подлинными завершителями, окончательно замкнувшими круг, стали, повзрослев, «младшие акмеисты».

Из истории акмеизма Адамовича не вычеркнуть. И ранние стихи его без упоминания об акмеизме не объяснить. Он использовал общеакмеистские приемы в своей поэтической практике, защищал в статьях акмеистские мнения, и многие современники, даже весьма проницательные, довольно долго воспринимали его именно как «ги-

---

[52] *Адамович Г.* На полустанках // Звено. 1923. 8 октября. № 36. С. 2.

перборейца»[53], одного из правоверных членов Цеха поэтов, «гумилевского мальчика»[54]. Надо признать, что определенные основания у них для этого были. Вел себя Адамович в литературном быту в полном соответствии с правилами Цеха, предписанными Гумилевым: с футуристами не дружил, Бунина, как велено было, не любил, на символистов если и косился, то втихомолку.

Были и более веские основания. Жирмунский справедливо усматривал во многих стихотворениях «Облаков» «обычный для поэтов “Гиперборея” прием передачи художественного настроения точно подмеченными и четко воспроизведенными образами внешнего мира, которые делают это настроение более законченным и понятным <...> явления душевной жизни передаются не в непосредственном, песенном, музыкальном выражении, но через изображение внешних предметов. Есть четкость и строгость в сочетании слов»[55].

В одной из статей Гумилев заметил, что в двадцатом столетии «мир стал больше человека». Символисты как раз и ставили перед собой задачу стать вровень с расширившимся миром. Акмеисты в своих манифестах призывали ограничиться лишь той областью, которая подвластна запечатлению точным словом. Наиболее отчетливо это выразилось в стихах младших акмеистов, которые, избегая высоко-

---

[53] Биржевые ведомости. 1916. 14 (27) октября. № 15861. С. 5.

[54] Oxford Slavonic Papers. 1986. Vol. XIX. P. 144.

[55] Биржевые ведомости. 1916. 14 (27) октября. № 15861. С. 5.

парных слов, предпочли сузить мир до нужных размеров. Жирмунский считал, что «это сужение проявляется <...> у младших “гиперборейцев” — в тесноте кругозора, в душевном обеднении, в миниатюрном игрушечном характере всех переживаний»[56]. К Адамовичу все это он относил самым непосредственным образом: «Поэтический мир Адамовича именно такой: миниатюрный, игрушечный, странно суженный и урезанный в своих размерах и очертаниях»[57].

В «Облаках» и впрямь очень суженный, комнатный мирок, вся жизнь течет преимущественно за окном. Это сразу же бросилось в глаза Блоку, которому Адамович послал свой первый сборник. В утраченном письме от 24 января 1916 года Блок высказал Адамовичу свое недовольство «комнатностью» стихов и посоветовал «раскачнуться выше на качелях жизни». Упоминания об этом сохранились в ответном письме Адамовича от 26 января 1916 года: «Я так ведь знаю, что живу в “комнате”, и что никогда мне не “раскачаться”, чтоб дух захватило, не выйдет и не знаю, как»[58].

Но было при этом в стихах и нечто иное, для акмеизма не очень характерное. Интуитивно Адамович ощущал величие символистского миропонимания и не желал совсем отказаться от попыток выразить невыразимое, к чему призывал Гумилев. Однако свое собственное, незаемное содержание

---

[56] *Жирмунский В. М.* Теория литературы. Поэтика. Стилистика. — Л.: Наука, 1977. С. 132–133.

[57] Биржевые ведомости. 1916. 14 (27) октября. № 15861. С. 5.

[58] РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 2. Ед. хр. 20.

Адамович упорно хотел выразить акмеистическими средствами, не желая становиться очередным эпигоном блекнущего символизма. И акмеизм в его биографии не случаен. Современная исследовательница считает основным принципом поэтики акмеизма «принцип собирательства, концентрации, сосредоточения вокруг субъекта его мира, его личного космоса. Это — принцип ассоциативных метонимических связей, сцеплений, крючков, которыми как бы соединяются разрывы мировой ткани», а главным качеством акмеистического текста признает «установку текста на самопознание»[59]. Вряд ли этими принципами можно объяснить поэтическую практику любого из акмеистов. К поэзии Нарбута, Зенкевича, да и Гумилева, не говоря уже о Городецком, они применимы с большими оговорками. Но Адамовича привлекало в акмеизме именно это. И еще — ориентированность акмеизма на интенсивную силу слова, на остроту, заложенную уже в самом понятии[60].

«Неоклассицизм»

«В начале двадцатых годов акмеизм уже эволюционировал столь значительно, что в нем почти ничего не осталось от акмеизма десятых го-

---

[59] Царственное слово: Ахматовские чтения. Вып. I. — М.: Наследие, 1992. С. 45, 48.

[60] О категории остроты у акмеистов см.: *Тименчик Р. Д.* Заметки об акмеизме // Russian Literature. 1974. № 7–8. P. 40–46.

дов»[61], по мнению исследователя. По выражению современника, «неоклассицизм вылупился из скорлупы акмеизма»[62]. В эти годы, по свидетельству К. Мочульского, и Адамович «руководится идеей “классического искусства”»[63].

Неоклассическая фаза акмеизма до сих пор остается самым неисследованным периодом его истории и нуждается в более пристальном изучении. Обычно вспоминают о нем лишь в ходе неутихающего спора о противоборстве классического и романтического начал в искусстве. Необходимо предварительно оговориться, что «неоклассицизм» Цеха поэтов в большей степени был полемическим самоопределением, чем действительно продуманной поэтикой и тем более практическим следованием этой поэтике. С подлинным историческим классицизмом он имел не много общего. Тем не менее термин был широко распространен в то время как среди поэтов, так и среди литературоведов[64]. Правда, каждый из авторов вкладывал в этот термин свое содержание.

---

[61] *Богомолов Н. А.* Талант двойного зрения. — В кн.: *Иванов Г.* Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. — М.: Книга, 1989. С. 515.

[62] Цит. по: *Тименчик Р. Д.* Заметки об акмеизме // Russian Literature. 1974. № 7–8. P. 30.

[63] *Мочульский К.* Новый Петроградский цех поэтов // Последние новости. 1922. 2 декабря. № 804. С. 2.

[64] *Жирмунский В.* О поэзии классической и романтической // Жизнь искусства. 1920. 10 февраля. № 339–340; *Оцуп Н.* О Н. Гумилеве и классической поэзии // Цех поэтов. Кн. 3. Пг., 1922. С. 45–47; *Мочульский К.* Классицизм в современной русской поэзии // Современные записки. 1922. № 11. С. 368–379 и др.

О причинах появления на свет «неоклассицизма» именно в это время можно говорить много. Главной из них была естественная реакция на заумный язык футуристов. Мандельштам даже попытался сформулировать закон, утверждая, что «революция в искусстве неизбежно приводит к классицизму»[65]. Вряд ли обошлось и без воздействия популярных в те годы на Западе, особенно во Франции, разговоров о «новом классицизме», о классическом художественном мировоззрении. Члены Цеха поэтов, всегда внимательно следившие за западными литературами, особенно за французской, на которой были воспитаны, чутко улавливали все близкие им по духу веяния. Но и тут о прямом заимствовании говорить не приходится.

Если что и сближало неоклассицизм первой четверти XX века с французским классицизмом XVII столетия, то не схожесть в поэтике, а общая охранительная функция, стремление противостоять разрушительным, как они их понимали, тенденциям в литературе. Как французский классицизм «послужил художественным и эстетическим противовесом необузданным силам барокко, его безмерности»[66], так и русский неоклассицизм начала двадцатых годов сознавал себя в первую очередь противовесом безудержности футуризма и других многочисленных в то время групп, разру-

---

[65] *Мандельштам О.* Слово и культура. — М.: Советский писатель, 1987. С. 40.

[66] Теория литературных стилей: Современные аспекты изучения. — М.: Наука, 1982. С. 352.

шающих установившиеся каноны стиха. Классическое наследие противопоставлялось погоне за новизной во что бы то ни стало. Не случайно содержание понятия определялось прежде всего в отталкивании. Это был принципиальный отказ от неконтролируемого потока слов, пусть даже очень вдохновенного, что считалось веянием романтическим. Именно на этом основании Мандельштам делал вывод о том, что «русский футуризм гораздо ближе к романтизму»[67]. Реакцией на такой романтизм и была попытка защитить поэзию строгими рамками «неоклассицизма».

«Пафосом новой поэзии должна быть ликвидация романтизма», — заявлял Адамович, добавляя тут же: «В наши дни Маяковский, человек даровитый, есть недосягаемый и непревзойденный образец того, чем не должен быть поэт»[68]. Как не надо писать стихи, — определялось вполне отчетливо, положительная программа формулировалась куда туманнее: «Обрисовываются вдалеке линии искусства, которое должно было бы быть завтрашним: его не легко определить несколькими словами, но достаточно сказать, что его тональностью является пресыщение шумом и пестротой XIX века и начала XX века, реакция против романтизма, понятого по-французски, и в поэзии обратный перелет к тем берегам, на которых последним удержался Андрей Шенье. Люди, знакомые

---

[67] *Мандельштам О.* Слово и культура. — М.: Советский писатель, 1987. С. 205.

[68] *Адамович Г.* Русская поэзия // Жизнь искусства. 1923. № 2. С. 3.

с развитием форм поэзии, поймут, какие теоретические требования выдвигает этот "неоклассицизм"»[69].

Члены Цеха даже не сразу договорились, что из классики предпочесть в качестве образца. Первое время в этом качестве фигурировали и Расин, и французские парнасцы, и античная трагедия. И лишь позже за идеал было принято творчество Пушкина. Позднее Адамович написал, что провозглашался «Пушкин как метод, как отношение к творчеству, как анти-поза»[70]. К. Мочульский уже прямо говорил о неоклассицизме как «пушкинизме в современной поэзии»[71]. Эти устремления сказались и на стихах. Вадим Крейд находит, что периоду «неоклассицизма» в творчестве Мандельштама, Ахматовой и Георгия Иванова соответствует большее, чем до того, количество условно-поэтических эпитетов, лексически близких пушкинскому словарю[72]. Рецензент альманаха «Дракон» счел, что и в стихах Адамовича этой поры «слишком явно слышатся перепевы из Пушкина»[73].

Многие программные положения акмеизма перешли неизменными в «неоклассицизм», и в первую очередь понятие «меры», соразмерности всех

---

[69] *Адамович Г.* На полустанках // Звено. 1923. 8 октября. № 36. С. 2.

[70] *Адамович Г.* Темы // Воздушные пути. 1960. № 1. С. 47.

[71] *Мочульский К.* Возрождение Пушкина // Звено. 1924. 16 июля. № 72. С. 2.

[72] *Крейд В.* Петербургский период Георгия Иванова. — Tenafly: Эрмитаж, 1989. С. 111.

[73] Начала. 1922. № 2. С. 294.

частей и уровней стихотворения. Члены третьего Цеха поэтов были убеждены в том, что прогресса в искусстве нет и быть не может, и формула стихотворения Георгия Иванова «Меняется прическа и костюм...» очень напоминает манифест:

И черни, требующей новизны,
Он говорит: «Нет новизны. Есть мера.
А вы мне отвратительно-смешны,
Как варвар, критикующий Гомера!»

Другим краеугольным принципом «неоклассицизма» стало также общее для акмеистов убеждение в том, что «слово должно значить то, что значит». Положение это в различных вариациях можно найти и в ранних манифестах Гумилева и Городецкого, и в статьях начала 20-х годов Мандельштама и Адамовича[74].

После смерти Гумилева Адамович становится ведущим критиком и одним из главных идеологов Цеха поэтов, отстаивая «неоклассические» настроения в своих статьях этого периода: «В живом сти-

---

[74] Можно было бы привести длинный список совпадений, в том числе и дословных, в статьях Адамовича и Мандельштама общего для них периода «неоклассицизма». У обоих в высказываниях явственно слышатся отголоски гумилевских мыслей, во многом сходен и набор авторитетных имен, которыми они оперируют: Анненский, Розанов, Бергсон, Расин, Шенье, Бодлер и т. д. Совпадения — явно результат цеховых словопрений, дань школе, поэтическому кружку; интуитивно оба не могли не сознавать, что дороги их скоро разойдутся.

хотворении первоначальная, хаотическая музыка всегда прояснена до беллетристики. Воля поэта поднимает музыку до рассказа»[75]. С изрядной категоричностью он заявлял даже, что «все запомнившиеся людям, удержавшиеся в их памяти стихи, так наз<ываемые> классические, бесспорно-прекрасные, все могут быть пересказаны, переведены на другой язык, изложены прозаически, не превращаясь в бессмыслицу, т. е. имеют ясно выраженный смысловой стержень, содержание. Нет никаких оснований думать, что закон, действительный для двух тысячелетий, вдруг в последние годы потерял значение»[76]. Здесь отчетливо ощутим полемический пафос, направленный прежде всего против футуристской зауми и символистских темнот. Подобные заявления не приходится, конечно, принимать всерьез в каждой букве, но основное убеждение, избавленное от крайностей, осталось неизменным до конца: первый, внешний план стиха должен быть понятен или, во всяком случае, должен наличествовать, слово в стихе должно оставаться словом значащим, а не служить только инструментом для передачи непроясненной музыки либо материалом для лингвистических упражнений.

С появлением на литературной арене «неоклассицизма» произошло окончательное разграничение двух линий, двух разнородных направлений в акмеизме, который недаром уже при своем рожде-

---

[75] *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1925. 5 января. № 101. С. 2

[76] *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1926. 29 августа. № 187. С. 2.

нии имел два названия: гумилевский акмеизм и провозглашенный Городецким адамизм, т. е. поэтический взгляд «нового Адама», который, «сняв наслоения тысячелетних культур», может «опять назвать имена мира»[77]. Этот адамизм, представленный именами Нарбута, Зенкевича и, отчасти, самого Городецкого, сразу значительно отличался от парнасски ориентированного акмеизма. Именно это и вызвало недоумение критики, тут же заявившей, что под знаменем акмеизма объединились поэты слишком разные, не сводимые к единой поэтике. Неудивительно, что ни один из адамистов не присоединился ни ко второму, ни к третьему Цеху поэтов. Попытки «бунта» предпринимались и раньше, еще в 1913 году Нарбут подбивал Зенкевича выйти из группы акмеистов и основать собственную, из двух человек, или примкнуть к кубофутуристам, чей антиэстетизм Нарбуту был гораздо больше по душе, чем «тонкое эстетство Мандельштама». Любопытно, что и при этом всплывало имя Пушкина, отношение к которому и определило в конце концов расхождение: «Поистине, отчего не плюнуть на Пушкина? Во-первых, он — адски-скучен, неинтересен и заимствовать (в отношении сырого матерьяла) от него — нечего, во-вторых, отжил свой век»[78].

В определенном смысле можно было бы сказать, что «неоклассицизм» Цеха поэтов был акмеизмом, очищенным от адамизма. Но различия этим

---

[77] *Городецкий С.* Некоторые течения в современной русской поэзии // Аполлон. 1913. № 1. С. 48–49.

[78] ГЛМ. Ф. 247. Оп. 1.

2 Зак 3423

не исчерпывались. Сказывалась, кроме того, и неудовлетворенность узкими рамками самого акмеизма, как он был преподнесен в манифестах. Бывшие акмеисты искали возможностей расширить масштабы, горизонты поэзии, при одновременном устрожении формальных приемов. Научившись использовать интенсивную силу слова, они хотели применить свое умение на задачах, которые акмеизм перед собой не ставил, считая невыполнимыми.

То требующее воплощения содержание, которое мучило Адамовича с ранних лет, он теперь пытается выразить на более широком материале. Если в «Облаках» он пользовался преимущественно акмеистическими средствами, то теперь в ход пущен весь арсенал мировой литературы. Стих Адамовича в этот период становится строже и самостоятельнее. Характерные для акмеистов дольники вытесняются более классическими размерами, появляются сонеты, стилизации.

В «Чистилище» мир расширился, хотя и не слишком значительно, — от размеров комнаты до масштабов библиотеки. Книга пестрит звучными именами и названиями, мифологическими, литературными, историческими: Венера и Орфей, Гудруна и Саломея, князь Игорь и царевич Дмитрий, а также Троя, Версаль, Афины и вовсе уж экзотические Манчжурия или Ниагара. Ни в одном другом сборнике стихов Адамовича такого обилия имен нет. Возможно, тут сказался пример Мандельштама. Некоторые стихи Адамовича этого периода отдаленно напоминают мандельштамовское воспроизведение культурных эпох.

Свое знакомство с русской и мировой поэзией Адамович начал с конца, как это чаще всего и происходит, т. е. с ее последних достижений — русского и французского декадентства — и был покорен в первую очередь ими. Все его мироощущение в юности определялось именно этой поэзией, и первые пробы пера также шли в русле этих «последних веяний».

Затем он по-настоящему прочувствовал мир поэзии классической, найдя в ней немало достоинств. Вот в этот-то период и выступает на арену понятие «неоклассицизма», под которым подразумевалась не только учеба у классиков, но еще и продолжение их дела, поддержание статуса поэзии на должном уровне, отказ свести ее только к игре и развлечениям.

«Парижская нота»

Третий и последний, зрелый этап в самосознании и лирике Адамовича почти совпадает с внешним событием эмиграции. Недостаточность «неоклассицизма», смутно ощущаемая всегда, стала все больше осознаваться Адамовичем. В 1924 году, размышляя о Брюсове, он написал: «Пороком брюсовского творчества навсегда осталось несоответствие его огромного чисто-словесного дарования его скудным замыслам, помесь блестящего стихотворца со средней руки журналистом»[79]. «Серебряный век» рус-

---

[79] *Адамович Г.* Литературные заметки // Звено. 1924. 3 ноября. № 92. С. 2.

ской поэзии из эмигрантского далека начал восприниматься во всей его сложности и величии, и Адамович все чаще принялся обращать свои взоры к символизму, к его грандиозным целям. Первые двa-три года после прибытия в Париж в статьях его еще мелькают по инерции упоминания о «неоклассицизме», но потом плавно сходят на нет.

Происходит и переоценка французской литературы. Если раньше во всех статьях альманахов Цеха поэтов декларировалась учеба у Запада, то теперь, оказавшись «лицом к лицу с тем, что книги эти питает», Адамович вынужден был заявить о французской поэзии, что «поэзии русской — если не склонна она отречься от самой себя, — у нее почти нечему учиться, отчасти потому, что культурный возраст наш другой, отчасти по причинам внутренним»[80].

Но самым значительным изменением и наиболее заметным со стороны было освобождение Адамовича от гумилевского влияния. Полно́го взаимопонимания у Адамовича с Гумилевым не было никогда, даже в самые первые годы посещения Цеха. Адамович был слишком самостоятельным, чтобы разделять все утверждения вождя акмеистов. Но внешние правила литературной игры он соблюдал и сомнения высказывал чаще вслух, чем на бумаге.

В 1920 году Адамович писал Гумилеву из Новоржева о давней «привычке вести с Вами полуоппозиционные разговоры <...> Меня чуть отпугивает только Ваше желание всех подравнять и

---

[80] *Адамович Г.* Комментарии. — Вашингтон: Victor Kamkin Inc., 1967. С. 173.

всех сгладить, Ваш поэтический социализм к младшим современникам, — но даже тут я головой понимаю, что так и надо, и что нечего носиться с “индивидуальностью” и никому в сущности она не нужна. Хорошая общая школа и общий для всех “большой стиль” много нужнее»[81].

Характерна оговорка: «головой понимаю». Сердцем, стало быть, не принимал. Гораздо позднее он назвал «гумилевскую, цеховую выучку очень наивной, если говорить о сущности поэзии, очень полезной, если ограничиться областью ремесла». И добавил о Блоке: «С акмеизмом и цехом в багаже, мы все-таки чувствовали, что не Гумилев — наш учитель и вожатый, а он»[82].

На четвертом году эмиграции Адамович сформулировал один из законов литературного созревания так: «Понимание необходимости для литературы быть лично-одухотворенной дается как намек, как проблеск человеку в начале его “пути”, затем, при развитии в человеке ума и вкуса, исчезает и только много позже, к концу, к “закату” целиком и во всей полноте возвращается <...> в конце концов неизбежно приходит сознание, что все суета сует, все напрасно, тщетно и просто-напросто глупо, если ко второму не прибавить чего-то из первого и не утвердить за этим первым вечного и неоспоримого главенства»[83]. И хотя, фор-

---

[81] РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 145.

[82] *Адамович Г.* Комментарии. — Вашингтон: Victor Kamkin Inc., 1967. С. 171, 175.

[83] *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1927. № 2. С. 67.

мулируя это, от «заката» Адамович был еще очень далек (ему исполнилось всего 35 лет), это было сказано и о себе.

В 1925 году Адамович знакомится с З. Гиппиус, и это можно считать начальной точкой отсчета, одним из побудительных толчков к пересмотру литературной, а в чем-то и жизненной позиции.

Влияние Гиппиус на Адамовича не стоит преувеличивать. Оно не было столь безоговорочным, как влияние Гумилева, с которым можно было спорить, но нельзя было не подчиняться и не соблюдать условий литературных баталий, если уж находишься в том лагере, где он, Гумилев, генерал. Скорее это выразилось в установлении общих интересов, а для Адамовича еще и в востребовании тех граней духовной жизни, которым в Цехе не уделялось должного внимания.

Более того, влияние с самого начала было обоюдным и на стихах сказалось в усвоении друг у друга некоторых манер и словечек, отдельных перекличек, как когда-то было у Адамовича с собратьями по Цеху поэтов. На какое-то время их устремления совпали, обнаружилось немало общего в литературных воззрениях и стихотворной практике. Отголоски споров Адамовича и Гиппиус, частично запечатленные в их переписке, можно найти в статьях и стихах обоих поэтов-критиков.

Окончательно эмансипировавшись в эмиграции от гумилевского влияния, Адамович отказался и от настойчиво выдвигаемой Цехом поэтов идеи мастерства как главной духовной ценности. Любопытно, что ему, бывшему члену Цеха, довелось в эмиграции выступать против этой идеи, ревностно

защищаемой Ходасевичем и Набоковым, которые всегда относились к Цеху скептически, не приемля коллективизм в любой форме.

Гиппиус очень высоко оценивала стихи Адамовича, особенно когда пускалась в полную откровенность[84]: «Ваши стихи мне близки, некоторые даже завидны»; «Если б мне вздумалось кого-нибудь “в гроб сходя, благословлять” — то именно вас»[85]. Определяя, чем именно привлекли ее стихи Адамовича, Гиппиус писала 14 февраля 1928 года: «Есть два рода стихов; два разных рода. С одним из них дело не в “нравлении”, а в “пронзении” <...> Я не знаю, как бы еще пояснить это “пронзение”, — заметьте, я претендую, что это свойство “самих стихов” <...> ваши стихи принадлежат именно к этому роду “пронзения”»[86].

В то же время некоторые черты у Адамовича она принять не могла, всячески пытаясь наставить его на путь истинный. Убедившись, что Адамович в своих заблуждениях упорствует, она махнула

---

[84] Лишь с несколькими людьми Гиппиус любила быть предельно откровенной, в частности, в разные периоды жизни, с Розановым, Философовым, а в эмиграции, среди немногих, с Адамовичем. В письме от 14 января 1928 года Гиппиус призналась Адамовичу: «Вы один из самых живых людей из долгого моего антуража» (Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida Hippius / Comp. by Temira Pachmuss. — München: Wilhelm Fink Verlag, 1972. P. 364).

[85] Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida Hippius / Comp. by Temira Pachmuss. — München: Wilhelm Fink Verlag, 1972. P. 383, 345.

[86] Ibid. P. 373.

рукой и отступилась. Гиппиус смущало кое-что в стихах Адамовича «с их свойствами декаденто-цинико-утонченности, заранее предрешающей безвыходность — главное — упивающейся этой безвыходностью. Упоение это и решает все»[87].

Гиппиус не нравилось безволие. В христианском аскетизме она не терпела прежде всего не смирение, а именно «блаженность безволия». Гиппиус ждала, что Адамович пойдет дальше вслед за «обещанным», начнет собирать всю свою волю для этого, а ему ближе оказалась эта самая «блаженность безволия».

Упоение и впрямь было. Адепты «парижской ноты» дорожили этим блаженным состоянием души при полном сознании безнадежности, упивались отчаянием, обреченностью и стремились воплотить в своем творчестве именно этот сложный комплекс «последних» чувств и настроений человека, оставшегося наедине с вечностью, с жизнью и смертью. Страстности, активизма в их стихах и не предполагалось, стихи должны были произноситься как бы случайно, сами собой, без усилия, в этом виделась их главная прелесть и главный яд, от которого трудно отделаться. Это проявлялось не только в стихах, но и в модусе жизни. 1 марта 1953 года Адамович писал Лидии Червинской: «По моему глубокому, глубочайшему убеждению в любовном отчаянии есть тоже крупица блаженства»[88].

---

[87] Ibid. P. 391–392.

[88] Coll. Adamovich. Bakhmeteff Archives. Columbia University. New York.

Адамович много расспрашивал Гиппиус о символизме, горя желанием узнать, что открывалось Блоку и Белому в их видениях, тускнеющих на бумаге, и даже ей, свидетельнице зарождения всего символизма, отказался поверить, что не было ничего, оставшись при своем мнении. Он был убежден: «что-то действительно мелькнуло», какие-то «леденящие, сулящие короткое головокружительное блаженство эфирные струйки <...> которыми никто прежде не дышал». Без этого «символизм <...> глуп и смешон»[89]. Он был уверен, что нужно только дослушаться до этой музыки, и тогда появляется шанс сказать «самое главное». Условия, в которых оказалась эмигрантская поэзия, он считал наиболее подходящими для выполнения этой задачи: безвоздушное пространство чужой страны, одиночество, ощущение себя человеком, стоящим на берегу океана, в котором исчез материк.

Авторство термина «парижская нота» обычно приписывается Поплавскому. В статьях Адамовича это понятие впервые появляется в начале 1927 года[90]. Что имелось в виду, было ли это литературной школой, направлением, кружком единомышленников, обо всем этом до сих пор нет единого мнения, тем более что вдохновитель «парижской ноты» высказывался о ней в разные годы по-разному. Может быть, наиболее точно опре-

---

[89] *Адамович Г.* Комментарии. — Вашингтон: Victor Kamkin Inc., 1967. С. 74, 76, 169.

[90] *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1927. 23 января. № 208. С. 1.

делил ее Юрий Иваск, сказав, что это была «лирическая атмосфера», в которой писались стихи, а заслуга Адамовича в том, что «сумел создать литературную атмосферу для зарубежной поэзии»[91].

Цель ставилась вполне определенная: «доделать то, что сделать не удалось, без отступничества и уж, конечно, без сладковатого хлороформа»[92]. Стихи должны были преобразить мир, на меньшее Адамович был не согласен. Идея преображающего творчества — идея самая что ни на есть символистская, точнее, младосимволистская, владевшая Блоком, Белым, Вяч.Ивановым, которые рассматривали творчество как служение высшему, надмирному началу.

У Адамовича — с его скептицизмом — все несколько скромнее, уже нет убежденности, сомнение даже преобладает, но всегда брезжит робкий лучик надежды — «а вдруг?» В 1929 году Адамович писал о Блоке: «После попытки хотя бы заклинанием изменить все окружающее, он признал свое поражение и сказал об этом честно, просто и смертельно грустно»[93]. Адамович не оставлял подобных попыток, уже зная о поражении и заведомо обрекая себя на неудачу. Но без этих надежд творчество теряло свой смысл. Кроме же этого лучика надежды на чудо, рассчитывать больше было не на что. Творчество, по Адамовичу, преоб-

---

[91] *Иваск Ю.* О послевоенной эмигрантской поэзии // Новый журнал. 1950. № 23. С. 196.

[92] *Адамович Г.* Комментарии. — Вашингтон: Victor Kamkin Inc., 1967. С. 174.

[93] Последние новости. 1929. 15 августа. № 3067. С. 3.

ражает если не внешний мир, так по крайней мере душу творящего, пусть ненадолго, но дает ему заглянуть за пределы дольнего мира или хотя бы напоминает о существовании миров иных. При этом, однако, необходима полная искренность, и в первую очередь с самим собой.

Адамович и раньше готов был повторить за своим учителем Анненским: «Вместо скучных гипербол, которыми в старой поэзии условно передавались сложные и нередко выдуманные чувства, новая поэзия ищет точных символов для **ощущений**, т. е. реального субстрата жизни, и для **настроений**, т. е. той формы жизни, которая более всего роднит людей между собой, входя в психологию толпы с таким же правом, как в индивидуальную психологию <...> Мир, освященный нравственным и тонким самоанализом поэта, не может не быть страшен, но он не будет мне отвратителен, ибо он — **я**»[94].

Но теперь личностное начало выходит на первый план окончательно. Острая боязнь сфальшивить психологически, отдавшись напеву, написать не то, что есть, а то, что хотелось бы, запечатлеть не реальные переживания, не подлинные порывы человеческой души, а лишь вольные фантазии на эту тему или собственное умиление ими, нетерпение даже малейшей доли неоправданного прекраснодушия заставляли Адамовича тщательно взвешивать и выверять каждое слово. В канон «парижской ноты» это вошло первой заповедью. Адамович

---

[94] *Анненский И. Ф.* Книги отражений. — М.: Наука, 1979. С. 206.

скорее готов был простить некоторую неуклюжесть стиха, в котором выражалось подлинное чувство, чем неискренность.

Две опасности он видел, уводящие с этого, по его мнению, единственно верного пути: желание отдаться на волю волн, пуститься во вдохновенный, но безответственный поток слов, в напевность и мечтательность, не поверяемую подлинным поэтическим видением и не сдерживаемую трезвым знанием о человеческой природе. И другая опасность: старательное сочинение стихов, тщательная их отделка, внешнее совершенство, игра словами, за которой легко было спрятать отсутствие подлинных переживаний.

Подводя итоги, Адамович сказал, что «парижская нота» взялась за невыполнимые задачи, которые обязана была взять на себя эмигрантская литература, и добавил: «А отчасти это и наследие русского символизма, в том, что не было им досказано. Отцы может быть и отреклись бы от детей, но дети свою родословную знают и в ней их не собьешь»[95].

«Одно, единое виденье...»

Основополагающий принцип стихов Адамовича — выразительный аскетизм. Аскетизм во всем — в выборе тем, размеров, в синтаксисе, словаре. Сознательный отказ от украшений, от полета, от диеза вплоть до обеднения, до неуклюжес-

---

[95] *Адамович Г.* Комментарии. — Вашингтон: Victor Kamkin Inc., 1967. С. 79.

ти, до шепота. Все остальные возможности отклонялись, как слишком легкие либо ненужные, во всяком случае, как неуместные в его личной поэтике: «Ощущаю как измену иных поэзий торжество». Такая аскетическая сдержанность, очищенность, «апофатизм» приводили к стихам черно-белым, прозрачным, графическим.

В своем «апофатизме» Адамович был не одинок, отчасти это была общая для акмеистов черта, своеобразный протест против «инфляции священных слов»[96] у символистов. Но Адамович пошел в этом направлении дальше всех, дальше Мандельштама, ставя своим идеалом стихи «без красок и почти без слов».

Размышляя над особенностями лирической поэзии, Ю. М. Лотман заметил, что любой «поэтический сюжет претендует быть не повествованием об одном каком-либо событии, рядовом в числе многих, а рассказом о Событии — главном и единственном, о сущности лирического мира»[97]. Адамович стремился всю свою поэзию и каждое стихотворение в отдельности превратить именно в рассказ о «главном и единственном Событии», безжалостно отбрасывая все, что к этому Событию впрямую не относилось.

Такой подход не мог не отразиться на тематике его стихов. Собственно, основная тема была одна:

---

[96] *Мандельштам О.* Сочинения в двух томах. — М.: Художественная литература, 1990. Т. 1. С. 26.

[97] *Лотман Ю. М.* Анализ поэтического текста. — Л., 1972. С. 103–104.

Одно, единое виденье,
Как месяц из-за облаков.

Именно о нем и писал Адамович всю жизнь, его пытался воплотить в стихах. Отношения человека с этим виденьем и есть его тема. Редкие мгновения, когда брезжило что-то впереди, он и считал единственно достойными для запечатления в рифмованных строчках. Все остальное в жизни — лишь фон, скука, грусть, тоска по несбыточному.

Сиянье, свет появляются в стихах Адамовича как намек, как свидетельство о чем-то большем. Скука — ожидание иного, в то время как сияние — переход, а подчас и само обещание.

Благословенны будьте вечера,
Когда с последними строками чтенья
Все, все твердит — «пора, мой друг, пора»,
Но втайне обещает продолженье.

Никакой уверенности в исполнении этого обещания у Адамовича не было, более того, с годами надежда все слабела. И тогда вступал в силу комплекс, который Ю. Щеглов, говоря об Ахматовой, назвал «поэтикой обезболивания»[98]. Адамович принимал судьбу и весь мир, как он есть, не делая ни малейших попыток изменить что-либо. По его мнению, обещанного нельзя приблизить никакими усилиями социального характера,

---

[98] *Жолковский А. К., Щеглов Ю. К.* Мир автора и структура текста: Статьи о русской литературе. — Tenafly: Эрмитаж, 1986. С. 178–203.

да и не надо этого делать, искусственный рай его не привлекал. Обещанного можно было лишь дождаться, надеясь на чудо преображения, и, разумеется, без всяких гарантий. Адамович был готов принять любой результат. Но надеяться не переставал и во всяком случае не изменил бы свое поведение. В этом была особая гордость: не определять поведение результатом, делать то, что следовало делать, не рассчитывая на непременную выгоду; по сути дела, это было выполнением условий паскалевского пари, но с чуть иными психологическими мотивировками.

В статье «“Серебряный век” русской поэзии» Николай Оцуп, говоря об Адамовиче, сформулировал основное отличие искусства века серебряного и золотого. По его мнению, люди и в том, и в другом веке одинаковы. Последних «стихия делает великими... Художнику серебряного века не помогает стихия. Но организация человека все та же, и без союзника иррационального он все же делает свое дело. Героизм серебряного века в этом и состоит. И что-то в созданиях его художников, несмотря на неизбежную бледность, даже лучше искусства золотого. Там слишком уж все полногласно, слишком переливается через край. Здесь — мера человеческих сил. Все суше, беднее, чище, но и, более дорогой ценой купленное, ближе к автору, более — в человеческий рост»[99].

А пока, в ожидании возможного чуда, оставалось лишь находить положительные стороны в нынешнем состоянии либо постараться заговорить

[99] *Оцуп Н.* Современники. — Париж, 1961. С. 147.

себе зубы, отвлечься хотя бы чисто механическим, бессмысленным действием, наконец, ощутить блаженство в самой безнадежности. Еще один способ вынести земное существование — тот, о котором говорил П. Бицилли[100] — состоит в любви к миру и человеку, любви во что бы то ни стало. К убогому дольнему миру нужно относиться с нежностью и жалостью, ибо он очень хрупок и призрачен. Тут сама собой напрашивается параллель с Анненским, о котором Вяч. Иванов как-то заметил: «трогательное» ставил он в своей эстетике выше прекрасного»[101]. Анненский и впрямь «всех пожалел», по выражению Ахматовой. Адамович верно рассмотрел «за полированными створками “Кипарисового ларца” <...> складки все той же шинели Акакия Акакиевича»[102] и не захотел от них отказаться, несмотря на все свое эстетство. Его собственные «жалость» и «нежность» имеют тот же источник. Недаром Мандельштам предлагал Адамовичу поставить эпиграфом ко всему творчеству строки: «Пускай скудеет в жилах кровь, / Но в сердце не скудеет нежность»[103].

---

[100] Современные записки. 1939. № 69. С. 383.

[101] *Иванов Вяч.* Борозды и межи. — М., 1916. С. 295.

[102] *Адамович Г.В.* Памяти Анненского // Цех поэтов. Кн. 3. Пг., 1922. С. 40.

[103] *Иваск Ю.* Разговоры с Адамовичем (1958–1971) // Новый журнал. 1979. № 134. С. 98.

«Начало и конец всякого мастерства»

Одним из канонов «парижской ноты» Адамович провозгласил «экономию средств», которую он называл «началом и концом всякого мастерства»[104]. И здесь он был весьма безжалостен: «Образ можно отбросить, значит, его надо отбросить. Образ по существу не окончателен, не абсолютен. Если поэзию нельзя сделать из материала элементарного, из “да” и “нет”, из “белого” и “черного”, из “стола” и “стула”, без каких-либо украшений, то Бог с ней, обойдемся без поэзии! Виньетки и картинки, пусть и поданные на новейший сюрреалистический лад, нам не нужны!»[105].

Жесткую экономию средств Адамович неуклонно поощрял у молодых парижских поэтов и сам стремился писать, «отказавшись от всего, от чего отказаться можно, оставшись лишь с тем, без чего нельзя было бы дышать. Отбрасывая все словесные украшения, обдавая их серной кислотой»[106]. Прежде всего это был отказ от метафор, ярких образов, изощренной инструментовки, вообще от стихов, в которых «настойчивая выразительность заменяет истинную человечность»[107].

Адамович разделял убеждение Потебни в том, что «умственное стремление человека удовлетворя-

---

[104] *Адамович Г.* Комментарии. — Вашингтон: Victor Kamkin Inc., 1967. С. 208.

[105] Там же. С. 78.

[106] Там же. С. 105.

[107] *Адамович Г.* Русская поэзия // Жизнь искусства. 1923. № 2. С. 3.

ется не образом самим по себе, а идеею, т. е. совокупностью мыслей, пробуждаемых образом и относимых к нему как к источнику»[108]. Он также суть стихотворения видел не в образах, а в том, что открывается за ними. Образы — лишь одно из средств для создания представления, цель же — добиться определенного настроения у человека, читающего стихотворение. При этом образы могут иметь место или не иметь, это не существенно и ничего не прибавляет к ценности произведения, существенно лишь, насколько точно передается настроение: «Если поэту “есть что сказать”, если ему доступно вдохновение, то он инстинктивно ищет слов, наименее способных отвлечь внимание от целого, от той “сущности”, которая разлита во всем стихотворении, а не цепляется за отдельные его части. Он не боится метафор и эффектов — они просто не нужны ему. С высот того, что виделось ему в минуты замысла, все это — мишура и ничтожество»[109].

Адамович полагал наиболее действенным образом не тот, который содержится в стихотворении, а тот, который создается в душе читающего это стихотворение. При этом яркие метафоры, красочные образы будут лишь отвлекать внимание, рассеивать его, заслонять то, ради чего стихотворение создается. С догадкой Анненского о том, что «самое **страшное** и **властное** слово, т. е. самое **загадочное**, — может быть именно слово **буднич-**

---

[108] *Потебня А. А.* Теоретическая поэтика. — М.: Высшая школа, 1990. С. 154.

[109] *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1925. 27 июля. № 130. С. 2.

ное»[110], Адамович согласился бы полностью. Он считал, что «все большие, значительные поэты прошли одним и тем же стилистическим путем: от условно-поэтического словаря к полному прозаизму речи <...> к пренебрежению языковыми украшениями, в конце концов к суровой честности языка»[111].

У Адамовича более высок удельный вес каждого слова, по сравнению со словом у символистов. Стихотворение символистов должно было «навеять» определенное настроение — мелодией стиха, его ритмом, звуковой инструментовкой (недаром символисты придавали такое значение скрытому смыслу, передаваемому звуками, — едва ли не большее, чем смыслу слов). На семантику слова внимания обращалось гораздо меньше, она была не столь уж существенна, — слово подбиралось как намек, не по основному значению, а по какому-либо одному из второстепенных, вызывающих боковые ассоциации, и легко могло быть заменено другим, столь же не обязательным, лишь бы оно вписывалось в общий эмоциональный фон стихотворения и удачно ложилось на ритмическую основу. Значение могло расплываться, частично распространяясь на другие слова и образуя единую ткань стихотворения с малосущественным общим значением, основная задача которого — указывать на первоисточник, на некий тайный смысл, создавать представление.

---

[110] *Анненский И.* Книги отражений. — М.: Наука. 1979. С. 486.

[111] *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1925. 9 ноября. № 145. С. 2.

Адамович в зрелых стихах также стремился к тому, чтобы стихотворением переориентировать сознание читателя. Функция «навевания» сменилась у него функцией «пронзения», т. е. не околдовывания ритмом, но прояснения внутренней «музыки», настраивающей душу на должный лад. Обе функции, несмотря на все различия, выполняли транзитивную роль, т. е. текст стихотворения не был самоцелью, но должен был служить промежуточным звеном для передачи некоего высшего смысла, в самом стихотворении еще не заключающегося.

Задача усложнялась тем, что Адамович непременно хотел, чтобы стихотворение имело смысл и само по себе, как текст, причем смысл, приближенный к искомому, и только то, что невозможно передать значением слов, должно было выражаться самим строем стиха. Более того, каждое слово должно было быть семантически полноценным, со всеми оттенками его смысла, а не использоваться лишь как намек. Именно потому выбор его гораздо более труден, и заменить его другим нелегко. В идеале Адамович стремился к словам, которые заменить было бы вообще невозможно.

Требование семантически полноценного слова отчасти было реакцией на игру со словом и разрыв с логикой у европейских, прежде всего французских поэтов-авангардистов. По мнению Адамовича, поэзия в Европе, уже отказавшаяся к XX веку от надежд и веры, «вероятно именно поэтому легко отбросила логический ход речи <...> ей при этом не приходилось отбрасывать

что-либо другое, бесконечно более существенное, чем тот или иной литературный прием»[112]. У русской поэзии еще сохранялась по крайней мере надежда.

При всем том Адамович признавал, что в памяти от стихов «остается не смысл слов, а тембр голоса»[113]. И здесь крылось одно из основных противоречий в его взглядах на поэзию. Если остается не смысл, а тембр, то зачем столь старательно искать точные слова, не достаточно ли ограничиться точным тембром? Была ли это просто прихоть или невыветрившаяся причуда акмеизма? Или, как полагала З. Гиппиус, ответственность? Вероятно, присутствовали все эти моменты. Вряд ли Адамович пытался сам себе объяснить, зачем он этого требует, но упорно стоял на своем: «Поэтические образы подчиняются тем же законам, что и прозаическая речь. Они могут иметь какие угодно “вторые”, углубленные и неуловимые значения. Но прежде всего образ должен быть “забронирован” от обвинений в абсурдности. Слово прежде всего должно значить то, что оно действительно значит, а не то, чем поэту хочется его значение заменить. Торжество поэзии над “здравым смыслом” должно быть таинственно и от “непосвященных” скрыто. Иначе оно слишком дешево»[114].

---

[112] *Адамович Г.* Комментарии. — Вашингтон: Victor Kamkin Inc., 1967. С. 173–174.

[113] *Адамович Г.* Литературные заметки // Последние новости. 1939. 12 января. № 6499. С. 3.

[114] *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1927. 29 мая. № 226. С. 1.

Еще одна грань этого же противоречия — заведомая невозможность найти точные слова для «невыразимого». Здесь Адамович целиком разделял замечание Анненского о том, что «есть реальности, которые, по-видимому, лучше вовсе не определять»[115]. Он и сам считал: «Ясности нашей есть предел. Но дойдя до этого предела, надо речь оборвать, надо иметь мужество умолкнуть. Сказав все, что было в его силах, поэт должен отказаться от соблазняющей его лжи, хотя бы вследствие этого отказа поэзия оказалась бы внешне обедненной»[116].

Гораздо честнее Адамовичу казалось признаться прямо в стихах о невыразимости, чем давать точные дефиниции тому, что по природе своей не может быть определено и выражено в точном слове: «Лучше намек на истину, чем точность в заблуждении»[117]. Вполне допускались обороты вроде: «Какой-то невидимый свет, / Какое-то легкое пламя, / Которому имени нет», в то время как «лучезарные осиянности» отвергались категорически. Это было, по мнению Адамовича, украшением, причем украшением натужным и подлинной человеческой психологии несвойственным, так человек не мог бы сказать наедине с самим собой. А стихи Адамовича предназначались прежде всего для того, чтобы человек бормотал их самому себе.

---

[115] *Анненский И.* Книги отражений. — М.: Наука, 1979. С. 201.

[116] *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1927. 29 мая. № 226. С. 1.

[117] *Адамович Г.* Об Алексее Толстом и его последних произведениях // Современные записки. 1927. № 33. С. 428.

То, что обращение к этим темам заведомо обрекает поэзию на неопределенность, Адамович прекрасно сознавал: «Лермонтову по природе совершенство недоступно. Какие слова нашел бы он для “звуков небес”? Нет этих слов на человеческом языке. “Где-то”, “что-то”, “когда-то”, “когда-нибудь”»[118].

Выходом из создавшегося противоречия стала особая форма выражения мысли, ярче проявившаяся в критических статьях, но и в стихах Адамовича дававшая о себе знать. Он не стал пытаться определять невыразимое, а нашел другой прием: говорить «вокруг» него, все время приближаясь к нему с разных сторон и умолкая в нужном месте, не переходя границы, наполняя смыслом пропуски каких-то звеньев логической цепи.

Адамович высоко ценил такое умение у других поэтов. И не только потому, что «скучно слушать речь излишне обстоятельную»[119]. Лермонтов восхищал его едва ли не более всего тем, что у него «есть паузы, есть молчание, которое выразительнее всего, что он в силах был бы сказать»[120]. В собственной поэтической практике Адамовича недоговоренности играли большую роль. Да и для всех поэтов «парижской ноты» стали одним из неписаных правил.

---

[118] *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1927. 17 апреля. № 220. С. 2.

[119] *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1927. 29 мая. № 226. С. 1.

[120] *Адамович Г.* Комментарии. — Вашингтон: Victor Kamkin Inc., 1967. С. 183.

Сам Адамович усматривал в этом не прием, а настоятельную необходимость: «Недоговоренность может быть искусственным приемом. Тогда ей невелика цена. Но она бывает неизбежной, потому что есть вещи, которые сложнее и тоньше человеческого языка. Не только внутреннее целомудрие, но и стилистическое чутье подсказывает необходимость некоторой сдержанности и даже условности на языке, ставит предел индивидуальной языковой разнузданности. О всех действительно «великих» книгах можно сказать, что в них есть подводное течение. Есть не только слова, но и молчание. В словах не все уместилось. Отблеск оставшегося “за словами” заливает всю книгу»[121].

В своем стремлении избавиться от метафор и прочих украшений Адамович подчас бывал даже излишне категоричен: «Что это за поэзия, которая опасается, как бы что-нибудь, Боже упаси, не повредило ее поэтичности! Все, что в поэзии может быть уничтожено, должно быть уничтожено: ценно лишь то, что уцелеет»[122]. Так старательно «стирая случайные черты», немудрено было смахнуть ненароком и что-нибудь из неслучайного. Юрий Иваск справедливо полагал, что Адамович «сам себе мешал писать: не хотел быть одержимым стихией стиха, чтобы не солгать, чтобы не быть обманутым какими-то бессмысленными мечтаниями»[123].

---

[121] *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1925. 3 августа. № 131. С. 2.

[122] *Адамович Г.* Комментарии. — Вашингтон: Victor Kamkin Inc., 1967. С. 174–175.

[123] *Иваск Ю.* Собеседник: Памяти Георгия Викторовича Адамовича // Новый журнал. 1972. № 106. С. 286.

Опасность «чистого листа бумаги» Адамович отлично понимал и посвятил этой теме немало страниц своих «Комментариев», но причины видел несколько иные. Главной из них ему казалась не столько боязнь фальши, сколько стремление к «единственно нужному»: «Стоит только писателю возжаждать “вещей последних”, как литература <...> начнет разрываться, таять, испепеляться, истончаться и превратится в ничто <...> Человек ищет настоящих слов, ненавидя обольщения, отказываясь от них неумолимо-логическими отказами. И вот, наконец, он у желанной цели, он счастлив, он у центра. Но центр есть точка, отрицание пространства, в нем можно только задохнуться и умолкнуть»[124].

Понимая все это, он тем не менее твердо стоял на своем. Слишком высокие требования предъявлял он к поэзии, слишком много ждал от нее, чтобы допустить по отношению к ней любого рода легкомыслие. Он считал, что «поэзия не должна быть мечтой, капризом, сновидением, прихотью, экзотической фантазией, словесной игрой — иначе ей грош цена»[125].

Воззрения Адамовича на сущность поэзии были весьма своеобразными и даже его соратниками нередко признавались странными[126]. Он считал,

---

[124] *Адамович Г.* Комментарии. — Вашингтон: Victor Kamkin Inc., 1967. С. 8–9.

[125] *Адамович Г.* Мои встречи с Алдановым // Новый журнал. 1960. № 60. С. 100.

[126] *Чиннов И.* Вспоминая Адамовича // Новый журнал. 1972. № 109. С. 146.

что поэзия существует, «чтобы служить великому человеческому делу: одухотворению бытия, тому торжеству духа, которое, может быть, и свершится в далеких грядущих веках»[127]. С крайним максимализмом Адамович утверждал, что стихи должны быть «ответом на все». От поэтов (и от себя в том числе) он требовал невозможного: «найти слова, которые как будто никогда еще не были произнесены и никогда уже не будут заменены другими»[128]. По свидетельству Игоря Чиннова, «Адамовичу хотелось, чтобы поэзия стремилась вверх, как готический шпиль, истончилась бы до высокого сияющего острия — чтобы свершилось мировое чудо, а затем пусть, как молния, поэзия исчезнет <...> Стихов, в которых это стремление стать острием, вонзающимся в небо, ослаблено орнаментом, он не признавал: “лучше останемся без стихов”»[129]. Ю. Иваск был прав, утверждая, что здесь «Адамович продолжает по-своему идеологию символистов (“все или ничего”, мессианизм, достоевщина)»[130].

Свою положительную поэтическую программу, свой идеал Адамович изложил в «Комментариях», в известном определении поэзии: «Какие должны быть стихи? Чтобы как аэроплан, тянулись, тянулись по земле, и вдруг взлетали... если и не высо-

[127] *Адамович Г.* Комментарии. — Вашингтон: Victor Kamkin Inc., 1967. С. 104.

[128] Там же. С. 70.

[129] *Чиннов И.* Вспоминая Адамовича // Новый журнал. 1972. № 109. С. 147.

[130] Из письма Ю. Иваска В. Маркову от 29 января 1956 года // Собрание Жоржа Шерона. Лос-Анджелес.

ко, то со всей тяжестью груза. Чтобы все было понятно, и только в щели смысла врывался пронизывающий трансцендентальный ветерок. Чтобы каждое слово значило то, что значит, а все вместе двоилось. Чтобы входило, как игла, и не видно было раны. Чтобы нечего было добавить, некуда было уйти, чтобы "ах!", чтобы "зачем ты меня оставил?", и вообще, чтобы человек как будто пил горький, черный, ледяной напиток, "последний ключ", от которого он уже не оторвется»[131].

Почти полную невозможность достичь этого идеала Адамович хорошо понимал (потому, отчасти, количество написанных им стихов невелико), однако на меньшее был не согласен, по крайней мере в теории, обрекая себя на сокращение числа тем и сведение к минимуму средств выражения. Перефразируя изречение Мандельштама: «Дух отказа, проникающий поэзию Анненского, питается сознанием невозможности трагедии в современном русском искусстве»[132], можно было бы сказать, что дух отказа, проникающий поэзию Адамовича, питался сознанием невозможности поэзии.

На практике Адамовичу не всегда удавалось буквально следовать всем своим заповедям, иногда «желание выйти за пределы аскетической поэзии перебарывало»[133]. Но все его «лучшие стихи к этой

---

[131] *Адамович Г.* Комментарии. — Вашингтон: Victor Kamkin Inc., 1967. С. 6–7.

[132] *Мандельштам О.* Слово и культура. — М.: Советский писатель, 1987. С. 175.

[133] *Чиннов И.* Вспоминая Адамовича // Новый журнал. 1972. № 109. С. 139.

предельной простоте стремятся, ядро адамовичевской поэзии, в принципе аскетическое, сознательно обедненное и, принципиально, уже незаменимое в своей окончательной, как бы подвижнической очищенности от всего "неокончательного", необязательного, декоративного»[134].

То, что в лучших своих стихах Адамович цели достигал, отметили, не сговариваясь, многие из его современников. Стихи «пронзали». Игорь Чиннов, вряд ли зная о характеристике, данной стихам Адамовича Зинаидой Гиппиус в частном письме, использует, однако, те же эпитеты: «щемяще, пронзительно, незабываемо»[135].

Рецензируя сборник стихов «На Западе», Гиппиус обратила особое внимание на то, как эти стихи воздействуют на читателя: «Что такое стихотворная магия? Откуда она берется? Ни музыкальность (ох, уж эта музыкальность!), ни одушевление, ни тонкая мысль — ее еще не создают. Она в неожиданно счастливом сочетании слов, когда сами слова в отдельном значении гаснут, тают, отступают, обнажая то, что за ними. И это "за ними" дает читающему известный душевный толчок, т. е. действует как настоящее магическое заклинание»[136].

Аналогичное ощущение, каждый по-своему, выразили и другие читатели: «некоторые стихотворения напоминают химические формулы —

---

[134] *Чиннов И.* Вспоминая Адамовича // Новый журнал. 1972. № 109. С. 140.

[135] Там же. С. 140–141.

[136] Последние новости. 1939. 9 марта. № 6555. С. 3. Подп.: Антон Крайний.

названы и дозированы элементы, реакция должна произойти уже в сознании читателя»[137]; «Стихи Адамовича будят мысль, незаметно очаровывают и глухо звенят где-то на самом "дне сознанья"»[138].

«Корабль сколочен из чужих досок, но у него своя стать»

В ранних юношеских стихах первого сборника многие приемы, мотивы и образы предшественников еще не совсем органично вошли в ткань стиха, и это бросается в глаза. Ахматовские интонации, отдельные мотивы и лексические обороты Анненского или Блока порой «торчат» из стиха, не впитанные им полностью. Но что это именно новая поэтика, у рецензентов сомнения не было. Впоследствии Гиппиус имела полное право заявить о его зрелых стихах: «Адамович абсолютно свободен от подражательности; но параллелям его поэзия не чужда»[139].

Параллелям поэзия Адамовича и впрямь не чужда. В стихах его нетрудно найти переклички, ассоциации, реминисценции со многими членами Цеха поэтов, и исследователи акмеистской поэзии

---

[137] *Вадвич Н.* Русские поэты // Русский временник. 1939. № 3. С. 126.

[138] *Иваск Ю.* Эпоха Блока и Мандельштама: Главы из задуманной книги // Мосты. 1968. № 13–14. С. 235.

[139] Последние новости. 1939. 9 марта. № 6555. С. 3. Подп.: Антон Крайний.

(Н. Богомолов, В. Крейд) в своих работах приводили примеры то схожих интонаций, то совпадающего рисунка стиха, что вовсе не свидетельствует о каком-то неумении и тем более плагиате. Такие, выражаясь языком В. Жирмунского, «синтетические переработки»[140] в двадцатом веке были свойственны не одному Адамовичу. Цитатна была в изрядной мере поэзия многих акмеистов — Георгия Иванова[141], Ахматовой[142]. О Мандельштаме же, воссоздающем «архитектонику культур»[143], Б. Эйхенбаум верно сказал, что в его стихах даже «собственные слова звучат непривычно-торжественно — как цитаты»[144]. Цитатна, хотя и в меньшей степени, поэзия других членов Цеха. Мандельштам центонность считал даже чем-то обязательным для современного поэта: «Во время расцвета мишурного российского символизма и даже до его начала Инноке-

---

[140] *Жирмунский В. М.* Теория литературы. Поэтика. Стилистика. — Л.: Наука, 1977. С. 139.

[141] *Крейд В.* Петербургский период Георгия Иванова. — Tenafly: Эрмитаж, 1989. С. 41–42.

[142] См., например, главу «Многообразие форм чужого слова у ранней Ахматовой» в диссертации Р. Д. Тименчика «Художественные принципы предреволюционной поэзии Анны Ахматовой» (Тарту, 1982. С. 111–146), а также: *Тамура Мицумаса*. О чужом голосе в ранних стихах Анны Ахматовой // Царственное слово: Ахматовские чтения. Вып. I. — М.: Наследие, 1992. С. 119–125.

[143] *Гинзбург Л.* О лирике. — Л., 1974. С. 267.

[144] *Эйхенбаум Б. М.* О литературе. — М.: Советский писатель, 1987. С. 447–448.

тий Анненский уже являл пример того, чем должен быть органически поэт: весь корабль сколочен из чужих досок, но у него своя стать»[145].

Анализируя стихи членов Цеха поэтов, даже не всегда можно установить с исчерпывающей точностью, кто именно когда у кого брал и кто на кого влиял. Дело, кажется, вообще не во влиянии. «Параллелизм между стихами акмеистов, совпадения, скрытые и явные цитаты, намеки на известное стихотворение, иногда пародия или диалог с другим поэтом-акмеистом — все эти приемы не так уж редки в творчестве членов Цеха поэтов», — пишет В. Крейд, объясняя это тем, что «акмеизм был поэтической школой в наиболее полном значении этого слова»[146]. Думается, объяснение не только в поэтической школе. Если бы заимствования ограничивались только рамками Цеха, это было бы всего лишь игрой, характерной для литературного кружка. У акмеистов это было чем-то большим, нежели просто игра.

Об истоках акмеистской центонности можно строить разные предположения. Можно вспомнить, что центонна была поэзия Теофиля Готье, одного из четырех краеугольных камней, на которых Гумилев намеревался воздвигнуть здание акмеизма[147].

---

[145] *Мандельштам О.* Слово и культура. — М.: Советский писатель, 1987. С. 175.

[146] *Крейд В.* Петербургский период Георгия Иванова. — Tenafly: Эрмитаж, 1989. С. 41.

[147] О цитатности у Готье см. предисловие Г. Косикова к книге: *Готье Теофиль*. Эмали и камеи. — М., 1989. С. 17–18.

Вполне убедительно и объяснение Мандельштама, назвавшего акмеизм «тоской по мировой культуре». При стремлении вобрать в стих всю вселенную и создать завершенное произведение трудно пройти мимо уже созданного. Р. Тименчик считал, что «в конечном пределе поэзия акмеистов тяготеет к анонимной чужой речи. Это неоднократно декларировалось учителем акмеистов Анненским, видимо, не без влияния известных рассуждений Шопенгауэра о том, что истинный стих от века заключен в языке»[148].

Адамович разделял мнение, что мир языка един, однажды найденные слова звучат вечно, и им уже не надо искать замену, достаточно произнести их, и вспышка в сознании произошла, гигантский ряд образов и смыслов пришел в движение, можно идти дальше, открывая и создавая новые смыслы.

Как большинство акмеистов, Адамович просто-напросто не считал удачно найденные слова чужими. Сказанное кем-то — сказано для всех, открыто для всех, и каждый может этим воспользоваться, а задача поэта — находить столь точные выражения, чтобы они казались единственно возможными, незаменимыми.

Мнение это восходило к ранним убеждениям акмеистов в том, что язык в общем адекватен не только внешнему миру, но и миру чувств, хотя гораздо скуднее, беднее в оттенках, не все сразу

---

[148] *Тименчик Р. Д.* Текст в тексте у акмеистов // Ученые записки Тартуского университета. Вып. 567. Тарту, 1981.

можно выразить в словах, но в общих чертах — принципиальное совпадение. (Сыграло свою роль и отталкивание от символистских претензий пользоваться только словами высокого стиля, а также противостояние футуристскому устремлению в заумь.) По мнению акмеистов, удачно найденная фраза заполняет пустоту и уменьшает разрыв между наличным миром и возможностями языка. Поэтому неудивительны в стихах Адамовича переклички не только с Георгием Ивановым или Ахматовой, но и авторами, ничего общего с Цехом не имеющими, например, с Буниным или З. Гиппиус.

В ранних стихах Адамовича ощутима некоторая неуклюжесть, литературность при использовании цитат. Прямые цитаты, используемые мотивы, целые темы слишком уж хрестоматийны, и обвинения рецензентов в книжности воспринимаются справедливыми. Позднее цитата войдет в плоть стиха неназванной, без акцентирования внимания на ней. Да и сам характер цитирования изменится, прямые упоминания сменятся глубинными ассоциациями, вплавленными органично в ткань стиха, что позволит П. Бицилли утверждать в рецензии на книгу Адамовича «На Западе»: «Почти все стихотворения, вошедшие сюда, можно назвать вместе “философским диалогом”, в духе петрарковских: беседа души со сродными душами — невзирая на все различия индивидуальностей, моментов, стилей. Эта “диалогичность” стихов Г. Адамовича проявляется всегда в согласии с формой и замыслом, на самые разнообразные лады. То это прямые, хотя и отрывочные

3 Зак 3423

цитаты из Пушкина, Лермонтова, то использование чужих образов, звучаний, речевого строя, причем иногда так, что в одном стихотворении осуществляется со-гласие двух или нескольких голосов"»[149].

«Кто поверит словам, которым не совсем верю я сам?»

Не темы объединяли поэтов, которых Адамович считал своими учителями. Скорее наоборот, тематически они стояли особняком в литературных течениях, к которым примыкали. По верному замечанию современного исследователя, «характерных для русского символизма тем у Анненского не было вообще — мистико-религиозной и космической»[150]. То же самое Ю. Тынянов писал об Ахматовой: «Когда Ахматова начинала, она была нова и ценна не своими темами. Почти все ее темы были "запрещенными" у акмеистов»[151]. Зато все они близки между собой изощренным психологизмом лирики, стремлением передать в стихе тончайшие переживания, настроения, и, главное, предельной искренностью. Именно искренностью, правдивостью отли-

---

[149] Современные записки. 1939. № 69. С. 383.

[150] *Черный К. М.* Поэзия Иннокентия Анненского. Диссертация... М., 1974. С. 112–114.

[151] *Тынянов Ю. Н.* Поэтика. История литературы. Кино. — М.: Наука, 1977. С. 174.

чаются все кумиры Адамовича, как поэты, так и прозаики: Блок, Анненский, Ахматова, Л. Толстой. Едва ли не больше всего остального ценил Адамович нетерпение фальши, даже в минимальной дозе. Свою первую в жизни рецензию он начал словами: «Если наших поэтов еще не разлюбили, то им уже, конечно, перестали верить»[152], и приводил Ахматову как редкое исключение. Это неприятие фальши и стало одним из краеугольных камней «парижской ноты». Об искренности как одной из главных составляющих лирики Адамович не уставал напоминать всю жизнь. Одна из его последних статей, «Поэзия в эмиграции», завершалась тем же риторическим вопросом: «Кто поверит словам, которым не совсем верю я сам?»[153]. И требование точных слов было у него в первую очередь требованием слов искренних. В этом не было ничего особенно нового, еще Буало считал, что «лирика сильна лишь чувством неподдельным». Но после бури и натиска авангардной поэзии начала века, периода исканий, «бездарной погони за обновлением формы»[154], он считал необходимым напомнить о забытой истине.

По мнению Адамовича, «все можно выдумывать, но только не человеческую психологию».

---

[152] *Адамович Г.* «У самого моря» // Голос жизни. 1915. № 19. С. 6.

[153] *Адамович Г.* Комментарии. — Вашингтон: Victor Kamkin Inc., 1967. С. 185.

[154] *Адамович Г.* Русская поэзия // Жизнь искусства. 1923. № 2. С. 3.

И Лев Толстой для него велик, кроме всего прочего, еще и тем, что он психологию «не выдумывает, а находит»[155].

Задача лирики — воссоздавать психологические состояния, напрямую, либо отталкиваясь от предметов внешнего мира, которые тогда служат лишь фоном и сами эмоционально окрашиваются, получая часть эмоционального заряда эпитета. Адамовича интересовала прежде всего «внутренняя речь», только еще зарождающаяся, почти не оформившаяся в слова, та «музыка», которую иногда улавливает душа поэта, поднимаясь над обыденным состоянием.

Стих Адамовича, лишенный напевности, с неброскими рифмами, позволял тем не менее передавать нюансы эмоциональных состояний интонацией. Если в лирике Бальмонта «интонация тесно связана с повторениями звуков и внутренними рифмами»[156], то у Адамовича она гораздо меньше определялась фонетикой. Жирмунский считал, что подобная манера интонирования «зависит прежде всего от смысла слов, точнее — от общей смысловой окраски, а следовательно — от художественно-психологического задания»[157]. Адамович ставил себе задачей воплотить в слове в каждом конкретном случае ту единственную интонацию, которая отразит именно это движение души.

---

[155] *Адамович Г.* Толстой: Речь на собрании в Париже 3 декабря 1960 года. — Париж, 1960. С. 9.

[156] *Жирмунский В. М.* Теория литературы. Поэтика. Стилистика. — Л.: Наука, 1977. С. 64.

[157] Там же. С. 90.

М. Волошин как-то раз дал характеристики поэтическим голосам своих современников. Так, он утверждал, что общая интонация И. Анненского — «академически торжественный, накрахмаленный баритон, который вдруг переходит в мастерское почти клоунское звукоподражание и кончает неожиданно простым жутким усталым “вполголоса”, захватывающим своей обнаженной человеческой искренностью»[158]. У Ахматовой Эйхенбаум выделял разговорную, повествовательную интонацию, сменяющуюся торжественной, витийственной. Голос Адамовича очень тих, это даже не «вполголоса», а просто шепот, пронзительный, обреченный, а общая интонация — сосредоточенно-ожидающая, медитативная. Гумилев в рецензии на первый сборник Адамовича заметил: «Звук дребезжащей струны — лучшее, что есть в поэзии Адамовича, и самое самостоятельное»[159]. Этот звук дребезжащей струны остался у него навсегда.

Гумилев говорил о «коротком дыхании» Ахматовой. У Адамовича оно еще короче. Его стихи буквально испещрены точками и многоточиями. Разрывы между опорными словами еще более увеличились, и эти пробелы, провалы в стихе ничем не заполняются, ибо предназначены для заполнения читательским сознанием. Плавность и напев ослаблены, дыханье словно затруднено. И дело

---

[158] *Волошин М.* Лики творчества. — Л.: Наука, 1989. С. 770.

[159] *Гумилев Н.* Письмо о русской поэзии // Аполлон. 1916. № 1. С. 26.

здесь не в enjambements, у Ахматовой нередко присутствующих; переносить часть предложения в другую строку просто не требуется, настолько эти предложения коротки.

Скачки от одного к другому очень резки. Автор как будто спорит с самим собой, то и дело сам себя перебивая. Это уже даже не разговорный язык, а скорее обрывки мыслей, бормотанье себе под нос, полушепот, неупорядоченный до конца поток сознания, только еще начинающий воплощаться в речь. Слово как будто всякий раз приходит в последний момент, после того, как были сказаны предыдущие. Стихотворение произносится каждый раз как будто заново рождается сейчас, здесь, в процессе бормотания. Только в этом смысле можно говорить о настоящем времени в стихах: оно настает всякий раз, когда читается стихотворение. Это не уловленный и затем описанный миг, это мгновенье именно воплощенное, точнее, воплощаемое, лирика в первоначальном смысле слова.

П. Бицилли в своей рецензии остроумно охарактеризовал этот тип поэзии как «придаточные предложения без главных»[160].

Лирическая тема решается в диалоге, столкновении двух точек зрения, в мучительных сомнениях. Это либо два спорящих голоса, либо возражения самому себе, но в обоих случаях движение мысли рождается в этих сомнениях и колебаниях.

---

[160] Современные записки. 1939. № 69. С. 383.

Если всмотреться пристальнее в этот второй голос, то обнаруживается, что источник его определить не так уж просто. Если у Ахматовой «постоянные обращения ко второму лицу делают присутствие рядом с героиней других лиц, связанных с нею теми или другими отношениями, очень ощутимым»[161], то у Адамовича такие стихи — скорее редкое исключение. Жирмунский считал даже, что у Ахматовой «мужской образ, впечатление мужской красоты изображены до полной зрительной ясности»[162]. Во всяком случае, адресат стихов Ахматовой, «ты», к которому она обращается, вполне определен: это либо сам объект любви, либо посредник (часто читатель), которому поверяется история отношений. Адресат Адамовича далеко не так ясен: это обращение не то к собеседнику, о котором ничего не известно, не то к самому себе. Вполне определен и лирический герой Ахматовой — он приближен к автору настолько, что Эйхенбаум уверял, что из стихов Ахматовой «мы знаем ее наружность, ее одежду, ее движения, жесты, походку. Мы постепенно узнаем ее прошлое <...> знаем места, где она жила и живет <...> знаем, наконец, ее дом, ее комнаты»[163]. Ничего подобного нельзя было бы вынес-

---

[161] *Эйхенбаум Б. М.* О прозе. О поэзии. — Л., 1986. С. 436.

[162] *Жирмунский В. М.* Теория литературы. Поэтика. Стилистика. — Л.: Наука, 1977. С. 118.

[163] *Эйхенбаум Б. М.* О прозе. О поэзии. — Л., 1986. С. 436.

ти из стихов Адамовича. Никаких мелких деталей, особенностей частной жизни нет и в помине. Не всегда можно даже определить, откуда, из чьих уст исходит авторский голос. Образа автора, авторского «я» как определенного центра организации текста, зачастую нет. И это неслучайно.

Последовательно очищая стихи от всего, что можно было выбросить, Адамович исключил оттуда не только посторонние персонажи, но и тщательно избавился от авторских черт частного человека. Образ автора исчез из стихов почти полностью, слившись с лирическим героем и одновременно с читателем. Неважно, к читателю, к собеседнику или к самому себе обращается автор то в третьем, то во втором лице. Любое «я», равно как любое же «ты» и «он» обращены одинаково к себе самому, к собеседнику, к любому человеку вообще, они равновелики и обозначают просто человека на том его уровне, когда безразлична любая разница в людях. Такое стихотворение, в сочетании с разговорной интонацией, начинает походить на медитативное упражнение и предназначается не кому-то конкретно, а всем, то есть любому, кто захочет и сумеет им воспользоваться. Читатель сам поневоле становится действующим лицом, лирическим героем и отчасти автором этих стихов, ибо их нельзя читать, не переживая одновременно их содержания.

* * *

В поэзии Адамовича шло дооформление процессов, общих для литературы рубежа веков: психологизация лирики, идущая вслед за достижениями психологической прозы XIX века, та «зависть к прозе, которая охватила поэтов»[164], дальнейшее трезвение слова (после символистской глоссолалии, упоения словом у Гумилева и Мандельштама). В эмиграции он попытался синтетически объединить в своем творчестве лучшие достижения двух ведущих поэтических систем начала века — акмеизма и символизма, что обусловило одновременно и достоинства его поэзии, и слабости ее.

Адамовича иногда упрекали в отсутствии новых идей. Но еще в 1922 году Мандельштам, пусть и полушутя, сказал: «Литературные школы живут не идеями, а вкусами; принести с собой целый ворох новых идей, но не принести новых вкусов значит не сделать новой школы, а лишь основать поэтику. Наоборот, можно создать школу одними только вкусами, без всяких идей»[165]. «Парижская нота» была создана Адамовичем по рецепту своего бывшего соратника и стала последней значительной литературной школой не только в эмиграции, но и во всей русской поэзии XX века.

---

[164] *Эйхенбаум Б. М.* О литературе. — М.: Советский писатель, 1987. С. 446.

[165] *Мандельштам О.* Слово и культура. — М.: Советский писатель, 1987. С. 66–67.

Вспоминая в конце жизни о «парижской ноте», Адамович сказал, что больше всего в те годы хотелось «все “самое важное” из прошлого как бы собрать в комок и бросить в будущее»[166].

В каком-то плане это было попыткой осмыслить пути и судьбы русской поэзии серебряного века, а также выводом из всех ее свершений, послесловием к ней.

---

[166] *Адамович Г.* Комментарии. — Вашингтон: Victor Kamkin Inc., 1967. С. 185.

ЕДИНСТВО (1967)

Стихам своим я знаю цену.
Мне жаль их, только и всего.
Но ощущаю как измену
Иных поэзий торжество.

Сквозь отступленья, повторенья,
Без красок и почти без слов,
Одно, единое виденье,
Как месяц из-за облаков,

То промелькнет, то исчезает,
То затуманится слегка,
И тихим светом озаряет,
И непреложно примиряет
С беспомощностью языка.

Тихим, темным, бесконечно-звездным,
Нет ему ни имени, ни слов,
Голосом небесным и морозным
Из-за бесконечных облаков,
Из-за бесконечного эфира,
Из-за всех созвездий и орбит,
Легким голосом иного мира
Смерть со мной все время говорит.

Я живу, как все: пишу, читаю,
Соблюдаю суету сует...
Но, прислушиваясь, умираю
Голосу любимому в ответ.

Ни с кем не говори. Не пей вина.
Оставь свой дом. Оставь жену и брата.
Оставь людей. Твоя душа должна
Почувствовать — к былому нет возврата.

Былое надо разлюбить. Потом
Настанет время разлюбить природу,
И быть все безразличней, — день за днем,
Неделю за неделей, год от году.

И медленно умрут твои мечты.
И будет тьма кругом. И в жизни новой
Отчетливо тогда увидишь ты
Крест деревянный и венок терновый.

Ты здесь опять... Неверная, что надо
Тебе от человека в забытьи?
Скажи на милость, велика отрада —
Улыбки, взгляды, шалости твои!

О, как давно тебе я знаю цену,
Повадки знаю и притворный пыл.
Я не простил... скорей забыл измену,
Да и ночные россказни забыл.

Что пять минут отравленного счастья?
Что сладости в лирическом чаду?
Иной, иной «с восторгом сладострастья»
Я тридцать лет тебя напрасно жду.

Пройдемся, что ж... То плача, то играя,
То будто отрываясь от земли,
Чтоб с берегов искусственного рая
Вернуться нищими, как и пришли.

И мы выходим... Небо? Небо то же.
Снег, рестораны, фонари, дома.
Как холодно и тихо. Как похоже...
Нет, я не брежу, не схожу с ума,

Нет, я не обольщаюсь: нет измены.
Чуть кружится как прежде голова,
С каким-то невским ветерком от Сены
Летят как встарь послушные слова,

День настает почти нездешне яркий,
Расходится предутренняя мгла,
Взвивается над Елисейской аркой
Адмиралтейства вечная игла,

И в высоте немыслимо морозной,
В сияющей, слепящей вышине
Лик неизменный, милосердный, грозный,
В младенчестве склонявшийся ко мне!

———————————————

Спасибо, друг. Не оставляй так скоро,
А малодушие ты мне прости.
Не мало человек болтает вздора,
Как говорят, «на жизненном пути».

Не забывай. Случайно, мимоходом,
На огонек, — скажи, придешь?

Без отдыха дни и недели,
Недели и дни без труда.
На синее небо глядели,
Влюблялись... И то не всегда.

И только. Но брезжил над нами
Какой-то божественный свет,
Какое-то легкое пламя,
Которому имени нет.

По широким мостам...
Но ведь мы все равно не успеем,
Этот ветер мешает, ведь мы заблудились в пути,
По безлюдным мостам, по широким
и черным аллеям
Добежать хоть к рассвету, и остановить, и спасти.

Просыпаясь дымит и вздыхает тревожно столица.
Окна призрачно светятся. Стынет дыханье в груди.
Отчего мне так страшно?
Иль может быть все это снится,
Ничего нет в прошедшем и нет ничего впереди?

Море близко. Светает. Шаги уже меряют где-то.
Будто скошены ноги, я больше бежать не могу.
О, еще б хоть минуту! Но щелкнул курок пистолета.
Не могу... все потеряно... Темная кровь на снегу.

Тишина, тишина. Поднимается солнце. Ни слова.
Тридцать градусов холода. Тускло сияет гранит.
И под черным вуалем у гроба стоит Гончарова,
Улыбается жалко и вдаль равнодушно глядит.

«...может быть залог».
Пушкин

«О, если правда, что в ночи...»
Не правда. Не читай, не надо.
Все лучше: жалобы твои,
Слез ежедневные ручьи,
Чем эта лживая услада.

Но если... о, тогда молчи!
Еще не время, рано, рано.
Как голос из-за океана,
Как зов, как молния в ночи,
Как в подземельи свет свечи,
Как избавление от бреда,
Как исцеленье... видит Бог,
Он сам всего сказать не мог,
Он сам в сомненьях изнемог...
Тогда бессмер... молчи!.. победа,
Ну, как там у него? «залог».

За слово, что помнил когда-то
И после навеки забыл,
За все, что в сгораньях заката
Искал ты, и не находил,

И за безысходность мечтанья,
И холод растущий в груди,
И медленное умиранье
Без всяких надежд впереди,

За белое имя спасенья,
За темное имя любви
Прощаются все прегрешенья
И все преступленья твои.

«О, если где-нибудь, в струящемся эфире,
В надзвездной вышине,
В непостижимой тьме, в невероятном мире
Ты все же внемлешь мне,

То хоть бы только раз...» Но длилось промедленье,
И все слабей дыша,
От одиночества и от недоуменья
Здесь умерла душа.

Слушай — и в смутных догадках не лги.
Ночь настает, и какая: ни зги!

Надо безропотно встретить ее,
Как ни сжималось бы сердце твое.

Слушай себя, но не слушай людей.
Музыка мира все глуше, бедней.

Космос, полеты, восторги, война, —
Жизнь, говорят, измениться должна.

(Да, это так.. Но не поняли вы:
«Тише воды, ниже травы»).

Был дом, как пещера. О, дай же мне вспомнить
Одно только имя, очнуться, понять!
Над соснами тучи редели. У дома
Никто на порог нас не вышел встречать.

Мужчины с охоты вернулись. Звенели
И перекликались протяжно рога.
Как лен были волосы над колыбелью,
И ночь надвигалась, темна и долга.

Откуда виденье? О чем этот ветер?
Я в призрачном мире сбиваюсь с пути.
Безмолвие, лес, одиночество, верность...
Но слова единственного не найти.

Был дом, как пещера. И слабые, зимние,
Зеленые звезды. И снег, и покой,
Конец, навсегда. Обрывается линия.
Поэзия, жизнь, я прощаюсь с тобой!

Твоих озер, Норвегия, твоих лесов...
И оборвалась речь сама собою.
На камне женщина поет без слов,
Над нею небо льдисто-голубое.

О верности, терпении, любви,
О всех оставленных, о всех усталых...
(Я здесь, я близко, вспомни, назови!)
Сияет снег на озаренных скалах,

Сияют сосны красные в снегу.
Сон недоснившийся, неясный, о котором
Иначе рассказать я не могу...

Твоим лесам, Норвегия, твоим озерам.

Светало. Сиделка вздохнула. Потом
Себя осенила небрежным крестом
И отложила ненужные спицы.
Прошел коридорный с дежурным врачом.
Покойника вынесли из больницы.

А я в это время в карты играл,
Какой-нибудь вздор по привычке читал,
И даже не встал. Ничего не расслышал,
На голос из-за моря звавший не вышел,
Не зная куда, без оглядки, навек...

А вот, еще говорят — «человек»!

Да, да... я презираю нервы,
Истерику, упреки, все.
Наш мир — широкий, щедрый, верный,
Как небеса, как бытие.

Я презираю слезы, — слышишь?
Бесчувственный я, так и знай!
Скажи, что хочешь... тише, тише...
Нет, имени не называй.

Не называй его... а впрочем
Все выдохлось за столько лет.
Воспоминанья? Клочья, клочья.
Надежды? Их и вовсе нет.

Не бойся, я сильней другого,
Что хочешь говори... да, да!
Но только нет, не это слово
Немыслимое:
никогда.

Ну, вот и кончено теперь. Конец.
Как в мелодраме, грубо и уныло.
А ведь из человеческих сердец
Таких, мне кажется, немного было.

Но что ему мерещилось? О чем
Он вспоминал, поверя сну пустому?
Как на большой дороге, под дождем,
Под леденящим ветром, к дому, к дому.

Ну, вот и дома. Узнаешь? Конец.
Все ясно. Остановка, окончанье.
А ведь из человеческих сердец...
И это обманувшее сиянье!

За все, за все спасибо. За войну,
За революцию и за изгнанье.
За равнодушно-светлую страну,
Где мы теперь «влачим существованье».

Нет доли сладостней — все потерять.
Нет радостней судьбы — скитальцем стать,
И никогда ты к небу не был ближе,
Чем здесь, устав скучать,
Устав дышать,
Без сил, без денег,
Без любви,
В Париже...

Когда мы в Россию вернемся...
о, Гамлет восточный, когда? —
Пешком, по размытым дорогам,
в стоградусные холода,
Без всяких коней и триумфов,
без всяких там кликов, пешком,
Но только наверное знать бы,
что вовремя мы добредем...

Больница. Когда мы в Россию...
колышется счастье в бреду,
Как будто «Коль славен» играют
в каком-то приморском саду,
Как будто сквозь белые стены,
в морозной предутренней мгле
Колышатся тонкие свечи
в морозном и спящем Кремле.

Когда мы... довольно, довольно.
Он болен, измучен и наг.
Над нами трехцветным позором
полощется нищенский флаг,
И слишком здесь пахнет эфиром,
и душно, и слишком тепло.
Когда мы в Россию вернемся...
но снегом ее замело.

Пора собираться. Светает.
Пора бы и двигаться в путь.
Две медных монеты на веки.
Скрещенные руки на грудь.

Что там было? Ширь закатов блеклых,
Золоченных шпилей легкий взлет,
Ледяные розаны на стеклах,
Лед на улицах и в душах лед.

Разговоры будто бы в могилах,
Тишина, которой не смутить...
Десять лет прошло, и мы не в силах
Этого ни вспомнить, ни забыть.

Тысяча пройдет, не повторится,
Не вернется это никогда.
На земле была одна столица,
Все другое — просто города.

Всю ночь слова перебираю,
Найти ни слова не могу,
В изнеможеньи засыпаю
И вижу реку всю в снегу,
Весь город наш, навек единый,
Край неба бледно-райски-синий,
И на деревьях райский иней...

Друзья! Слабеет в сердце свет,
А к Петербургу рифмы нет.

Когда успокоится город
И смолкнет назойливый гам,
Один выхожу я из дому,
В двенадцать часов по ночам.

Под черным, невидимым небом,
По тонкому первому льду,
Не встретив нигде человека,
Не помня дороги, иду.

И вижу широкую реку,
И темную тень на коне,
И то, что забыла Россия,
Тогда вспоминается мне.

Но спит непробудно столица,
Не светит на небе луна.
Не бьют барабаны. Из гроба
Никто не встает. Тишина.

Лишь с воем летя от залива
И будто колебля гранит,
Сухой и порывистый ветер
Мне ноги снежком порошит.

4 Зак. 3423

Я не тебя любил, но солнце, свет,
Но треск цикад, но голубое море.
Я то любил, чего и следу нет
В тебе. Я на немыслимом просторе

Любил. Я солнечную благодать
Любил. Что знаешь ты об этом?
Что можешь рассказать
Ветрам, просторам, молниям, кометам?

Да, у меня кружилась голова
От неба, от любви, от этой рощи
Оливковой... Ну да, слова.
Ну да, литература... Надо проще.

Был сад во тьме, был ветерок с высот,
Две-три звезды, — что ж не простого в этом?
Был голос вдалеке: «Нет, только тот,
Кто знал...» — мне одному ответом.

И даже ночь с Чайковским заодно
В своем безмолвии предвечном пела
О том, что все обречено,
О том, что нет ни для чего предела.

«Нет, только тот...» Пойми, я не могу
Ясней сказать, последним снам не вторя,
Я отплываю, я на берегу
Иного, не земного моря.

Я не тебя любил. Но если там,
Где все кончается, все возникает,
Ты к новым мукам, новым небесам
Покорно, медленно... нет, не бывает...

Но если все-таки... не будет, ложь...
От одного к другому воплощенью
Ты предо мной когда-нибудь пройдешь
Неузнаваемой, ужасной тенью,

Из глубины веков я вскрикну: да!
Чрез миллионы лет, но как сегодня,
Как солнце вечности, о, навсегда,
Всей жизнью и всей смертью — помню!

Наперекор бессмысленным законам,
Наперекор неправедной судьбе
Передаю навек я всем влюбленным
Мое воспоминанье о тебе.

Оно как ветер прошумит над ними,
Оно протянет между ними нить,
И никому неведомое имя
Воскреснет в нем и будет вечно жить.

О, ангел мой, холодную заботу,
Сочувствие без страсти и огня
Как бы по ростовщическому счету
Бессмертием оплачиваю я.

Он милостыни просит у тебя,
Он — нищий, он протягивает руку.
Улыбкой, взглядом, молча, не любя
Ответь хоть чем-нибудь на эту муку.

А впрочем в муке и блаженство есть.
Ты не поймешь. Блаженство униженья,
Слов сгоряча, ночей без сна, Бог весть
Чего... Блаженство утра и прощенья.

Ни срезанных цветов, ни дыма панихиды.
Не умирают люди от обиды
И не перестают любить.

В окне чуть брезжит день и надо снова жить.

Но если, о мой друг, одной прямой дороги
Весь мир пересекла бы нить,
И должен был бы я, стерев до крови ноги,
Брести века по ледяным камням,
И коченея, где-то там,
Коснуться рук твоих безмолвно и устало,
И все опять забыть, и путь начать сначала,
Ужель ты думаешь, любовь моя,
Что не пошел бы я?

Ночь... и к чему говорить о любви?
Кончены розы и соловьи,

Звезды не светят, леса не шумят,
Непоправимое... пятьдесят.

С розами, значит, или без роз,
Ночь, — и «о жизни покончен вопрос».

...И оттого еще более ночь,
Друг, не способный любить и помочь,

Друг моих снов, моего забытья,
Счастье мое, безнадежность моя,

Розовый идол, персидский фазан,
Птица, зарница... ну, что же, я пьян,

Друг мой, ну что же, так сходят с ума,
И оттого еще более тьма,

И оттого еще глуше в ночи,
Что от немеркнущей, вечной свечи,

— Если сознание, то в глубине,
Если душа, то на самом дне, —

Луч беспощадный врезается в тьму:
Жить, умирать — все равно одному.

В последний раз... Не может быть сомненья,
Это случается в последний раз,
Это награда за долготерпенье,
Которым жизнь испытывала нас.

Запомни же, как над тобой в апреле
Небо светилось всею синевой,
Солнце сияло, как в ушах звенели
Арфы, сирены, соловьи, прибой.

Запомни все: обиды, безучастье,
Ночь напролет, — уйти, увидеть, ждать? —
Чтоб там, где спросят, что такое счастье,
Как в школе руку первому поднять.

Н<иколаю> Р<ейзини>

Ночью он плакал. О чем, все равно.
(Многое спутано, затаено.)

Ночью он плакал, и тихо над ним
Жизни сгоревшей развеялся дым.

Утром другие приходят слова,
Перебираю, что помню едва.

Ночью он плакал... И брезжил в ответ
Слабый, далекий, а все-таки свет.

Один сказал: «Нам этой жизни мало».
Другой сказал: «Недостижима цель».
А женщина привычно и устало,
Не слушая, качала колыбель.

И стертые веревки так скрипели,
Так умолкали, — каждый раз нежней! —
Как будто ангелы ей с неба пели
И о любви беседовали с ней.

Но смерть была смертью. А ночь над холмом
Светилась каким-то нездешним огнем,
И разбежавшиеся ученики
Дышать не могли от стыда и тоски.

А после... Прозрачную тень увидал
Один. Будто имя свое услыхал
Другой... И почти уж две тысячи лет
Стоит над землею немеркнущий свет.

Патрон за стойкою глядит привычно, сонно,
Гарсон у столика подводит блюдцам счет.
Настойчиво, назойливо, неугомонно
Одно с другим — огонь и дым — борьбу ведет.

Не для любви любить, не от вина быть пьяным.
Что знает человек, который сам не свой?
Он усмехается над допитым стаканом
Он что-то говорит, качая головой.

За все, что не сбылось. За тридцать лет разлуки,
За вечер у огня, за руки на плече.
Еще, за ангела... и те, иные звуки...
Летел, полуночью... за небо, вообще!

Он проиграл игру, он за нее ответил.
Пора и по домам. Надежды никакой.
— И беспощадно бел, неумолимо светел
День занимается в полоске ледяной.

Под ветками сирени сгнившей,
Не слыша лести и обид,
Всему далекий, все забывший
Он, наконец, спокойно спит.

Пустынно тихое кладбище,
Просторен тихий небосклон,
И воздух с каждым днем все чище,
И с каждым днем все глубже сон.

А ты, заботливой рукою
Сюда принесшая цветы,
Зачем кощунственной мечтою
Себя обманываешь ты?

Осенним вечером, в гостинице, вдвоем,
На грубых простынях привычно засыпая...
Мечтатель, где твой мир? Скиталец, где твой дом?
Не поздно ли искать искусственного рая?

Осенний крупный дождь стучится у окна,
Обои движутся под неподвижным взглядом.
Кто эта женщина? Зачем молчит она?
Зачем лежит она с тобою рядом?

Безлунным вечером, Бог знает где, вдвоем,
В удушии духов, над облаками дыма...
О том, что мы умрем. О том, что мы живем.
О том, как страшно все. И как непоправимо.

Тянет сыростью от островов,
Треплет ветер флаг на пароходе,
И глаза твои, как две лагуны,
Отражают розовое небо.

Мимолетный друг, ведь все обман,
Бога нет и в мире нет закона,
Если может быть, что навсегда
Ты меня оставишь. Не услышишь
Голоса зовущего. Не вспомнишь
Этот летний вечер...

Где ты теперь? За утесами плещет море,
По заливам льдины плывут,
И проходят суда с трехцветным широким флагом.
На шестом этаже, задыхаясь, у телефона
Человек говорит: «Мария, я вас любил».
Пролетают кареты. Автомобили
За ними гудят. Зажигаются фонари.
Продрогшая девочка бьется продать спички.

Где ты теперь? На стотысячезвездном небе
Миллионом лучей белеет Млечный путь,
И далеко, у глухо-гудящих сосен, луною
Озаряемая, века и века,
Угрюмо шумит Ниагара.

Где ты теперь? Иль мой голос уже, быть может,
Без надежд над землей и ответа лететь обречен,
И остались в мире лишь волны,
Дробь звонков, корабли,
фонари, нищета, луна, водопады?

Пора печали, юность — вечный бред.

Лишь растеряв по свету всех друзей,
Едва дыша, без денег и любви,
И больше ни на что уж не надеясь,
Он понял, как прекрасна наша жизнь,
Какое торжество и счастье — жизнь,
За каждый час ее благодарит
И робко умоляет о прощеньи
За прежний ропот дерзкий...

Нет, ты не говори: поэзия — мечта,
Где мысль ленивая игрой перевита,

И где пленяет нас и дышит легкий гений
Быстротекущих снов и нежных утешений.

Нет, долго думай ты и долго ты живи,
Плачь, и земную грусть, и отблески любви,

Дни хмурые, утра, тяжелое похмелье —
Все в сердце береги, как медленное зелье,

И может к старости тебе настанет срок
Пять-шесть произнести как бы случайных строк,

Чтоб их в полубреду потом твердил влюбленный,
Растерянно шептал на казнь приговоренный,

И чтобы музыкой глухой они прошли
По странам и морям тоскующей земли.

Как холодно в поле, как голо,
И как безотрадны очам
Убогие русские села
(Особенно по вечерам).

Изба под березой. Болото.
По черным откосам ручьи.
Невесело жить здесь, но кто-то
Мне точно твердит — поживи!

Недели, и зимы, и годы,
Чтоб выплакать слезы тебе
И выучиться у природы
Ее безразличью к судьбе.

З<инаиде> Г<иппиус>

Там, где-нибудь, когда-нибудь,
У склона гор, на берегу реки,
Или за дребезжащею телегой,
Бредя привычно под косым дождем,
Под низким, белым, бесконечным небом,
Иль много позже, много, много дальше,
Не знаю что, не понимаю как,
Но где-нибудь, когда-нибудь, наверно...

Есть, несомненно, странные слова,
Не измышленья это и не бредни.
Мне делается холодно, едва
Услышу слово я «последний».

Последний час. Какой огромный сад!
Последний вечер. О, какое пламя!
Как тополя зловеще шелестят
Прозрачно-черными ветвями...

Ничего не забываю,
Ничего не предаю...
Тень несозданных созданий
По наследию храню.

Как иголкой в сердце, снова
Голос вещий услыхать,
С полувзгляда, с полуслова
Друга в недруге узнать,

Будто там, за далью дымной,
Сорок, тридцать, — сколько? — лет
Длится тот же слабый, зимний
Фиолетовый рассвет,

И как прежде, с прежней силой,
В той же звонкой тишине
Возникает призрак милый
На эмалевой стене.

Он говорил: «Я не люблю природы,
Я научу вас не любить ее.
И лес, и море, и отроги скал
Однообразны и унылы. Тот,
Кто в них однажды пристально вглядится,
От книги больше не поднимет глаз.

Один лишь раз, когда-то в сентябре,
Над темною, рябой и бедной речкой,
Над призрачными куполами Пскова,
Увидел мимоходом я закат,
Который мне напомнил отдаленно
Искусство человека...»

Sulmo mihi patria est...
Овидий

Нам Tristia — давно родное слово.
Начну ж, как тот: я родился в Москве.
Чуть брезжил день последнего, Второго,
В апрельской предрассветной синеве.

Я помнить не могу, но помню, помню
Коронационные колокола.
Вся в белом, шелестящем, — как сегодня! —
Мать улыбаясь в детскую вошла.

Куда, куда? — мы недоумеваем.
Какой-то звон, сиянье, пустота...
Есть меж младенчеством и раем
Почти неизгладимая черта.

Но не о том рассказ...

Из голубого океана,
Которого на свете нет,
Из-за глубокого тумана
Обманчиво-глубокий свет.

Из голубого океана,
Из голубого корабля,
Из голубого обещанья,
Из голубого... la-la-la...

Голубизна, исчезновенье,
И невозможный смысл вещей,
Которые приносят в пенье
Всю глубь бессмыслицы своей.

Приглядываясь осторожно
К подробностям небытия,
Отстаивая сколько можно
Свое, как говорится, «я»,

Надеясь, недоумевая,
Отбрасывая на ходу
«Проблему зла», «проблему рая»
Или другую ерунду,

Он верит, верит... Но не будем
Сбиваться, повышая тон.
Не объяснить словами людям,
В чем и без слов уверен он.

Над ним есть небо голубое,
Та бесконечность, вечность та,
Где с вялой дремой о покое
О жизни смешана мечта.

Ни музыки, ни мысли... ничего.
Тебе давно чистописанья мало,
Тебе давно игрой унылой стало,
Что для других — и путь, и торжество.

Но навсегда вплелся в напев твой сонный, —
Ты знаешь сам, — вошел в слова твои,
Бог весть откуда, голос приглушенный
Быть может смерти, может быть любви.



ДОПОЛНЕНИЯ

«ОБЛАКА» (1916)

Вот так всегда, — скучаю и смотрю
На золотую, бледную зарю.

Мне утешений нет. И я не болен, —
Я вижу облако и ветер в поле.

Но облако, что парус, уплывет
И ветер, улетая, позовет:

«Вон там Китай, пустыни и бананы,
Высоким солнцем выжженные страны».

И это жизнь! И эти кружева
Мне заменяют бледные слова,

Что слушал я когда-то, вечерами,
Там, над закатами, над облаками!

Но не могу я вспомнить тишины,
Той боли, и полета, и весны.

Скоро день. И как упрямо
Волны держат пароход.
Ветерок от Валаама
Звон малиновый несет.

Скоро в путь. А путь не страшен, —
Ведь по ладожским волнам
Мимо деревень и пашен
К синим, ясным куполам.

Тонкий звон, звени и падай,
Чтоб не потерять пути,
Помоги, Врагиня ада,
От лукавого уйти!

Сладок воздух, тесны кельи,
На траве медведь лежит!
Празднуй, празднуй новоселье
Убегающий во скит!

В зоологических садах орлы,
В тяжелых кольцах, сонные летают,
С прута на ветку — будто со скалы —
Перелетят и снова засыпают.

Как мне скучна их царская краса
И декорации глухой печали,
И пар над Альпами, и небеса,
Что раздираемых ягнят видали!

Я маленькую птицу, воробья,
Поймаю в клетку, напою водою.
Пусть он чирикает, поет. А я
Окошко разноцветное раскрою.

5 Зак. 3423

День был ранний и молочно-парный.
Ин. Анненский

Так тихо поезд подошел,
Пыхтя, к облезлому вокзалу,
Так грустно сердце вспоминало
Весь этот лес и частокол.

Все то же. Дождик поутру,
Поломанные георгины,
Лохмотья мокрой парусины
Все бьются, бьются на ветру,

А на цепи собака воет,
И выбегает на шоссе...
Здесь, правда, позабыли все,
Что было небо голубое.

Лишь помнит разоренный дом,
Как смерть по комнатам ходила,
Как черный поп взмахнул кадилом
Над полинявшим серебром.

И сосны помнят. И скрипят,
Совсем, как и тогда скрипели, —
Ведь к ночи ранние метели
Уж снегом заметали сад.

Анне Ахматовой

Так беспощаден вечный договор!
И птицы, и леса остались дики,
И облака, — весь незапевший хор
О гибели, о славе Эвридики.

Так дни любви обещанной прошли!
Проходят дни и темного забвенья.
Уже вакханок слышится вдали
Тяжелое и радостное пенье.

И верности пред смертью не тая,
Покинутый, и раненый, и пленный,
Я вижу Елисейские поля,
Смущенные душою неблаженной.

НОЧИ

I

Как трудно вечером дышать
И думать! И ночами тоже,
Когда чугунная кровать
Совсем на катафалк похожа.

А в комнатах, во тьме ночной
Какая тишина! Ты слышишь, —
Лишь за шкафами, под стеной
Скребут отравленные мыши.

Слабея, с ядом на зубах,
Грызут зеленые обои...
Я только слушаю. Но страх
Мне тоже не дает покоя.

И так всегда. Встаю тайком,
Иду скрипучими шагами
К окну, — и вижу за стеклом
Простое розовое пламя.

И страшно грустно, близко, тут,
Под окнами проходит пенье, —
То братья бедные бредут
На Волково успокоенье.

II

Ведь только тюльпана упал цветок,
Лишь белой луной засветились плиты, —
— Быть может, сюда не входил никто,
— Но завтра найдут человека убитым.

Что же, и это полночный бред,
И это мои полночные муки?
А там... у стены... леди Макбет
Зачем ломает красные руки?

Так страшно знать, что поток времен
Свой дикий гнев всегда возвращает,
И сорок веков погребенный стон
Ночью дрожит и нас оглушает.

Не знал и не верил в Бога.
Так, видно, мне суждено,
Но ветер принес тревогу
В высокое мое окно.

Я вижу: леса и воды
И неба мертвый покой,
Я помню: ранние годы,
Раннее слово «голубой»...

И вот, — ничего не надо.
Поет, поет тоска,
И дорога вьется из ада
Через пыльные облака.

А рекам уж нет истока
И воздух — тяжкий свинец.
Я стою у высоких окон
И знаю: это конец.

Под глухой, подавленный гул
Был сон покоен и долог.
Но кто-то лодку толкнул
И отдернул тяжелый полог.

И, удивленный, теперь я плыву,
В тишине по звездам гадаю,
И камни, и лес, и траву,
И небо, и снег вспоминаю.

Как знать? Печальный ли плен
Найду в грядущем тумане,
Или чудная лодка станет
У золотых Вавилонских стен?

Так, удивленный, плыву и гадаю,
И птичий слежу полет,
На звезды смотрю, — и не знаю,
Куда же лодка плывет?

Сухую позолоту клена
Октябрь по улицам несет,
Уж вечерами на балконах
Над картами не слышен счет,

Но граммофон поет! И трубы
Завинчены, и круг скрипит,
У попадьи ли ноют зубы
Иль околоточный грустит.

Вертись, вертись! Очарованьям
И призракам пощады нет.
И верен божеским сказаньям
Аяксов клоунский дуэт.

Но люди странны, — им не больно
Былые муки вспоминать
И хриплой музыки довольно,
Чтоб задыхаться и рыдать.

Был век... Иль, правда, вы забыли,
Как, услыхав ночной гудок,
Троянские суда отплыли
С добычей дивной на восток,

Как, покидая дом и стены,
И голубой архипелаг,
На корабле кляла Елена
Тяжелой верности очаг.

Стоцветными крутыми кораблями
Уж не плывут по небу облака,
И берега занесены песками,
И высохла стеклянная река.

Но в тишине еще синеют звезды
И вянут затонувшие венки,
Да у шатра разрушенного мерзнут
Горбатые, седые старики.

И сиринам, уж безголосым, снится,
Что из шатра, в шелках и жемчугах,
С пленительной улыбкой на устах
Выходит Шемаханская царица.

ЛЕТОМ

Опять брожу. Поля и травы,
Пустой и обгорелый лес,
Потоки раскаленной лавы
Текут с чернеющих небес.

Я ненавижу тьму глухую
Томительных июльских дней,
О дальней родине своей,
Как пленник связанный, тоскуя.

Пусть камни старой мостовой
Занесены горячей пылью,
И солнце огненные крылья
Высоко держит над Невой,

Но северная ночь заплачет,
Весь город окружит кольцом,
И Всадник со скалы поскачет
За сумасшедшим беглецом...

Тогда на миг, у вечной цели,
Так близко зеленеет дно,
И песни сонные в окно
Несут ленивые свирели.

ЗИГФРИД

Я не знаю, я все забыл.
Что тревожишь ты темным словом?
Я напиток душистый пил
На закате, в лесу сосновом.

Только видел — друга лицо
Искривилось радостью жгучей,
Да на сосны тяжелым кольцом,
Будто сонные, падали тучи...

Не зови, не смотри на меня!
Я тебя не люблю и не знаю, —
Только синее море огня
Как покинутый рай вспоминаю.

Выходи, царица, из шатра,
Вспомним молодые вечера.

Все здесь то же — ветер, города,
Да в реке глубокая вода,

То же небо на семи столбах,
Все в персидских, бархатных звездах.

И на дереве колдун сидит,
Крылья опустил и не кричит.

Скучно золотому петушку
В тишине качаться на суку,

Позднего прохожего поймать,
Хитрую загадку загадать.

И ведь, знаешь, холодно ему
Колдовать в полуночную тьму!

Все равно, что черное лицо,
Что давно заржавело кольцо,

Что дрожит прекрасная рука,
А в руке не посох, а клюка.

Выходи, царица, из шатра,
Выходи, красавица, пора.

Опять, опять лишь реки дождевые
Польются по широкому стеклу,
Я под дождем бредущую Россию
Все тише и тревожнее люблю.

Как мало нас, что пятна эти знают,
Чахоточные на твоей щеке,
Что гордым посохом не называют
Костыль в уже слабеющей руке.

ЭЛЕГИИ

I

Бегут, как волны, быстрые года,
Несут, как волны, серебро и пену.
Но я Вам обещаю — никогда
Вы не увидите моей измены.

Ведь надо мною, проясняя муть,
Уже сияет западное пламя,
Ведь мой печальный и короткий путь
Цветет уже осенними цветами.

И я хочу до рокового дня
Забыть утехи юности мятежной,
Лишь Ваши ласки в памяти храня
И образ Ваш, торжественный и нежный.

II

Когда с улыбкой собеседник
Мне в кубок льет веселое вино, —
То кубок, может быть, последний,
И странный пир продлить не суждено.

Послушай, — радостное пенье
Уже глушат рыданья панихид,
И каждый день несет паденье,
И каждый миг нам гибелью грозит.

Так, на распутьи бедных дней,
Я забываю годы, годы скуки,
Все безнадежней и нежней
Целуя холодеющие руки.

Вот все, что помню: мосты и камни,
Улыбка наглая у фонаря...
И здесь забитые кем-то ставни.
Дожди, безмолвие и заря.

Брожу... Что будет со мной, не знаю,
Но мысли, — но мысли только одни.
Кукушка, грустно на ветке качаясь,
Считает гостю редкому дни.

И дни бессчетны. Пятнадцать, сорок,
Иль бесконечность? Все равно.
Не птице серой понять, как скоро
Ветхий корабль идет на дно.

Вот жизнь, — пелена снеговая,
И ночи, и здесь тишина, —
Спустилась, лежит и не тает,
Меня сторожит у окна.

Вот, будто засыпано снегом,
Что кроет и кроет поля,
Рязанское белое небо
Висит над стенами кремля.

И тонко поют колокольни,
И мерно читают псалмы,
О мире убогом и дольнем,
О князе печали и тьмы.

Ах, это ли жизнь молодая!
Скорей бы лошадку стегнуть,
Из тихого, снежного края
В далекий отправиться путь.

Стучат над мостами вагоны,
Стучит и поет паровоз...
Так больно и грустно влюбленных,
Тяжелый, ты часто ли вез?

Есть стрелы, которыми ранен
Смертельно и радостно я,
Есть город, уснувший в тумане,
Где жизнь оборвалась моя.

Над серой и шумной рекою
Мы встретимся, — я улыбнусь,
Вздохну, — и к снегам, и к покою
В пречистую пустынь вернусь.

И жизнь свою, и ветры рая,
И тонущий на взморье лед, —
Нет, ничего не вспоминаю,
Ничто к возврату не зовет.

Мне ль не понять и не поверить,
Что все изменит, — и тогда
Войдет в разломанные двери,
С бесстыдным хохотом, беда?

Бывает, в сумраке вечернем
Все тонет... Я лежу во сне.
Лишь стук шагов, далекий, верный
Слышнее в страшной тишине.

И сердце, не довольно ль боли,
О камни бьющейся любви?
Ты видишь, — небо, сабли, поле,
И губы тонкие в крови,

Ты видишь, — в путь сбираясь длинный,
Туда, к равнинам из равнин,
Качается в дали пустынной
Алмазно-белый балдахин.

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Вот, под окном идут солдаты
И глухо барабаны бьют.
Смотрю и слушаю... Когда-то
Мне утешенье принесут?

Окно раскрыто, полночь скоро,
А там — ни тьмы, ни ветерка,
Там — Новгород, престольный город,
И Волхов, синяя река.

Письма не будет... Знаю, знаю.
Писать ведь письма не легко!
Зачем гармоника играет
Так поздно и недалеко?

Последний нонешний денечек,
Последние часы мои...
Все ближе смерть. И все короче
Томительные к ней пути.

Мы так устали от слов и дела,
И, правда, остался только страх...
Вспорхнула птица и улетела,
Что же, — лови ее в облаках!

Первые дни и первые встречи
Оставили только след золотой...
Я помню, был блаженный вечер,
Иду, — а домик давно пустой.

Лишь солнце плывет над грустным миром,
Где забыть, — забыть ничего нельзя,
Этих грязных ночей в хулиганских трактирах,
Где кто-нибудь вдруг среди песен и пира
Встает: «Здравствуй, смерть моя!»

Летят и дни, и тревоги...
Все ниже головы склоненные.
Заносит ласковым снегом
Ветер улицы пустынные.

А кто придет, кто остановится,
Заглянет в окошко разрисованное,
Кто, к стеклу прильнув, подивится
На ясные складки савана?

Георгию Иванову

Но, правда, жить и помнить скучно!
И падающие года,
Как дождик, серый и беззвучный,
Не очаруют никогда.

Летит стрела... Огни, любови,
Глухие отплески весла,
Вот, — ручеек холодной крови,
И раненая умерла.

Так. Близок час, — и свет прощальный
Прольет вечерняя заря.
И к «берегам отчизны дальней»
Мой челн отпустят якоря.

Вышел я на гору высокую,
Вышел, — глянул в бездну глубокую
И гляжу.

Тишина, о ширь голубая,
Трудно я из дальнего края
К тебе прихожу.

Но любовь! Любовь обманула,
Это молния взвилась, блеснула, —
Где она?

Помню, люди — в норах, что мыши,
И над бедной железной крышей
Стоит луна.

Все прошло... И я теряю,
Все, что видел, и все, что знаю,
Мать моя!

Мать моя, нежная пустыня,
Высоким своим покровом синим
Покрой меня!

ИЗ СБОРНИКА «ЧИСТИЛИЩЕ» (1922)

Звенели, пели. Грязное сукно,
И свечи тают. «Ваша тройка бита.
Позвольте красненькую. За напиток
Не беспокойтесь». И опять вино,

И снова звон. Ложится синий дым.
Все тонет — золото, окно и люди,
И белый снег. По улицам ночным
Пойдем, мой друг, и этот дом забудем.

И мы выходим. Только я один,
И ветер воет, пароходы вторят.
Нет, я не Байрон, и не арлекин,
Что делать мне с тобою, сердце-море?

Пойдем, пойдем... Ни денег, ни вина.
Ты видишь небо, и метель, и трубы?
Ты Музу видишь, и уже она
Оледеневшие целует губы.

1916

ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ

Звенит гармоника. Летят качели.
«Не шей мне, матерь, красный сарафан».
Я не хочу вина. И так я пьян.
Я песню слушаю под тенью ели.

Я вижу город в голубой купели,
Там белый Кремль — замоскворецкий стан,
Дым, колокольни, стены, царь-Иван,
Да розы и чахотка на панели.

Мне грустно, друг. Поговори со мной.
В твоей России холодно весной,
Твоя лазурь стирается и вянет.

Лежит Москва. И смертная печаль
Здесь семечки лущит, да песню тянет,
И плечи кутает в цветную шаль.

1917

Тогда от Балтийского моря
Мы медленно отступали
По размытым полям... Звезды
Еще высоко горели,
Еще мы победы ждали
Над императором немецким,
И холодный сентябрьский ветер
Звенел в телеграфных нитях
И глухо под тополями
Еще шелестел листвою.
Ночь. Зеленые ракеты
То взлетали, то гасли в небе,
Лай надтреснутый доносился
Из-за лагеря, и под скатом
Робко вспыхивала спичка.
Тогда — еще и доныне
Мне виден луч синеватый, —
Из мглы, по рядам пробираясь,
Между смолкнувших пулеметов,
Меж еще веселых солдат,
Сытых, да вспоминающих
Петербургские кабаки,
Пришла, не знаю откуда,
Царица неба — Венера,
Не полярным снегом одета,
Не пеной Архипелага,
Пришла и прозрачною тенью
У белой березы стала.

Точно сон глубокий спустился
Покровом звездным. Полусловом
Речь оборвалась, тяжелея
Руки застыли... Лишь далекий
Звон долетел и замер. Тихо
Я спросил: «Царица,
Ты зачем посетила лагерь?»
Но безмолвно она глядела
За холм, и мне показалось,
Что вестницы смерти смотрят
Так на воинов обреченных,
И что так же она смотрела
На южное, тесное поле,
Когда грудь земли пылала
Златокованными щитами,
Гул гортанного рева несся,
Паруса кораблей взлетали,
И вдали голубое море
У подножия Трои билось.

1919

О мертвом царевиче Дмитрии
И о матери его, о стрельцами
Зарезанных в Кремле, быть может,
О разбойнике, на большой дороге
Убитом в драке, о солдате,
Забытом в поле, и даже
О тех, кто ветреной ночью
Цеплялись за мерзлые канаты
Тонущей «Лузитании»
И, уже онемев, смотрели
На темное, жадное море,
Каждое утро и каждый вечер,
И ночью, привстав на кровати,
Кто-нибудь умоляет Бога
Прощение дать и блаженство.

Помяни же и человека,
Который в Угличе не был,
Убийц не просил о пощаде
И плеска Марны не слышал,
И льдистых громад не видел,
Но уже семнадцатой ночью,
Не дыша и не двигаясь, в доме,
Занесенном до крыши снегом,
Смотрит на тихий месяц
И пересохшими губами
Повторяет имя Александра.

1920

О, жизнь моя! Не надо суеты,
Не надо жалоб, — это все пустое.
Покой нисходит в мир, — ищи и ты покоя

Мне хочется, чтоб снег тяжелый лег,
Тянулся небосвод прозрачно-синий,
И чтоб я жил, и чувствовать бы мог
На сердце лед и на деревьях иней.

1920

Когда, в предсмертной нежности слабея,
Как стон плывущей головы,
Умолкнет голос бедного Орфея
На голубых волнах Невы,

Когда, открывшись италийским далям,
Все небо станет голубеть,
И девять Муз под траурным вуалем
Придут на набережной петь,

Там, за рекой, пройдя свою дорогу
И робко стоя у ворот,
Там, на суде, — что я отвечу Богу,
Когда настанет мой черед?

1919

По темно-голубому небу мчались
Крутые облака. Дул ветер южный,
Клубя густую пыль. На тротуарах
Теснились люди. Темными рядами,
Сверкая сталью, конные войска
Тянулись неподвижно. Крик нестройный
Рожком летящего автомобиля
Прорезывался изредка. Разносчик
Толкался, предлагая апельсины
И грязные орехи. Вдруг пронесся
По улице широкой и пустой
Карьером офицер какой-то, шарфом
Как бы давая знак, и тишина
Сменила сразу гул и общий говор,
И долго слышался лишь стук короткий
Копыт о гладкие торцы. Потом
Опять все смолкло, даже облака
Как бы застыли в небе. Я спросил
У старика, который под стеною
Стоял не шевелясь, зачем собралось
Все это множество людей. С усильем
Остановил на мне он тусклый взгляд
И прошептал чуть слышно: «Император»
И стал я ждать. Часы тянулись, или
Минуты лишь, — не помню я... Никто
Тогда уж не был в силах помнить время.
И вдруг протяжно, будто бы на дне
Огромной пропасти, запели трубы,
И медь литавров дрогнула, и белый

Дымок взвился до неба, и знамена
Под звон победоносной Марсельезы
Поникли до земли, как золотые
Лохмотья славы... И невдалеке
Увидел человека я. Под ним
Ступал неторопливо белый конь,
И, отступя шагов на двадцать, шла
В тяжелых, кованых мундирах горсть
Каких-то пышных всадников. Но он
Был в сером сюртуке и треугольной
Потертой шляпе... О, и твердь, и воды,
И ротозеи, и солдаты, — все
Преобразились вмиг, и миллионы
Расширенных, горящих, жадных глаз
Его черты ловили. Сжав поводья,
Он ехал, и, казалось, тяжесть сна
Еще не мог он сбросить, и не мог
Пошевелить рукой... Сто лет, сто дней
Как бы туман стояли. Перед ним
Арколь дымился где-то, иль Париж
Кровавый буйствовал, иль в нашем солнце
Узнать хотел он солнце Аустерлица,
Иль слышался ему унылый гул
И плеск ленивых волн у скал Елены,
Не знаю я, но безразличный взгляд
Не замечал, казалось мне, ни зданий,
Ни памятников, ни полков, ни даже
Трехцветных флагов... Ширясь и растя,
Как у архангелов, гремели трубы
О славе мира, лошадь тяжело
И медленно ступала, и не смел
Никто ни двинуться, ни молвить слова.

6 Зак. 3423

Когда ж за красной аркой Император
Скрываться стал, и, точно обезумев,
За ним толпою побежали люди,
Сбивая и давя друг друга, — я
За тенью исчезающей его
Лишь в силах был следить, и мне подобных
Немало было... Помню, вечерело,
И был неярко озарен весь город
Бледнозеленым заревом заката,
Сиявшим за Адмиралтейством.

1916

За миллионы долгих лет
Нам не утешиться... И наш корабль, быть может,
Плывя меж ледяных планет,
Причалит к берегу, где трудный век был прожит.

Нам зов послышится с кормы:
«Здесь ад был некогда, — он вам казался раем».
И силясь улыбнуться, мы
Мечеть лазурную и Летний сад узнаем.

Помедли же! О, как дышать
Легко у взморья нам и у поникшей суши!
Но дрогнет парус, — и опять
Поднимутся хранить воспоминанья души.

1918

ВАГНЕР

I

Падает снег, звенят телефоны,
Белое небо глядит в окно,
Небо, — совсем полотно
Над крышей, трубой, ржавой, зеленой.

Есть только смерть, — ни любви, ни веры.
Что мне с ними делать теперь?
Придет, постучится в дверь,
Тихо качнет муфтой серой.

Смотри — суббота. Конец в воскресенье.
Белое небо бьет в окно,
Ко мне прильнуло оно.
Надежда? Надежда? Покой? Спасенье?

Нет спасения, нет покоя,
Изольда, я тебя любил,
Изольда, я все забыл,
Останься, побудь со мною.

Останься, побудь! Дьячки, поклоны,
Не страшно, — розы к ногам,
А там, — дальше и там
Календарь, снег, телефоны.

1916

Опять гитара. Иль не суждено
Расстаться нам с унылою подругой?
Как белым полотенцем бьет в окно
Рассвет, — предутренней и сонной вьюгой.

Я слушаю... Бывает в мире боль,
Бывает утро, Петербург и пенье,
И все я слушаю... Не оттого ль
Еще бывает головокруженье?

О, лошадей ретивых не гони,
Ямщик! Мы здесь совсем одни.
По снегу белому куда ж спешить?
По свету белому кого любить?

1917

Еще и жаворонков хор
Не реял в воздухе, луга не зеленели,
Как поступь девяти сестер
Послышалась, нежней пастушеской свирели.

Но холодно у нас. И снег
Лежит. И корабли на реках стынут с грузом.
Под вербой талою ночлег
У бедного костра едва нашелся Музам.

И, переночевав, ушли
Они в прозрачные и нежные долины,
Туда, на синий край земли,
В свои «фиалками венчанные» Афины.

Быть может, это — бред... Но мне
Далекая весна мечтается порою,
И трижды видел я во сне
У северных берез задумчивую Хлою.

И, может быть, мой слабый стих
Лишь оттого всегда поет о славе мира,
Что дребезжит в руках моих
Хоть и с одной струной, но греческая лира.

1921

На окраине райской рощи
У зеленоструйной воды
Умоляет Ороль Беляра:
«О, любимый, не улетай!»

Отвечает Беляр Оролю:
«Жди меня у реки Тале.
У людей я три дня пробуду
И в четвертую ночь вернусь».

Безутешен Ороль. «Навеки
Я с тобою!» — сказал Беляр,
И пылающими губами
Он Ороля поцеловал.

Через синие океаны
Метеором летел Беляр
И на землю вышел в цилиндре,
В лакированных башмаках.

Был до вечера он в Париже,
И в огромном цирке ему
Улыбнулась из ложи дама
С черным страусовым пером.

Через час он теплые плечи,
Медом пахнущие, сжимал
И, задыхаясь от блаженства,
Еле слышно сказал: «Ороль!»

Ночь редела... Два дня до срока.
На рассвете летел Беляр
Через синие океаны
Метеором в далекий рай.

Тридцать ангелов в темных ризах
Над рекою Тале стоят.
«Где Ороль?» — их, изнемогая,
Тихо спрашивает Беляр.

Но окованы страхом хоры.
Лишь один архангел мечом
На полупрозрачное тело
Бездыханное указал.

«Небывалое совершилось.
Здесь Ороль», — отвечает он.
«Но душа его отлетела
Даже Бог не знает куда».

1921

Тридцатые годы, и тени в Версали,
И белая ночь, и Нева,
И слезы о непережитой печали,
И об утешеньи слова,

Ну, что ж, — сочинять человеку не трудно,
Искусство покорно ему,
Но как это жалко, и как это скудно,
И как не нужно никому!

И я говорю: — не довольно ль об этом?
Что дальше — закрыто от всех,
Но знаю одно, — притвориться поэтом
Есть смертью караемый грех.

Поэт — не мечтатель. И тем безнадежней,
И горестней слов ищет он,
Чтоб хоть исказить свой торжественно-нежный
И незабываемый сон.

1921

Печально-желтая луна. Рассвет
Чуть брезжит над дымящейся рекою,
И тело мертвое лежит... О, бред!
К чему так долго ты владеешь мною?

Туман. Дубы. Германские леса.
Печально-желтая луна над ними.
У женщины безмолвной волоса
Распущены... Но трудно вспомнить имя.

Гудруна, ты ли это?.. О, не плачь
Над трупом распростертого героя!
Он крепко спит... И лишь его палач
Нигде на свете не найдет покоя.

За доблесть поднялась его рука,
Но не боится доблести измена,
И вот лежит он... Эти облака
Летят и рвутся, как морская пена.

И лес, и море, и твоя любовь,
И Рейн дымящийся, — все умирает,
Но в памяти моей, Гудруна, вновь
Их для чего-то время воскрешает.

Как мглисто здесь, какая тишина,
И двое нас... Не надо утешенья!
Есть только ночь. Есть желтая луна,
И только Славы и Добра крушенье.

1921

Там вождь непобедимый и жестокий
Остановился огненной стеной...
Стоит туман. Стоит звезда на востоке.
О, Русь, Русь, — далеко она за горой.

Ты на землю лег, сказал: «Надо молиться!
Мой первый бой сегодня». И сквозь туман
Не поднялась над лесом черная птица,
Под облака метнулся аэроплан.

«Тише, тише! Вы видите, солнце село,
Теперь уж скоро нам придут помочь.
Милостив Бог!» И только река шумела,
Да пашню и лес душила темная ночь.

Когда ж стемнело совсем, совсем, и ангел,
И ангел — мы видели! — нас закрыл рукой,
Маккензен вдруг двинул с холма фаланги
Прямо на лагерь, заснувший над рекой.

Огонь, огонь! Я верно в сердце ранен,
А ты вскочил на белого коня
И вдруг качнулся тихо... Ваня, Ваня,
Ты видишь еще, ты слышишь еще меня?

Боже мой, Боже, за что ты нас оставил,
За что ты нас так страшно покарал?
Не видно труб и крестов пустой. Варшавы,
Далеко до полуночи, далеко до утра,

И уж рушится все... Лишь вокруг,
по склонам и долам,
По траве, по реке, по зеленым речным берегам
Поднимаются к небу стоять
перед райским престолом
Тени людей, отстоявших земным царям.

1916

РОСМЕРСГОЛЬМ

Темнеют окна. Уголь почернел.
Не в страсти жизнь, а в истинной свободе.
По кабинету от стены к стене
Лунатики, ломая руки, бродят.

Кипит неутолимый водопад,
И мостик еле видный перекинут,
Чтоб те, кто в доме стонут и горят,
Упали в серебристую стремнину.

Любовь, любовь... Слабеет голова,
Все о политике бормочут люди,
Все повторяют грубые слова,
Что в этом доме радости не будет,

А в этом доме будет тишина,
Как над пустыми фьордами бывает,
Когда огромным фонарем луна
Полярных птиц и море озаряет.

1916

Холодно. Низкие кручи
Полуокутал туман.
Тянутся белые тучи
Из-за безмолвных полян.

Тихо. Пустая телега
Изредка продребезжит.
Полное близкого снега
Небо недвижно висит.

Господи! И умирая,
Через полвека, едва ль
Этого мертвого края
Я позабуду печаль.

1920

ВАГНЕР

II

Туман, туман... Пастух поет устало
Исландский брег. И много лебедей.
«Где ты теперь? Белей, корабль, белей!
Придешь ли ты ко мне, как обещала?»

Так, медленно, Надежда умирала,
И тенью Верность реяла над ней,
Еще цепляясь за гряды камней
И бархат горестный немого зала.

Так, в медной буре потрясенных труб
Еще о нежности звенели струны,
И бред летел с похолодевших губ,

И на скале, измученный и юный,
Изнемогая от любви и ран,
Невесту, как виденье, ждал Тристан.

1918

Я влюблен, я очарован.
Пушкин

Проходит жизнь. И тишина пройдет,
И грусть, и по ночам тревога,
Но, задыхаясь, нежность добредет
Без сил до смертного порога...

Так он не вскрикнул и не поднял глаз,
Веселого не молвил слова,
Когда комета встала в первый раз
В шелку багровом — Гончарова.

Но рокот арф, ночь, и огни, и бал, —
Все говорило: нет спасенья.
И понял он, и мне он завещал
Тот блеск кровавый и мученье.

Гуляй по безбрежной пустыне
Под нежные трубы зари,
Пей воздух соленый и синий,
На синие волны смотри.

Пусть остров и радуга снится,
А если наскучили сны,
Не девушка, нет — Царь-девица
Придет из хрустальной страны.

Но это не жизнь. И когда же
Над бледно-неверной волной
Ты парус опустишь и скажешь
«Довольно. Пора и домой»?

1916

Качается фонарь. Белеет книга.
По вышитым подушкам бледный свет,
И томный вздох: «Ах, как люблю я Грига,
Ах, как приятен этот менуэт».

Но белым клавишам роняя думы,
Любовь свою и домыслы свои,
Ты слышишь ли, каким унылым шумом
Они, желанные, заглушены?

1918

ПО МАРСОВУ ПОЛЮ

Сияла ночь. Не будем вспоминать
Звезды, любви, — всего, что прежде было.
Пылали дымные костры, и гладь
Пустого поля искрилась и стыла.

Сияла ночь. Налево над рекой
Остановился мост ракетой белой.
О чем нам говорить? Пойдем со мной,
По рюмке коньяку, да и за дело.

Сияла ночь. А может быть, и день,
И, может быть, февраль был лучше мая,
И заметенная, в снегу, сирень,
Быть может, шелестела, расцветая,

Но было холодно. И лик луны
Насмешливо смотрел и хмурил брови.
«Я вас любил... И как я ждал весны,
И роз, и утешений, и любови!»

Ночь холодней и тише при луне.
«Я вас любил. Любовь еще, быть может...»
— Несчастный друг! Поверьте мне,
Вам только пистолет поможет.

1918

В. Ф<утлину>

I

О, сердце, не бейся, не пой,
Опять эти ночи со мной,
И снова в пустое окно
Смотрю я, — и мне все равно.

Я помню: костры, облака,
И вдруг под мехами рука
Чуть тронула руку мою
(Как милостыню подают)

И только... И долгих три дня
В испуганной памяти я
Не счастье свое берегу,
А снег и костры на снегу.

II

Все понимаю, все — одно сиянье,
Снег, облака, костров тяжелый свет,
И дым на улицах. Что состраданье!
Но и тебе, мой друг, прощенья нет.

За тихий смех «я завтра уезжаю»,
И уезжай! — дорога-то легка —
За утешения, за то, что знаю,
Как нищая душа твоя жалка.

III

Четвертый раз над этой жизнью
(Как солнце, утром в ноябре)
Сияет свет, и дни проходят,
Чуть озаренные огнем.

Не страшно и совсем не больно
Смотреть в холодные глаза
И говорить: «Люблю навеки»,
И равнодушно забывать.

Но, правда, вечерами страшно,
Когда останешься один,
Считать года и сердце слушать,
Как тихо старится оно.

1917

За стенами летят, ревут моторы,
Ложится снег и фонари горят.
И хочется домой. Но, верно, скоро
Погаснет свет и люди замолчат.

В полупустом театре, чуть белея,
У дымно-белых, как луна, ворот
Стоит прозрачной тенью Саломея
И с отвращеньем голову берет.

И ей, в снегу холодном и в разлуке
С халдейским небом, с голубой звездой,
Что радости ей наши, или муки,
Иль сноба лондонского сон тупой?

1918

Еще, еще немного краски синей
Над ветками, где стонет соловей
Фарфоровый, и в облаках пришей
Луну печальную на парусине.

Повеял ветер, и деревья гнутся,
И никнут лилии, снегов белей...
Ты кончил ли? Так позови людей,
Пусть очаруются, пусть улыбнутся!

1916

1801

— Вы знаете, — это измена!
Они обманули народ.
Сказал бы, да слушают стены,
Того и гляди донесет.

Ах, нет! Эти шумные флаги,
Вы слышите, этот набат
Широкий... Гвардейцев к присяге
Уже повели, говорят.

Ведь это не тучи, а клочья
Над освобожденной Невой...
Царь Павел преставился ночью,
Мне все рассказал часовой.

Был весел, изволил откушать,
С царицей шутил, — через час
Его незлобивую душу
Архангелы взяли от нас.

Вы знаете, эти улики
Пугают, — до самого дня
Рыдания слышались, крики
В окне голоса, беготня...

Россия! Что будет с Россией!
Как страшно нам жить, как темно!
— Молчите. Мгновенья такие
И вспомнить другим не дано.

1916

Жизнь! Что мне надо от тебя, — не знаю.
Остыла грусть, младенчества удел.
Но так скучать, как я теперь скучаю,
Бог милосердный людям не велел.

И если где-нибудь живет и дышит
Тот, кто навек назначен мне судьбой,
Что ж не приходит он ко мне, не слышит
Еще не ослабевший голос мой?

Лишь два огромных, черных, тусклых глаза
И два огромных, траурных крыла
Тень бросили от синих гор Кавказа
На жизнь мою и на мои дела.

1920

Едва расслышу я два-три последних слова,
Едва взгляну на бледный лоб,
И все, и навсегда, недвижно и сурово
Под пеленою скроет гроб.

И страшен оттого мне каждый час разлуки,
И грустно день за днем встречать,
И руки тянутся, беспомощные руки,
Блаженство наше удержать.

1921

«Еще, еще минуточку,
Повремени, палач!»
Поймали в сети уточку,
Не вырвешься, — хоть плачь.

Шумит толпа веселая,
Сияют небеса.
Стальная и тяжелая
Над головой коса.

Три быстрых взмаха молота,
Минута... Отче наш!
Что счастье, слава! Золото, —
И купишь, и продашь.

Но за пустой околицей,
На чердаке, в глуши,
Чиновник пьяный молится
За упокой души,

Семи царей возлюбленной, —
Не помогли цари! —
Семью грехами сгубленной
Графини Дюбарри.

1918

ПЕСНЯ

Ах, весна, ах, прекрасное лето,
Ах, сияние светлого дня!
Друга милого в городе нету,
Он надолго покинул меня.

Целовальник божится в трактире,
Что, кого не помиловал суд,
Поселяют в далекой Сибири
Или даже в Манчжурью везут.

Оттого-то я слышу ночами,
Льют железо, ломают гранит,
Вижу, друг мой с моими врагами
В арестантском халате стоит.

Постаревший в неволе и в муке,
Похудевший от дыма и мглы,
Поднимает он белые руки,
А на белых руках кандалы.

Ах, сестра, золотая гитара,
Что нам делать с тобой, — прозвени!
У окна, да над шумным бульваром,
Да в такие-то ясные дни?

1916

Им счастие даже не снится,
И их обмануло оно.
Есть в мире лишь скука. Глядится
Скучающий месяц в окно.

Пьют чай, разбирают газеты,
Под долгие жалобы вьюг,
И думают, думают: «Где ты,
Теперь, мой забывчивый друг?»

1919

БОЛЕЗНЬ

В столовой бьют часы. И пахнет камфарой,
И к утру у висков еще яснее зелень.
Как странно вспоминать, что прошлою весной
Дымился свежий лес и вальдшнепы летели.

Как глухо бьют часы. Пора нагреть вино
И поднести к губам дрожащий край стакана.
А разлучиться всем на свете суждено,
И всем ведь кажется, что беспощадно рано.

Уже не плакала и не звала она,
И только в тишине задумчиво глядела
На утренний туман, и в кресле у окна
Такое серое и гибнущее тело.

1916

Как дымный парус, жизнь моя
Уходит, и туман редеет.
Уже над морем вечереет,
А нет навстречу корабля.

Уже над морем тишина,
И солнце тихо потонуло.
Чернеют в сумраке акулы
Вокруг разбитого судна.

Что жадным ветер обещает?
Иль слушают теперь они,
Как синий берег и огни
Матрос в бреду припоминает?

1916

— Поскучай, дружок, поскучай, —
Где же вольные твои небеса?
Вот у нас сапфиры, парча,
Кинематограф и бега.

— Я давно ничего не ищу,
И давно ничего не люблю,
И зачем напомнил мне ты
Про былые мечты мои?

Не хочу любви и вина,
Незнакомок, чахлых озер,
Потому что все — суета,
Все будет один костер.

Ты останься со мною, грусть,
И белая Венера-звезда,
А людей не хочу... Пусть
И они забудут меня.

1916

Тихо, мирно мы теперь живем
И не ссоримся. Сидим за чаем.
Утром соловей поет, потом
Граммофон. И все-таки скучаем.

— Это поле — помнишь? — Ватерло?
Эти крики — слышишь? — Брабансона...
Господи! как тихо, как тепло,
Как здесь душно, в этой клетке темной...

После ночь. И лучше помолчать,
Правда, лучше. И ведь надо силы,
Чтоб завтра новый день начать,
Утомительный такой и милый.

1918

7 Зак 3423

Девятый век у северской земли
Стоит печаль о мире и свободе,
И лебеди не плещут. И вдали
Княгиня безутешная не бродит.

О Днепр, о солнце, кто вас позовет
По вечеру кукушкою печальной,
Теперь, когда голубоватый лед
Все затянул, и рог не слышен дальный,

И только ветер над зубцами стен
Взметает снег и стонет на просторе,
Как будто Игорь вспоминает плен
У синего, разбойничьего моря?

1916

Я думал: вся земля до края —
Цветы, моря, степная ширь.
Теперь я знаю: есть глухая
И тихая страна — Сибирь.

Я думал: жизнь — изнеможенье
Тревожно-радостных ночей,
Теперь я знаю: есть терпенье,
Есть окрик пьяных сторожей.

Над нами небо голубое,
Простые птицы, облака,
Так сердце учится покою
И учится труду рука.

Уже о прошлом не жалея,
Не помня, может, — я и ты
Глядим на пену Енисея
И сосен тонкие кресты.

1916

Проходил под лесами. Кирпич
Вдруг сорвался, будто играя...
Вот и кончено все... Спи!
Это лучшее, что бывает.

Каждый день проносят гроба, —
Что здесь было, что еще будет?
Точно ястреб степной судьба,
А добыча скудная — люди.

Но, забившись под крыши, вновь
И поют, и в шашки играют,
И зовут иногда, любовь,
Тебя. Потом умирают.

Спаси, Господи, люди твоя.
Царь наш милостивый и далекий,
Покажи им Твои поля,
С тишиною и солнцем легким.

1916

Не в книге прочесть и не в песнях узнать
Об этом, — Бог с ними со всеми, —
Но смуглые руки поцеловать
Настанет мне все-таки время.

И будет минута, когда я пойму
Нестройных судеб совершенство,
И жизни «Помедли», скажу, «потому
Что имя твое — блаженство».

1922

Нам в юности докучно постоянство,
И человек, не ведая забот,
За быстрый взгляд и легкое убранство
Любовь свою со смехом отдает.

Так на заре веселой дружбы с Музой
Неверных рифм не избегает слух,
И безрассудно мы зовем обузой
Поэзии ее бессмертный дух.

Но сердцу зрелому родной и нежный
Опять сияет образ дней живых,
И точной рифмы отзвук неизбежный
Как бы навеки замыкает стих.

1921

Когда,
Забыв родной очаг и города,
Овеянные ветром южным,
Под покрывалом, ей уже не нужным,
Глядела на Приамовы стада
Рыжеволосая Елена,
И звонкоплещущая пена
Дробилась о смолистое весло,
И над волнами тяжело
Шел издалека гулкий рев: «Измена».
Где были мы тогда,
Где были
И я, и вы?
Увы.

Когда,
У берега Исландского вода
С угрюмым шумом билась,
И жалобная песня уносилась
От обнаженных скал туда,
Где медлила вечерняя звезда,
По глухоропщущим лесам и по льду,
Когда корабль на парусах белей,
Чем крылья корнуэльских лебедей,
Нес белокурую Изольду,
Где были мы тогда,
Где были
И я, и вы?
Увы.

1920

Устали мы. И я хочу покоя,
Как Лермонтов, — чтоб небо голубое

Тянулось надо мной, и дрозд бы пел,
Зеленый дуб склонялся и шумел.

Пустыня-жизнь. Живут и молят Бога,
И счастья ждут, — но есть еще дорога:

Ничто, мой друг, ничто вас не спасет
От темных и тяжелых невских вод.

Уж пролетает ветер под мостами
И жадно плещет гладкими волнами,

А вам-то, друг мой, вам не все ль равно,
Зеленый дуб или речное дно?

1917

Заходит наше солнце... Где века
Летящие, где голоса и дали?
Где декорации? Уж полиняли
Земные пастбища и облака.

И я меняюсь. Падает рука
Беспомощно, спокойны мысли стали,
Гляжу на эту жизнь, — и нет печали,
И чужд мне даже этот звук: тоска.

Но все ж я не подвластен разрушенью.
Порою мир одет прозрачной тенью,
И по ночам мне страшно иногда,

И иногда мне снится голубое
И плещущее море, и стада
У берега моей родимой Трои.

1919

ВОЛОГОДСКИЙ АНГЕЛ

I

Царь Христос, побудь с нами, Царь Христос,
ты нам помоги,
Не прожить нам в этом мире, одолели нас враги.
Солнце, солнце в вольном небе, как фонарь,
гори и пылай,
Озари по грехам и горю путь далекий
в небесный рай!
Что, Алеша, о чем ты просишь?
Лучше б в городе погулял.
Пелагея Львовна сына от уныния берегла.
Тихо рос он, один, играя с собачонкою у пруда,
Или серый замок из глины
с трехоконной башней лепил.
А теперь, не ребенок боле, —
восемнадцатый год пошел —
Как береза у опушки, все тянулся и молчал.
Иногда за огороды уходил и там, у реки,
На широком и теплом камне, будто мертвый,
в небо глядел.
Тихо стелются Божьи реки, воздух северный чист
и свеж,
Тихо облако в небе тает, точно ангельская душа.
Возвращался. Пылили овцы.
Уж над лесом стоит звезда.
«Что ты, рыбу ловил, что ли?»
У подгнившего плетня
Пелагея Львовна сидела и, скучая, сына ждала.
«Нет, я в поле был, мама», — отвечал он
и шел к себе,

И потом, сквозь щелку двери, до полуночи иногда
Было видимо мерцанье восковой дрожащей свечи.
«Что ж, молитва угодна Богу, только странно это мне,
В эти годы!» А Алеша, улыбаясь, слушал мать.
Ой, весна, ой, люди-братья, в небе серые облака,
Ой, заря над лесом, ветер —
все в темнице Господней мы!
Белый город Вологда наша, на окраине тишина,
Только стройный звон колокольный,
да чирикают воробьи.
Вьется речка, блестит на солнце,
а за речкой лес, холмы.
За холмами мир вольный, — но Алеша не знал о нем.
Знал пустое, — что соседка продала на базаре кур,
А уряднику на почте заказное письмо лежит.
Да и Пелагея Львовна не умнее сына была,
Не в гимназии училась — у Воздвиженской
попадьи.
Всякий люд идет дорогой, —
проезжают в тройках купцы,
И с котомками богомольцы, и солдаты на войну.
Из обители далекой к Троице-Сергию инок шел,
Попросил приюта в доме, отдохнуть и хлеба кусок.
В мае ночи коротки, белы, стихнет ветер, небо горит
И плывет звезда-Венера по сияющим морям.
Все о доле монастырской, о труде монах говорил,
А Алеша о мире думал и заснуть потом не мог.
Что за жизнь! Заря, сосны, золотые колокола.
Уходя, утешил инок Пелагею Львовну, сказал:
«Сын ваш чист и душой, и телом...
Тщитесь, матерь, его сберечь».
А она лишь улыбнулась —
«Знаю, славный мальчик он,

Неиспорченный он и скромный, —
только ведь не помощник мне!»
И не знала, не угадала
в материнском сердце своем,
Что врата грядущей печали ей захожий монах
открыл.

II

Был напротив через канаву
с голубыми ставнями дом,
Пустовал пять лет, а нынче и ему нашелся жилец.
Из Москвы Ильина —
купчиха наняла за пятьсот рублей,
И малиновый сад при доме, доходивший до реки.
Не понравилась купчиха в околотке никому,
Было гордости в ней много, не ответит и на поклон,
Говорят, из Москвы бежала от суда и славы плохой,
Мужа там зарезала, что ли, и любовников завела.
Непонятны дела на свете, начала теперь замечать
Пелагея Львовна, будто веселее Алеша стал.
Подойдет вдруг, поцелует, говорит,
что жить хорошо,
А однажды — и вспомнить дивно! —
«Очи черные» он запел,
И все чаще, и все дольше пропадал, гуляя в полях.
Раз обмолвилась о купчихе, а Алеша и покраснел,
И сказал: «Не надо, мама, осуждать».
И смутясь ушел.
С той поры Пелагея Львовна стала спрашивать
и следить,
Не беседует ли мальчик с Ильиною —
храни Господь! —
И куда он исчезает, где скитается по часам.

Вечер теплый был, ясный, пели жаворонки в полях,
Розовело над лесом небо, будто рая горнего брег.
Под забором, таясь в бурьяне и в сиреневых кустах,
Пелагея Львовна тихо подглядеть за сыном шла.
И увидела: Алеша у широких белых берез
Под холмом остановился, озираясь по сторонам.
Из глухого переулка, не скрываясь и не спеша,
Вышла женщина, — Алеша ей навстречу побежал,
А она его лениво потрепала по плечу,
За собою в лес темный по тропинке увела,
Шалью черною покрыта, и далеко, не разглядеть,
Но хмельную шалую поступь и движения белых рук
Пелагея Львовна знала. И с тревогой в сердце она
На закат и лес глядела,
будто райский огненный брег.
Уж во тьме пришел Алеша,
через кухню к себе прошел,
Даже матери доброй ночи перед сном не пожелал,
А она, сама не зная, как ей к делу приступить,
Фитилек вошла поправить у «Спасителя на водах»,
«Поздно, мама, ты легла бы!» Покачала головой
И на сына она взглянула —
«Ах, Алеша, не хороши
От родимой матери тайны. Ты, Алеша, это брось».
Рассердилась потом и долго —
уж совсем начало светать —
Слезы горькие утирала о сиротской доле своей.
А Алеша лежал. И молча он укоры слушал ее,
Только раз вздохнул: «Мама! Ты ее не осуждай».
Но когда, устав от жалоб, Пелагея Львовна ушла,
На крючок закрыл он двери в свою комнату, и там
Было слышно — помощи молит —
«Царь Христос, прости меня!

Царь Христос, меня помилуй
и что делать мне, научи».
И, подслушав слова такие, Пелагея Львовна совсем
Успокоенная заснула, — нет, Алеша добрый сын,
И ей снилось, что Алеша уже вырос, богатым стал
И на площади у собора зеленную лавку открыл.

III

Снова к вечеру посвежело,
снова мальчик гулять пошел
В поле. Может быть, и в рощу, —
только видела, что один.
Что же — лето на исходе, отчего не погулять,
Может также и знакомство благородное свести.
Очень поздно. Нет Алеши. Уж десятый час пробил.
И совсем стемнело. Странно, —
где теперь ему пропадать.
А у Ильиной напротив ставни сторож
давно закрыл,
Значит, дома озорница, верно, картами занята,
Подглядеть в окошко можно.
Пелагея Львовна пошла
Через дорогу, озираясь, чтоб никто не видел ее.
Залилась дворняжка,
звякнул под ногой осколок стекла,
Три окна широких были в сад малиновый отперты.
Под стеной, на красном диване,
низко голову опустив,
И лишь руки перебирая, не дыша Алеша сидел,
А по комнате, как тигрица, в черном платье
и кружевах,
Ильина ходила, будто и не глядя на него.

Сбились косы, на лоб нависли,
и румянец — майский цвет —
Разлился — наверно,
красок привезла она из Москвы.
«Право, вы совсем не мужчина».
Напевая, подошла
И к Алеше села, руку на плечо положила ему,
А рука бела, и кольца переливчатые горят.
«Завтра утром я уеду, — как хотите, или здесь
Оставайтесь до снегу, или...»
И склонилась вдруг к нему:
«Что же, любишь, любишь?»
Алеша — будто это и колдовство —
Улыбнулся, голову поднял и ответил тихо: «Люблю».
«Ну, так завтра, на рассвете...»
Но не стала таких речей
Пелагея Львовна слушать, убежала к себе домой,
И со злобой ждала Алешу, и заснула, не дождалась,
И сквозь дрему только помнит,
сын к ней в спальню ночью вошел,
Еле двигаясь, и руками, как юродивый, разводя.
«Что, Алеша?» А он не скоро,
будто и совсем в забытьи,
Подошел: «Но как же, мама, обещание мне забыть?»
Пелагея Львовна даже и ответить не собралась,
Лишь подумала:
«Надо будет завтра батюшку позвать»,
А потом опять заснула беспокойным сном она
И под утро слышала, будто кто-то бродит и поет
Песнопения, как бывает, пред отходом души поют,
И калитка скрипит, а может, это только снится ей,
Иль к соседу больную внучку
из Архангельска привезли.

Встала утром. Нет Алеши. Дверь на улицу отперта.
Рассердилась и с обедом не хотела подождать,
Но Алеша не вернулся, да и к ужину не пришел.
Лишь когда совсем стемнело, Пелагея Львовна вдруг
Поняла, что Ильиною обольщен был мальчик вчера
И с любовницей своею на машину убежал.
Сразу бросилась к купчихе,
чуть звонок не оторвала,
И на заспанную девку накричала. — И в ответ
Услыхала, что нет хозяйки, неизвестно ни где она,
Ни когда вернется, — верно, не вернется она совсем.
Тут и стало матери ясно, что Алеша ее обманул,
И на старости одинокой на весь город осрамил.
Дом со свечкою осмотрела, поискала и в саду
Пелагея Львовна, после и к друзьям она пошла.
«Нет, подумайте, родные, не ждала я такой беды».
Кто смеялся, а кто и плакал, но никто не мог сказать,
Убежала куда купчиха, — надо думать,
что в Москву,
А в Москве дьячков племянник
частным писарем состоит,
Может он найти Алешу, только город ведь большой,
И почтарь, а он ученый, рассудительный человек,
Говорит, американский пароход Алешу увез.
Хлопотала и сердилась Пелагея Львовна, но все
Время долгое умиряет, проскучала четыре дня,
А потом и догадалась, что Господь ее наказал
За грехи или за ропот, а Алеша вернется к ней,
И знакомые навещали, убеждали слез не лить,
А, постившись до Успенья, губернатору написать,
Утешенье — врач искусный, —
Пелагея Львовна опять
Прогуляться вышла в рощу за морошкою и в грибы.

IV

Вянет поле, трава желтеет,
солнце падает в облаках,
И на ветках у опушки переругиваются грачи.
Но в лесу темно, глухо, — только сучья захрустят
Под ногами, да лист мертвый, точно золото,
упадет.
Еще слышен звон протяжный, долетают и голоса.
А за вытоптанным оврагом
только сумрак и тишина.
Но грибов совсем немного, лишь опенки да грузди,
Что в них толку? Есть поляна,
за Кирилловским родником,
Там, куда ни оглянешься, все белеют боровики.
Путь далекий, но решила одинокая пойти.
Что сидеть в пустом доме, только грех один, тоска.
Ночь уж близится, над лесом разлилась,
как море, заря,
Но в лесу зари не видно, ветви черные переплелись.
Источает дух прохладный, под листвою
преет земля,
И покой нисходит в душу, и врачует ее... И вдруг
Так за пнями, за белой березой, или,
может быть, в облаках,
Голос легкий вскрикнул — Мама! —
и далекий оборвался.
И такая над темным лесом стала дивная тишина,
Что, казалось, земля томится
перед скорой смертью своей,
И ступить по листьям страшно,
страшно двинуться или вздохнуть.
Удивленно в даль глядела за пригнувшиеся кусты
Пелагея Львовна, будто сон внезапный ее сковал.

Но опять, опять и ближе, и знакомее, и родней
Голос тонкий вскрикнул — Мама! —
прозвенел, как бубенец.
Обмануться не может сердце, не узнать,
чей голос звенит.
«Травы, травы, птицы, деревья,
где же мой возлюбленный сын,
Вы зачем его таите и зачем он меня зовет?»
Свежий шелест прошел по лесу,
принагнулись цветы к земле.
«Подожди, — отвечают травы, —
скоро сына увидишь ты!»
Ночь спустилась, по лощинам зажурчали
ночные ключи,
Под ногами мох тонет, глухари на деревьях спят,
И качаются мерно, тихо, словно снится им ветерок.
Уж и голоса не слышно, не звенит он в тишине,
Только свет далекий мреет, как от белого фонаря.
«Травы, травы, земля, деревья,
где же мой единственный сын,
Вы зачем его схоронили, от меня увели зачем?»
Точно буря ветви рванула,
быстро выпрямились стебли.
«Радуйся, — отвечают травы, —
разве сына не видишь ты?»
За кустами, в облаке снега, как в сияющей пелене,
На груди скрестив руки, улыбаясь, Алеша стоял.
Поглядел на мать, после низко голову наклонил
И пошел вглубь леса над валежником и землей,
И она не удивилась, — это райский снится сон,
Не окликнула, не спросила, за сиянием побрела.
Только все догнать не может, «подожди,
сынок, меня»,

А он тихо, не отвечая, над зеленой мокрой землей,
Будто по морю на веслах,
между никлых трав плывет.
«Ты куда же, сын Алеша, ты зачем от меня идешь?»
Но уже не слышит Алеша, за деревья уходит он,
За деревья, на поляну, за студеные родники.
Посреди широкой поляны,
хмелем зреющим обвита,
Деревянная часовня у сквозной ограды стоит,
И перед ликами святыми
пятьдесят лампад зажжено.
За ограду прошел Алеша,
на дощатых ступеньках стал,
Обернулся, поклонился до сырой, зеленой земли,
Поклонился, руки поднял, к небу поднял глаза свои,
И на низкой колокольне зазвенели колокола.
Закачались дубы и сосны, тонкий по лесу льется звон,
На цветы, на густые травы пала свежая роса,
И звенят, зеленые клонят
пред Угодником стебельки,
А заслышав звон далекий, на осыпанный снегом свет
Из дремучей чащи звери подошли, лисица, волк,
И медведь косматый, ветви раздвигая, захрапел.

V

Мох набухший гниет и вянет,
рассветает в темном лесу,
На высоких дубах белки перескакивают по ветвям
Да проносятся шальные, дождевые облака.
Поднялась и не может вспомнить,
где же голос легкий, и звон,
И сияющая часовня? Только лес вокруг и туман,

Но за муравьиными пнями, под березой,
на мягком мху,
В лужу голову запрокинув, не дыша Алеша лежит
И в прозрачных цепких пальцах
деревянный держит крест.
Подбежала, наклонилась к сыну милому, а он,
Он и зубы уже оскалил, уж совсем окоченел.
Только под вечер вернулась
по размытым полям домой
Пелагея Львовна, долго не могла дороги найти.
Все соседям рассказала, и к протоиерею пошла,
Чтобы завтра у обедни он Алешу бы помянул.
Люди, слушая, сомневались и качали головой,
Нет в лесу ее Алексея, он разгуливает в Москве.
Но когда в горячий полдень на телеге,
на двух конях
Привезли худое тело к покривившемуся плетню,
Умилились сердца людские, слезы частые потекли,
Об Алеше, о мире бедном, утопающем во зле.
Лишь почтарь про свет и звоны даже слушать,
хитрый, не стал,
Все смеялся он — дудки! — а поверить не хотел.

1916

ИЗ СБОРНИКА «НА ЗАПАДЕ» (1939)

(У дремлющей парки в руках,
Где пряжи осталось так мало...)
Нет, разум еще не зачах,
Но сердце... но сердце устало.

Беспомощно хочет любить,
Бессмысленно хочет забыться...
(И длится тончайшая нить,
Которой не надо бы длиться.)

Навеки блаженство нам Бог обещает!
Навек, я с тобою! — несется в ответ.
Но гибнет надежда. И страсть умирает.
Ни Бога, ни счастья, ни вечности нет.

А есть облака на высоком просторе,
Пустынные скалы, сияющий лед,
И то без названья... ни скука, ни горе...
Что с нами до самого гроба дойдет.

1921

Рассвет и дождь. В саду густой туман,
Ненужные на окнах свечи,
Раскрытый и забытый чемодан.
Чуть вздрагивающие плечи.

Ни слова о себе, ни слова о былом.
Какие мелочи — все то, что с нами было!
Как грустно одиночество вдвоем...
— И солнце, наконец, косым лучом
Прядь серебристую позолотило.

Летит паровоз, клубится дым.
Под ним снег, небо над ним.

По сторонам — лишь сосны в ряд,
Одна за другой в снегу стоят.

В вагоне полутемно и тепло.
Запах эфира донесло.

Два слабых голоса, два лица.
Воспоминаньям нет конца!

«Милый, куда ты, в такую рань?»
Поезд останавливается. Любань.

«Ты ждал три года, остался час,
Она на вокзале и встретит нас».

Два слабых голоса, два лица.
Нет на свете надеждам конца...

Но вдруг на вздрагивающее полотно
Настежь дверь и настежь окно.

«Нет, не доеду я никуда,
Нет, я не увижу ее никогда!

О, как мне холодно! Прощай, прощай!
Надо мной вечный свет, надо мной вечный рай».

За все, что в нашем горестном быту,
То плача, то смеясь, мы пережили,
За все, что мы, как слабую мечту,
Не ожидая ничего, хранили,

Настанет искупление... И там,
Где будет кончен счет земным потерям —
Поймешь ли ты? — все объяснится нам,
Все, что мы любим и чему не верим.

Ложится на рассвете легкий снег.
И медленно редеют острова,
И холодеет небо... Но хочу
Теперь я говорить слова такие,
Чтоб нежностью наполнился весь мир,
И долго, долго эхом безутешным
Мои стихи носились бы... Хочу,
Чтоб через тысячи глухих веков,
Когда под крепким льдом уснет, быть может,
Наш опустелый край, в иной стране,
Иной влюбленный, тихо проходя,
Над розовым, огромным, теплым морем
И глядя на закат, вдруг повторил
Твое двусложное, простое имя,
Произнося его с трудом...
И сразу,
Бледнее неба, был бы он охвачен
Мучительным и непонятным счастьем,
И полной безнадежностью, и чувством
Бессмертия земной любви.

Чрез миллионы лет — о, хоть в эфирных волнах! —
Хоть раз — о, это все равно! —
Померкшие черты среди теней безмолвных
Узнать мне будет суждено.

И как мне хочется — о, хоть бессильной тенью! —
Без упоения и мук,
Хоть только бы прильнуть —
о, только к отраженью! —
Твоих давно истлевших рук.

И чтоб над всем, что здесь не понял ум беспечный,
Там разгорелся наконец
Огромный и простой, торжественный и вечный
Свет от слиянья двух сердец.

Куртку потертую с беличьим мехом
Как мне забыть?
Голос ленивый небесным ли эхом
Мне заглушить?

Ночью настойчиво бьется ненастье
В шаткую дверь,
Гасит свечу... Мое бедное счастье,
Где ты теперь?

Имя тебе непонятное дали.
Ты — забытье.
Или, точнее, цианистый калий —
Имя твое.

Еще переменится все в этой жизни, — о, да!
Еще успокоимся мы, о былом забывая.
Бывают минуты предчувствий. Не знаешь, когда.
На улице, дома, в гостях, на площадке трамвая.

Как будто какое-то солнце над нами встает,
Как будто над нами последнее облако тает,
И где-то за далью почти уж раскрытых ворот
Один только свет бесконечный и белый сияет.

Если дни мои милостью Бога
На земле могут быть продлены,
Мне прожить бы хотелось немного,
Хоть бы только до этой весны.

Я хочу написать завещанье.
Срок исполнился. Все свершено.
Прах — искусство. Есть только страданье,
И дается в награду оно.

От всего отрекаюсь. Ни звука
О другом не скажу я вовек.
Все постыло. Все мерзость и скука.
Нищ и темен душой человек.

И когда бы не это сиянье,
Как могли б не сойти мы с ума?
Брат мой, друг мой, не бойся страданья,
Как боялся всю жизнь его я...

На Монмартре, в сумерки, в отеле,
С первой встречною наедине,
Наспех, торопливо, — неужели
Знал ты все, что так знакомо мне?

Так же ль умирала, воскресала,
Улетала вдаль душа твоя?
Так же ль ей казалось мало
Бесконечности и бытия?

А потом, почти в изнеможеньи,
С отвращеньем глядя на кровать,
Так же ль ты хотел просить прощенья,
Говорить, смеяться, плакать, спать?

8 Зак. 3423

Он еле слышно пальцем постучал
По дымчатой эмали портсигара
И, далеко перед собою глядя,
Проговорил задумчиво: «Акрополь,
Афины серебристые... О, бред!

Пора понять, что это был унылый,
Разбросанный, кривой и пыльный город,
Построенный на раскаленных скалах,
Заваленный мешками с плоской рыбой,
И что по этим тесным площадям,
Толпе зевак и болтунов чужие,
Мы так же бы насмешливо бродили,
Глядели бы на все с недоуменьем
И морщились от скуки...»

Граф фон-дер Пален! — Руки на плечах.
Глаза в глаза. Рот иссиня-бескровный.
Как самому себе! Да сгинет страх!
Граф фон-дер Пален! Верю безусловно.

Все можно искупить: ложь, воровство,
Детоубийство и кровосмешенье,
Но ничего на свете, ничего
На свете нет для искупленья

Измены.

Невыносимы становятся сумерки,
Невыносимее вечера...
Где вы, мои опоздавшие спутники?
Где вы, друзья? Отзовитесь. Пора.

Без колебаний, навстречу опасности,
Без колебаний и забытья
Под угасающим «факелом ясности»,
Будто на праздник пойдем, друзья!

Под угасающим «факелом нежности»,
Только бы раньше не онеметь! —
С полным сознанием безнадежности,
С полной готовностью умереть.

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧАВШИЕСЯ В СБОРНИКИ

АННЕ АХМАТОВОЙ

По утрам свободный и верный,
Колдовства ненавижу твои,
Голубую от дыма таверну
И томительные стихи.
Вот пришла, вошла на эстраду,
Незнакомые пела слова,
И у всех от мутного яда
Отуманилась голова.
Будто мы, изнуренные скукой,
Задохнувшись в дымной пыли,
На тупую и стыдную муку
Богородицу привели.

1914

БАЛТИЙСКИЙ ВЕТЕР

I

Был светлый и холодный день,
И солнце неспокойно билось,
Над нашим городом носилась
Печалью раненая тень.
Нет, солнца не было. Дрожа
Под лужами, тускнели плиты,
Металась дикая Нева
В тисках тяжелого гранита;
Как странно падали слова:
«Я видела его убитым».
И черный вуаль открыл глаза,
Не искаженные слезами,
На миг над невскими волнами
Вам смерть казалась так легка.
И лишь в лохмотьях облака
Растерянно неслись над нами.

II

Тяжкий гул принесли издалека
Осветившие землю огни,
Молчаливым и нежным упреком
Ты следишь мои сонные дни.
Где-то там и ликуют, и плачут,
Славословят смертельный бой,
Задыхаясь валькирии скачут
В облаках веселой толпой.
И поет о томлении плена
Тихоструйного Рейна волна,
И опять на покинутых стенах
Ярославна тоскует одна.
Знаю все. Но молчи и не требуй
Ни тревоги, ни веры своей,
Я живу... Вот река и небо,
И дыхание белых полей.

ОСТАВЛЕННАЯ

Мы все томимся и скучаем,
Мы равнодушно повторяем,
Что есть иной и лучший край.
Но если здесь такие встречи,
Если не сон вчерашний вечер,
Зачем нам недоступный рай?

И все равно, что счастье мчится,
Как обезумевшая птица,
Что я уже теряю вас,
Что близких дней я знаю горе,
Целуя голубое море
У дерзких и веселых глаз.

Лишь хочется летать за вами
Над закарпатскими полями,
Пролить отравленную кровь
И строгим ангелам на небе
Сказать, что горек был мой жребий
И неувенчана любовь.

Когда Россия, улыбаясь,
Безумный вызов приняла,
И победить мольба глухая
Как буйный ураган прошла,

Когда цветут огнем и кровью
Поля измученной страны,
И жалобы на долю вдовью,
Подавленные, не слышны —

Я говорю: мы все больны
Блаженно и неизлечимо,
И ныне, блудные сыны,
В изменах каемся любимой...

И можно жить, и можно петь,
И Бога тщетно звать в пустыне,
Но дивно, дивно умереть
Под небом радостным и синим.

<1915?>

Железный мост откинут
И в крепость не пройти.
Свернуть бы на равнину
С опасного пути?

Но белый флаг на башне.
Но узкое окно!
О, скучен мир домашний,
И карты, и вино!

Я знаю, — есть Распятья
И латы на стенах,
В турецкой темной рати
Непобедимый страх.

Пустыни, минареты,
И дым, и облака,
И имя Баязета,
Пронзившее века.

Белеют бастионы
За мутною рекой,
Знамена и короны
Озарены луной.

И на воротах слово,
— Старинно и темно, —
Что на пути Христовом
Блаженство суждено.

О том, что смерти нет, и что разлуки нет,
И нет земной любви предела,
Не будем говорить. Но так устроен свет,
Где нам дышать судьба велела.

И грустен мне, мой друг, твой образ, несмотря
На то, что ты и бодр, и молод,
Как грустно путнику в начале сентября
Вдруг ощутить чуть слышный холод.

Жил когда-то в Петербурге
Человек — он верил в Бога,
Пил вино, глядел на небо,
И без памяти влюбился.

И ему сказала дама,
Кутаясь пушистым мехом:
«Если так меня ты любишь,
Сделай все, что ни скажу я».

Чай дымился в тонких чашках,
Пахло горькими духами...
Он ответил: «Что ты хочешь?
Говори — я все исполню».

И подумал: «Буду с нею
Навсегда, живым иль мертвым.
Легкой птицей, ветром с моря,
Пароходною сиреной».

Равнодушно и спокойно
Дама на него взглянула:
«Уходи, раздай все деньги,
Отрекись навек от Бога,

И вернись с одною мыслью
Обо мне. Я все сказала».
Он ушел и, обернувшись,
Улыбнулся ей: «И только?»

На другой же день он входит,
Бледный, без креста на шее,
В порыжелой гимнастерке,
Но веселый и счастливый.

Тихо в небе догорали
Желтые лучи заката,
И задумавшись как будто
Дама вновь проговорила:

«Уходи, и если можешь,
Обо мне забудь!» Не сразу
Встал он, не сказал ни слова
И ушел не попрощавшись.

Мир широкий. Все найдешь в нем,
Но не все ль и потеряешь?
Только шесть недель промчалось,
Ночью кто-то в дверь стучится.

«Отвори!» И тихо входит
Тот же человек. Но страшно
Изменился он. Морщины
Черный лоб избороздили.

Шепчет дама: «Неужели
Ты забыл? Ты изменил мне?»
Но он ей не отвечает,
Глаз не поднимает темных.

Утро брезжит... В пышной спальне
Женщина ломает руки.
«Денег мне не надо. В Бога
Верь или не верь — пустое!

Но люби меня!» Коснулся
Он холодными губами
Губ ее, и вновь покорно
Темный, спящий дом оставил.

Год прошел, второй проходит,
Никого она не видит,
Никогда не спит... Ни слухов,
Ни звонка, ни телеграммы.

Только ветер бьется в окна,
Только птицы пролетают,
Только долгая сирена
Завывает в ночь сырую.

ЛУБОК

Есть на свете тяжелые грешники,
Но не все они будут в аду.
Это было в московской губернии,
В девятьсот двадцать первом году.

Комиссаром был Павел Синельников,
Из рабочих или моряков.
К стенке сотнями ставил. С крестьянами
Был, как зверь, молчалив и суров.

Раз пришла в канцелярию женщина
С изможденным, восточным лицом
И с глазами огромными, темными.
Был давно уже кончен прием.

Комиссар был склонен над бумагами.
«Что вам надо, гражданка?» Но вдруг
Замолчал. И лицо его бледное
Отразило восторг и испуг.

Здесь рассказу конец. Но на севере
Павла видели с месяц назад.
Монастырь там стоит среди озера,
Волны ходят и сосны шумят.

Там, навеки в монашеском звании,
Чуть живой от вериг и поста,
О себе, о России, о Ленине
Он без отдыха молит Христа.

Единственное, что люблю я, — сон.
Какая сладость, тишина какая!
Колоколов чуть слышный перезвон,
Мгла неподвижная, вся голубая...

О, если б можно было твердо знать,
Что жизнь — одна и что второй не будет,
Что в вечности мы будем вечно спать,
Что никогда никто нас не разбудит.

Сердце мое пополам разрывается.
Стынет кровь.
Что за болезнь? Как она называется?
Смерть? Любовь?

О, разве смерть наша так удивительно —
Хороша?
Разве любовь для тебя так мучительна,
О, душа?

«О, сердце разрывается на части
От нежности... О да, я жизнь любил,
Не меряя, не утоляя страсти
— Но к тридцати годам нет больше сил».

И наклонясь с усмешкой над поэтом,
Ему хирург неведомый тогда
Разрежет грудь усталую ланцетом
И вместо сердца даст осколок льда.

Со всею искренностью говорю,
С печалью, заменяющей мне веру...
За призраки я отдал жизнь свою,
Не следуй моему примеру.

Настанет день... Устало взглянешь ты
На небо, в чудотворный час заката.
Исчезнут обманувшие мечты,
Настанет долгая за них расплата.

Не думай противостоять судьбе,
Негодовать, упорствовать, томиться...
Нет выбора — исход один тебе,
Один-единственный: перекреститься.

Нам суждено бездомничать и лгать,
Искать дурных знакомств, играть нечисто,
Нам слаще райской музыки внимать —
Два пальца в рот! — разбойничьему свисту.

Да, мы бродяги или шулера,
Враги законам, принципам, основам.
Так жили мы и так умрем. Пора!
Никто ведь и не вспомнит добрым словом.

И все-таки, не знаю почему,
Но твердо верю, — о, не сомневаюсь! —
Что вечное блаженство я приму
И ни в каких ошибках не раскаюсь.

«Кутырина просит...» — «Послать ее к черту».
(Здесь черт для приличья: известно, куда).
Хватается в страхе Седых за аорту,
Трясется и Ляля, бледна и худа.

Один Калишевич спокоен и ясен
(На Ратнера, впрочем, взирая, как тигр).
Подвал продиктован, обед был прекрасен.
Каких вам еще наслаждений и игр?

Неслышно является Игорь Демидов,
Ласкателен, вкрадчив, как весь на шелку
(В сей комнате много он видывал видов).
«Абрамыч, отец... я спущусь... кофейку».

Отец что-то буркнул в ответ, и Демидов
К Дюпону идет, чтоб решать мо-круазе.
Кто был предпоследним в роду Хасанидов,
Как звали своячениц Жоржа Бизе?

Августа Филипповна входит в экстазе.
«Газеты достать абсолютно нельзя,
Весь город кричит о каком-то рассказе...
Кто автор? — Звоню. Разумеется — я».

Влетает, как ветер, как свет, как свобода,
Порывист, заносчив, рассеян, речист,
Ну, тот... с фельетонами в честь огорода...
Не то огородник, не то анархист.

Преемник Кропоткина, только пожиже,
Зовущий «бороться», как звал в старину.
(А в сущности, что ему делать в Париже,
Студенту российскому Осоргину?)

За ним, прикрывая застенчиво шею,
Имея для каждого свой комплимент,
Знакомый Парижу, известный Бродвею,
К тому же и нобелевский конкурент,

Вы поняли — Марк Александрыч Алданов,
Читательской массы последний кумир
(здесь две глупые строчки, которые пропускаю)

Владимир Андреич, уходите? Снова?
(Тот в банк, в типографию — тысяча дел.)
«Сто франков до пятницы... честное слово!..»
Не слушает... не дал... исчез... улетел.

Ступницкий не в духе, дерзить начал Колька.
Единственный выход — пойти к Сарачу.
Сарач только спросит: «Прикажете сколько?»,
И в книжку запишет, придвинув свечу.

Чуть Вера Васильевна выпорхнет в двери,
Сейчас же и Шальнев в ту самую дверь.
Была Клеопатра. Была Кавальери.
По Шальневу Верино царство теперь.

Судьбой к телефону приставлен Ладинский,
Всему человечеству видно назло:
Он — гений, он — Пушкин, он —
бард исполинский,
А тут не угодно ль — алло да алло!

На свежий товар негодует Эразмус.
С «коровой», с капустой лежат пирожки.
«А были б микробы-с, а были б миазмы-с,
Так все расхватали бы вмиг дурачки!»

К унынью клиентов из пишущей братии
Блуждает Кобецкий, повесивши нос.
«Формация кризиса... при суprематии
Америки... труден научный прогноз».

Прогнозы для Волкова менее трудны:
Два франка внести в прошлогодний баланс,
Подклеить в уборной подгнившее судно,
Трясти бородою при слове аванс.

Пора наконец перейти к Кулишеру,
Но тут я сдаюсь и бросаю перо.
Тут Гоголю место, Шекспиру, Гомеру,
Тут нужен бы гений — c'est un numero!

СТИХИ В АЛЬБОМ

Я верности тебе не обещаю.
Что значит верность? — Звук пустой.
Изменит ум, изменит сердце, — знаю.
На том и помирись со мной.

Но все-таки я обещаю вечно
Беречь те робкие мечты
И нежность ту, которую, конечно,
Не сбережешь и часу ты.

Сегодня был обед у Бахраха.
Роскошный стол. Чудесная квартира.
Здесь собраны на удивленье мира
Ковры, фарфор, брильянты и меха.

Но где ж котлеты, пирожки, уха?
Нет, нет, молчу... Средь мюнхенского пира
Забыть должна о грубой кухне лира,
Остаться к эмигрантщине глуха.

Изящный смех, живые разговоры,
О станции и о знакомых споры,
Червинских шуток изощренный яд,

Хозяйки чистый и лучистый взгляд...
Kufoleiner Platz — «нет в мире лучше края»,
Скажу я с Грибоедовым, кончая.

Остров был дальше, чем нам показалось.
Зеркало озера, призрачный снег,
С неба снежинки... ну, самая малость...
Лишь обещаньем заоблачных нег.

С неба снежинки... а впрочем, какому
Летом и снегу небесному быть?
В памяти только... сквозь сонную дрему...
Воображение... к ниточке нить.

Остров и снег. Не в России, а где-то,
Близко глядеть, а грести — далеко.
Было слепое и белое лето,
Небо, как выцветшее молоко.

Что ж, вспоминай, это все, что осталось,
И утешения лучшего нет.
С неба снежинки, сомнения, жалость,
За морем где-то, за тысячи лет.

Был вечер на пятой неделе
Поста. Было больно в груди.
Все жилы тянулись, болели,
Предчувствуя жизнь впереди.

Был зов золотых колоколен,
Был в воздухе звон, а с Невы
Был ветер весенен и волен,
И шляпу срывал с головы.

И вот, на глухом перекрестке
Был незабываемый взгляд,
Короткий, как молния, жесткий,
Сухой, будто кольта разряд,

Огромный, как небо, и синий,
Как небо... Вот, кажется, все.
Ни красок, ни зданий, ни линий,
Но мертвое сердце мое.

Мне было шестнадцать, едва ли
Семнадцать... Вот, кажется, все.
Ни оторопи, ни печали,
Но мертвое сердце мое.

Есть память, есть доля скитальцев,
Есть книги, стихи, суета,
А жизнь... жизнь прошла между пальцев
На пятой неделе поста.

Как легкие барашки-облака,
Дни проплывают в голубом покое;
Вдаль уплывает счастье голубое
Под теплой лаской ветерка.

Наш ветер — северный. Он гнул дубы и ели,
Он воем отзывался вдалеке,
Он замораживал на языке
Слова, которые слететь хотели.

ИЗ ЗАБЫТОЙ ТЕТРАДИ

I

Социализм — последняя мечта
Оставленного Богом человека.
Все разделить. Окончить все счета.
Всех примирить, отныне и до века.

Да будет так. Спокойно дышит грудь,
Однообразно все и однозвучно.
Никто не весел, никому не скучно
Работать в жизни, в смерти отдохнуть.

Померкло небо, прежде золотое,
Насторожась, поникли тополя.
Ложится первый снег. Пусты поля...
Пора и нам подумать о покое.

II

Крушение русской державы,
И смерть Государя, и Брест
Наследникам гибнущей славы
Нести тяжелее, чем крест.

Им все навсегда непонятно,
Их мучит таинственный страх,
Им чудятся красные пятна
На чистых, как небо, руках.

Но нечего делать... И сосны —
Ты слышишь — все так же шумят,
И так же за веснами весны
По талым полянам летят.

1920

ВСПОМИНАЯ АКМЕИЗМ

После того, как были ясными
И обманулись... дрожь и тьма.
Пора проститься с днями красными,
Друзья расчета и ума.

Прядь вьется тускло-серебристая.
(Как детям в школе: жить-бороться)
Прохладный вечер, небо чистое,
В прозрачном небе птица вьется.

Да, оправдались все сомнения.
Мир непонятен, пуст, убог.
Есть опьяняющее пение,
Но петь и верить я не мог...

В СТАРИННЫЙ АЛЬБОМ

Милый, дальний друг, простите,
Если я вам изменил.
Что мне вам сказать? Поймите,
Я вас искренне любил.

Но года идут неровно,
И уносятся года,
Словно ветер в поле, словно
В поле вешняя вода.

Милый, дальний друг, ну что же,
Ветер стих, сухи поля,
А за весь мой век дороже
Никого не помню я.

9 Зак 3423

ПЯТЬ ВОСЬМИСТИШИЙ

I

Ночь... в первый раз сказал же кто-то — ночь!
Ночь, камень, снег... как первобытный гений.
Тебе, последыш, это уж невмочь.
Ты раб картинности и украшений.

Найти слова, которых в мире нет,
Быть безразличным к образу и краске,
Чтоб вспыхнул белый, безначальный свет,
А не фонарик на грошовом масле.

II

Нет, в юности не все ты разгадал.
Шла за главой глава, за фразой фраза,
И книгу жизни ты перелистал,
Чуть-чуть дивясь бессмыслице рассказа.

Благословенны ж будьте вечера,
Когда с последними строками чтенья
Все, все твердит — «пора, мой друг, пора»,
Но втайне обещает продолженье.

III

Окно, рассвет... Едва видны, как тени,
Два стула, книги, полка на стене.
Проснулся ль я? Иль неземной сирени
Мне свежесть чудится еще во сне?

Иль это сквозь могильную разлуку,
Сквозь тускло-дымчатые облака,
Мне тень твоя протягивает руку
И улыбается издалека?

IV

Что за жизнь! Никчемные затеи,
Скука споров, скука вечеров.
Только по ночам, и все яснее,
Тихий, вкрадчивый, блаженный зов.

Не ищи другого новоселья.
Там найдешь ты истину и дом,
Где пустует, где тоскует келья
О забывчивом жильце своем.

V

«Понять—простить». Есть недоступность чуда,
Есть мука, есть сомнение в ответ.
Ночь, шепот, факел, поцелуй... Иуда.
Нет имени темней. Прощенья нет.

Но, может быть, в тоске о человеке,
В смятеньи, в спешке все договорить
Он миру завещал в ту ночь навеки
Последний свой закон: «понять—простить».

Там солнца не будет... Мерцанье
Каких-то лучей во мгле,
Последнее напоминанье
О жизни и о земле.

Там солнца не будет... Но что-то
Заставит забыть о нем,
Сначала полудремота,
Полупробужденье потом.

Там ждет нас в дали туманной
Покой, мир, торжество,
Там Вронский встретится с Анной,
И Анна простит его.

Последние примиренья,
Последние разъясненья
Судеб неведомых нам.

Не знаю... как будто храм
Немыслимо совершенный,
Где век начнется нетленный,
Как знать? быть может, блаженный...

Но солнца не будет там.

Пора смириться, сэр.
А. Блок

«Пора смириться, сэр». Чем дольше мы живем,
Тем и дружить с поэзией труднее,
Тем кажутся цветы ее беднее
Под голубым беспечным ветерком.

Наш ветер — северный. Он гнул дубы и ели,
Он гулом отзывался вдалеке,
Он замораживал на языке
Слова, которые слететь хотели.

НА ЧУЖУЮ ТЕМУ

Так бывает: ни сна, ни забвения,
Тени близкие бродят во мгле,
Спорь, не спорь, никакого сомнения,
«Смерть и время царят на земле».

Смерть и время. Добавим: страдание,
...Ну, а к утру, без повода, вдруг,
Счастьем горестным существования
Тихо светится что-то вокруг.

ПАМЯТИ М. Ц.

Поговорить бы хоть теперь, Марина!
При жизни не пришлось. Теперь вас нет.
Но слышится мне голос лебединый,
Как вестник торжества и вестник бед.

При жизни не пришлось. Не я виною.
Литература — приглашенье в ад,
Куда я радостно входил, не скрою,
Откуда никому — путей назад.

Не я виной. Как много в мире боли.
Но ведь и вас я не виню ни в чем.
Все — по случайности, все — по неволе.
Как чудно жить. Как плохо мы живем.

МАДРИГАЛ ИРИНЕ ОДОЕВЦЕВОЙ

Ночами молодость мне помнится,
Не спится... Третий час.
И странно, в горестной бессоннице
Я думаю о Вас.

Хочу послать я розы Вам,
Все — радость. Горя нет.
Живете же в тумане розовом,
Как в 18 лет.

1971



ПЕРЕВОДЫ

Жозе Мариа де Эредиа

РАБ

Голодный, загнанный, в отрепьях нищеты,
Невольник — посмотри,
вот рабства знак тяжелый, —
Свободным я рожден, у рощ, где пахнут смолы
И Гиблы высятся лазурные хребты.

Я бросил милый край, увы!.. О, если ты
По следу лебедей еще вернешься в долы,
Где стены Сиракуз, и виноград, и пчелы,
Гость, расспроси о той, кому верны мечты.

Увижу ль некогда темней фиалок взоры,
Где неба нашего отражены просторы
Под торжествующей дугой ее бровей?

Будь милосерд! Иди, спеши в родные дали,
Поведай Лесбии, что я томлюсь по ней.
Ее узнаешь ты — она всегда в печали.

Роберт Саути

ПРИЗРАК
Быль

— Эй, матушка! Где переехать выгон?
Будь доброй, проведи коня!
Ни зги не видно, лошадь сбилась, право,
Боюсь, что не добравшись до заставы,
Увижу духов страшных я!

— Нет, самый ранний дух, и тот лишь в полночь
Из преисподней прилетит, —
Сказала женщина, — но что с тобою?
Ты озираешься с такой тоскою,
Что, путник, что тебя страшит?

Ты колеи держись, минуя выгон,
А как проедешь за кусты,
Увидишь — виселица есть большая,
Где до сих пор висят два негодяя,
Убивших молодца, как ты.

— Ах, не боюсь я вовсе, — молвил всадник, —
Ножа разбойников ночных,
Те привидения, что вдруг пред нами
Являются во тьме, блестя глазами,
Ужасней и страшнее их.

Нельзя ли виселицу мне объехать? —
— Одна дорога, — был ответ. —
Там, правда, ветер мертвецов качает,
И воронов добыча собирает,
Но ведь причин для страха нет.

— Как, там и вороны еще? Те твари,
Что отливают синевой?
Да вороны ль они? Мне говорили,
Что и у виселиц, и на могиле
Встречали призраков порой.

— Нет, — молвила, — то вороны ночные,
Они глаза у мертвых тел
Выклевывают, каркают часами,
Да вот, сейчас один из них над нами
На пир, наверно, пролетел.

Прощай же! — Путник двинулся; от страха
Душа металась, как в огне;
Молчал он. Облака спокойно плыли.
И будто от ключа забвенья пили
Немые звезды в вышине.

И вот, до виселицы он доехал.
Качались черные тела.
Подняв глаза, глядел он без опаски
На мертвецов. При виде странной пляски
Решимость вдруг к нему пришла.

— Чего там, — он воскликнул, — мне бояться.
Опасности тут вовсе нет!
Но чуть промолвил это всадник смелый,
Как появился рядом призрак белый.
Он вздрогнул, проклиная свет.

Пустился вскачь, за ним и призрак следом,
Цепями звонкими гремит,
Уж виселица позади большая,
Они летят, друг друга обгоняя,
Безмолвен всадник, дух молчит.

Вот края выгона они достигли,
Закрыты были ворота.
И только всадник за столбы кривые
Рукою взялся, чьи-то ледяные
К ней прикоснулись вдруг уста.

Тут вскрикнул он и через рвы, канавы
От пугала помчался прочь.
Оглянется и видит, — длинной тенью
Бежать не надоело привиденью,
Лишь чуть светлее стала ночь.

Вот и застава. — Помогите! — воскликнул, —
Что делать мне? Какая тьма!
За мною призрак с выгона несется.
Ах, я боюсь, хозяин, сердце бьется...
Что, что там? Я сойду с ума!

— Ах, кляча старая, — тот молвил, — Дженни,
Постой-ка, я тебе задам!
Не бойтесь, господин, — не злая сила,
А Гафферова серая кобыла
Неслась за вами по пятам.

Шарль Бодлер

ПАДАЛЬ

Припомните предмет, что видеть, дорогая,
Нам в утро ясное пришлось:
Остаток падали чудовищной у края
Дороги узкой, ноги врозь.

Подобно женщине, давно привыкшей к блуду,
Мешая вместе яд и пот,
Бесстыдно выставил открытый отовсюду
И весь в испарине живот.

Луч солнца яркого сиял на этой гнили,
Чтоб словно доварить ее,
И чтоб возвращены Природе щедрой были
Сторицей жизнь и бытие.

И словно над цветком раскрытым простиралась
Даль бесконечной синевы.
Так отвратительно воняло, что казалось,
Чуть вскрикнув, упадете вы.

Жужжала стая мух над этим чревом темным
Откуда медленно, в пыли,
Как жидкость вязкая, в количестве огромном,
Личины червяков ползли.

Все это двигалось, вздымалось, опускалось,
Иль тучею неслось вокруг,
И тело мертвое, размножившись, казалось,
Как будто оживало вдруг.

И этот странный мир рождал глухое пенье,
Как ветерок или волна,
Или как в веялке колеблемой движенье
Ссыпающегося зерна.

И блекли линии, и сон напоминали,
И образов стиралась нить,
Как на частях холста, которые в печали
Художник тщится довершить.

За скалы спрятавшись, пугливая собака
Едва превозмогала злость,
И будто бы ждала движенья или знака,
Чтоб доглодать гнилую кость.

— И все-таки для вас наступят дни и годы
Быть тоже мерзостью такой,
О, свет моих очей, звезда моей природы,
Вы, страсть моя и ангел мой!

Да, будете такой и вы, о друг прелестный,
Когда в неотвратимый час
Навек вы спуститесь в приют сырой и тесный,
И плесень выступит на вас.

Тогда, о красота, на самом дне могилы,
Под поцелуями червей,
Вы все же скажете, что нет у смерти силы
Над сгнившей радостью моей!

Жан Кокто

Нет ничего страшней, чем спящих женщин лица
И внешний их покой.
Египет — сны твои, и ты — его царица
Под маской золотой.

Что ищет он, твой взгляд торжественный и грустный,
Зачем уходит прочь,
Едва разуберет тебя, как раб искусный,
Любви и неги ночь.

Оставь, о жизнь моя, о дикий мой утенок,
Пространства и года;
Плыви над бездной их, из чуждых мне потемок
Вновь возвратись сюда.

Мне путешествия скучны. Я был в Мадриде,
Я видел Лондон, Рим.
От церкви к пирамиде
Охоту странствовать развеял я, как дым.

О Лондон розовый, склад угля, город стали,
Где на ходу все спят.
Венеция в печали
Из-за того, что дряхл ее былой наряд.

Мадрид, где по ночам бродить темно и душно.
Рим, на далекий мир
Глядящий равнодушно.
Жасмином пахнущий и козами Алжир.

Нет, в этих городах не испытал я дрожи.
Не ведал забытья.
Но и в Париже то же.
Лишь на твоей груди бываю счастлив я.

Наполеон I

Наследник юный мой, далекое виденье!
Да, вот черты его, их прелесть узнаю.
Он умер для меня; он в это заключенье
Навек не явится рассеять грусть мою.
О кровь моя! О сын! Заменою свободы
Ты б твоему отцу несчастному служил.
Я б охранял тебя в твои младые годы,
Ты мне бы в старости опорой твердой был.
Ты заменил бы мне и славу и порфиру,
На этом острове я счастлив быть бы мог,
И мог бы позабыть, что двадцать лет я миру
Свои веления предписывал, как бог.

Рильке

Я тот, кто спрашивал когда-то
Несмело: как назвать тебя?
Кто после каждого заката
Стоит, смущаясь и скорбя.

Без сил, забывший о весельи,
Всем сборищам я вечный враг.
Вокруг меня все вещи — кельи,
Где меряют мне каждый шаг.

Ты нужен мне, о Дух Познанья,
Ты, кроткий спутник всех тревог,
Ты, разделивший все страданья,
Как хлеб, ты нужен мне, о Бог.

Ты бел, — но не как белы ночи, —
Для тех, к кому склонил Ты лик;
Все, каясь, опускают очи,
Ребенок, дева и старик.

Алексис Раннит

ЛИТАНИЯ

Разлука — пролетает желтая птица
разлука — вдалеке высятся горы
разлука — тьма непроглядна
разлука — близятся грозы
разлука — пустыня, пустыня
разлука — рана не заживает

но не плачь — у тебя за спиною крылья.

ОСЕНЬ

Все, все перемешай:
и красный блеск Дамаска
с зеленым цветом ириса,
и Аттики
коричневую тень
с сияньем белым
золота,
и пурпур горестный
с мерцаньем
камня лунного
и ржу этрусскую
с холодной
синевою бури.

Все, все перемешай
и помни:
в красках — радость,
в линии — боль.

О, не ищи игры в напеве,
застывшем в строгости своей.
Пойми: как звезды в темном небе,
алмаз тем ярче, чем белей.

Пусть сердце бурями задето,
пусть пламя рдеет в них подчас,
единому будь верен свету,
не краскам, не теплу, — а свету,
тому, что виден сквозь алмаз.



ПРОЗА

ВЕСЕЛЫЕ КОНИ

1.

Война мало изменила жизнь Стебницких. Только Анна Николаевна стала еще больше и еще восторженнее говорить, появились в ее доме шарфы и кисеты, и иногда бывали собрания благотворительного кружка.

Но так же, как и прежде, по субботам покупались у Балле пти-фуры, в приятном беспорядке расставлялась мебель и зажигалась низкая, тяжелая лампа, горничная в белой наколке разносила в маленьких чашках чай.

Анна Николаевна давно мечтала устроить у себя салон, но удавалось это плохо. То ее гости садились за карты, — бридж или, что было уже совсем скверно, винт, — то разговор велся неподходящий, сбиваясь с высоких, волнующих тем на мелкие сплетни.

Теперь помогла война. Карты были изгнаны решительно под тем предлогом, что грех теперь проигрывать деньги, которые можно отдать на раненых, и кроме того для салонных бесед нашлась великолепная и незаменимая тема.

Анна Николаевна была удовлетворена. Она вела для потомства лирический дневник, под названием «Моя душа в кровавые дни», и иногда

прочитывала своим гостям страницу-две из него. Гости одобряли, вздыхали, а Анна Николаевна, смотря в одну точку перед собой, тихо говорила:

— Да, мы все, все теперь должны так думать...

Все шло хорошо. Дела, приятного и благородного, было много, и в глубине души мечтательная и пылкая дама даже радовалась, что настало «такое время». Дочь ее, все так же веселая и красивая, ходила на курсы сестер милосердия и уже собиралась сдавать экзамен. Только сын огорчал Анну Николаевну. Несмотря ни на какие увещания и ссоры, он жил своей прежней жизнью и не хотел изменять ее. Разговоры о том, как может Сережа ничего не делать, велись в доме Стебницких постоянно. Анна Николаевна делилась своим возмущением с друзьями, посвящала ему огненные страницы в своем дневнике, ссорилась с сыном и все более отдалялась от него.

— Ведь все, все работают... в комитетах, в Красном Кресте... А он шляется по улицам или сидит у себя запертый... Только бы его не трогали. Ты ответь мне все-таки... отчего ты ничего не делаешь?

Была блестящая и людная «суббота».

Сережа улыбнулся и ответил:

— Мне не хочется.

— Нет, лентяга Сергей, — дружелюбно вставил Лодыгин, веселый и бодрый студент, казавшийся теперь Анне Николаевне «очень стильным», — не хочет, уж я его пилил, пилил... ну, ничего, пусть погуляет.

— Да, сами-то ведь вы работаете. Я ведь не говорю — на войне... зачем? но, право, мне стыдно за Сережу. Теперь, теперь такое равнодушие.

Сережа взглянул на мать, возбужденную и покрасневшую, и подумал: «Совсем прачка»...

Он опять улыбнулся.

— Видите, я думаю, что идут на войну... не для России, а для себя... видеть, взволноваться... это — эгоизм... с неожиданным и случайным вкладом куда-то... на пользу.

Он говорил ни на кого не глядя, но будто мягко возражая кому-то, споря или соглашаясь.

— Да, ну так что же?

— Да, — Сережа вдруг покраснел и потерял нить мысли, — тогда я свободен... мне не хочется, понимаете... я вижу и здесь, а все эти катастрофы — смены эпох, — он брезгливо поморщился, — все, что пишут теперь в газетах... мне это неинтересно...

— Нет, я не могу... я не хочу это слушать, — нервно вскрикнула Анна Николаевна.

Обыкновенно после этих ссор и сцен Сережа делался еще невозмутимее и с еще большим упорством говорил о своей правоте. Но сам себе он искренно никогда не мог ответить, почему он прав, и ничего не знал. Он понимал, что ему идти на войну не хочется, вообще ничего ломать не хочется, а работать здесь просто скучно и времени жаль. И в то же время он видел, что вокруг все ломается и неудержимо несется вперед, а он остается на месте. Он удивлялся, печалился своей сонной жизнью со стихами, музыкой и поздними беседами и сам любовался своей печалью. Иногда он думал: «Конечно, это — лень». Иногда же казалось: «Нет, так надо. Я не могу иначе. Ничего, ничего, только не надо об этом думать». И так успокаивался.

Недоумение Анны Николаевны усилилось, когда Сережа совсем перестал читать газеты.

— Нет, я этого не понимаю... отказываюсь решительно...

Иногда, забываясь, она передавала ему «Новое время» с какой-нибудь отмеченной синим карандашом статьей, где рассказывалось о необыкновенном подъеме духа в населении или о подвиге юного добровольца.

— Правда, как это прекрасно.

— Да, конечно...

И он, пробежав статью, оставлял газету.

— Сережа, покажи мне, пожалуйста, где Рава.

Ему становилось стыдно, что он не знает, где Рава, и не хватало мужества признаться в этом. Он не читал газет из-за всяких комментариев, но ведь здесь факты, как же можно не следить за ходом войны; конечно, это — лень...

— Рава... здесь... вот.

— Где? я не вижу.

— Здесь... не знаю... у нас такая карта, что ничего не разберешь...

Сережа ходил в университет, но занимался немного. Дома, с матерью и сестрой, он быть не любил. Они были очень оживлены, очень заняты и всегда говорили о раненых или теплых вещах. Его тяготило постоянное и нескрываемое пренебрежение в их отношении к нему и то, что они будто нарочно говорили при нем об общей бодрости и радостной вере. Иногда он старался быть с ними резким или вежливо-холодным, но это удавалось плохо. Только с каждым днем все более чужими становились Сереже и мать, и сестра. Все по-прежнему спо-

койный, не взволнованный своей ленью, он мало-помалу, также лениво и вяло, начинал уступать и думал: «Я могу... но мне жаль, мне очень жаль всего... Все-таки здесь я работать не стану».

Ходили слухи о том, что все студенты будут призваны к службе.

Сережа вдруг обрадовался.

«Самому решиться трудно, но, если будут, это хорошо».

И ему виделся уже военный лагерь ранней весной, земля в черных проталинах и следах рыхлого снега и синее, холодное небо.

Он шел по набережной. Низко нависли тяжелые облака, и ветер со взморья резал ему глаза.

«Вот теперь все изменится. С войны вернешься совсем другим... Иначе быть не может. Странно... Петроград... Петербург... это все одно. Просто это кончился девятнадцатый век... и вот все мы уже не нужны»...

Издалека он узнал быстро шедшего ему навстречу Лодыгина. За несколько шагов тот, веселый и красный, замахал ему руками.

— Прощай, прощай, Сергей...

— Отчего?

— Еду послезавтра на войну с нашим отрядом. Ты не веришь, как я рад... Не могу больше здесь сидеть.

Сережа пожал ему руку.

— Ну, поезжай... Я, может быть, тоже скоро там буду... возьмут.

— Что ты? Ты ведь не на первом курсе? Тебя не возьмут... не знаешь, что ли?

— А, так. Наверно?

— Да, уж поверь мне. Не хочешь, брат? Пороха не нюхал? Эх, махнул бы со мной, вот это — дело. Что здесь киснуть!

— А разве мне можно?

— Отчего же нельзя... поезжай в Варшаву, там я тебя устрою. Ты ведь был год в медицинке?

— Да. Послушай, я поеду.

Лодыгин широко улыбнулся.

— Правда? Что это с тобой?

Сережа снял фуражку, провел рукой по волосам и сел на гранит над Невой.

— Так. Все равно я поеду, мне надо, только с тобой вместе.

— Ну, разумеется, со мной... Да ты серьезно или морочишь только?

— Нет, видишь, я очень хочу... очень хочу. Все-таки ведь это — раз в жизни.

— Да уж, для тебя второй такой войны не устроят.

— Ну, да, — ласково улыбнулся Сережа, — я поеду. Я позвоню тебе завтра.

Вернувшись домой, Сережа зашел в комнату матери и, насколько мог, просто и весело сообщил матери о своем решении. Анна Николаевна сначала не поверила, а потом принялась браниться и плакать о том, что вот все, все у Сережи так, что он конечно — помешанный и никогда ее не слушает и не советуется с ней. Маруся тоже негодовала и настаивала, что ехать на войну бессмысленно, а России можно служить и здесь.

— Ах, оставьте меня ради Бога! — вдруг закричал Сережа, — я поеду не для России совсем, не для вас, ни для кого... поеду потому, что хочу...

Он убежал к себе и хлопнул дверью.

В его комнате все было убрано. По стенам висели лубки и Врубели, слегка пахло табачным дымом. На столе лежало письмо. Он прочел адрес. Узнав почерк, отложил его и сел в кресло, и долго сидел, ничего не думая и сложив руки на коленях. Потом встал, подошел к зеркалу, зажег электрический рожок и стал смотреть на себя.

«Вот, хотел иначе причесываться... волосы больше на лоб — теперь не надо, все равно. — Он видел свое бледное и худое лицо с мягкими волосами, и ему было жаль себя. — Убьют... и вот никогда здесь больше стоять не буду... Нет, не убьют»...

Сережа взял письмо и вскрыл его.

«Милый, приходите завтра на выставку. Будет очень...»

Он улыбнулся и громко сказал:

— Вот и не пойду, вот и не пойду...

И сейчас же подумал:

«Как приятно и как странно говорить одному громко. Все-таки это очень хорошо — то, что со мной случилось»...

2.

Лодыгин ехал в санитарном поезде, и оказалось, что Сереже сопровождать его нельзя. Они условились встретиться в Варшаве. Дорога была долгой, но не скучной, — уже на вокзале повеяло войной. В обмерзших, набитых вагонах говорили только о ней, читали последние телеграммы, ловили слухи. Ехало много офицеров, возвращавшихся из госпиталей в полки, ехали добровольцы, вра-

чи, сестры, матери, искавшие своих близких, и деловые люди, как всегда снующие между Петроградом и Варшавой.

На станциях встречались войска и артиллерия, поезд шел тихо-тихо, пыхтел и поминутно останавливался. Говорили о том, что немцы идут на Варшаву и теперь стоят недалеко от города. Сережа равнодушно слушал все эти толки, а сам говорил мало. Он не знал, что ждет его, и не думал об этом, но смущенно и растерянно вспоминал оставленный город и свою городскую, ленивую жизнь. Ему казалось, что он вдруг легко вырвался из вязкого и теплого болота, но это свое болото он любил и совсем бросать его не хотел. Тяжелым и трудным было прощание с матерью. Оно совсем «не вышло»... и слова не те говорили, и плакали не так. Все не то. В глубине души он сильно и спокойно любил мать, и ему было грустно думать, что она этого не знает.

«Да ведь это я для нее поехал, она меня послала... Я сам не догадался бы никогда, что надо».

Наконец в мокрое, серое утро поезд пришел в Варшаву.

Сережа отыскал Лодыгина и решил, что останется у него ночевать. Ехать им надо было на следующий день.

Вечером бродили по светлому и веселому городу. В кафе звенела музыка, гуляли нарядные дамы, и Сережа не верил, что это — Варшава, что он едет на войну и вот не может прийти домой, зажечь лампочку у кресла и сесть читать стихи, а завтра встать, когда хочется.

Вернулись поздно. Ночью Сереже снились поле и трубы, небо все красное, в крови или, может

быть, в огне заката. Белые кони носились по полю, и вдруг он очутился на спине одного из них, под легкой развевающейся гривой, и конь помчал его, бешено топая и взвиваясь, прямо в красное небо. Проснулся усталый и грустный и, сидя на кровати, бессвязно стал рассказывать, что видел.

— Понимаешь, это небо... наверху желтое, как прованское масло, а книзу красное, красное... и я туда лечу... Это нехорошо... предзнаменование.

Он улыбнулся.

— Фу, баба, вот весь ты тут, — сердито сказал Лодыгин, — еще на войну. Тоже!.. Тебе на печке сидеть да с няньками сны гадать.

Поехали очень просто, не так, как ожидал Сережа, без всяких приготовлений, на перевязочный пункт. В мотор сели доктор, две сестры из Петрограда, Лодыгин и Сережа. Шоссе было изрыто и попорчено, но автомобиль летел, как стрела.

Ехали долго и все молчали.

— Ага, жарят, — вдруг желчно сказал доктор.

— Что это?

— Бой... слышите грохочут. Уже несколько суток, — не унимаются, черти.

— Да, я давно слышу, — проговорил Сережа.

Ему казалось, что грохот этот, сначала слабый, как далекий гул, растет с неодолимой силой и быстротой.

Опять все замолчали.

Наконец Сережа спросил:

— Где же это... близко?

— Да, сейчас приедем. Однако же вы — неженка, — и доктор с усмешкой взглянул на его бледное лицо, — вам самому надо валерьянки прописать.

10 Зак. 3423

Сережа отвернулся и сухо сказал:

— Нет, у меня только сердце скверное.

Временным перевязочным пунктом служила большая и светлая изба.

Отряд встретила сестра милосердия, растрепанная, без платка на голове, вся обрызганная кровью.

— Ради Бога, я же не могу, я сама здесь с ума сойду, ведь никого нет, доктора нет, раненые стонут... надо скорее перевести пункт, здесь опасно...

Доктор дал ей все сказать и потом холодно проговорил:

— Успокойтесь, сестра... Пункт в безопасности. Врачебный персонал налицо. И нельзя же так теряться.

У сестры выступили на глазах слезы.

— Да, попробовали бы вы здесь... с раннего утра... сестра Перфилова ушла... Стеблова больна... я больше не могу, я не могу.

— Успокойтесь, сестра, — уже строго повторил доктор и прошел вперед.

Раненые лежали на шинелях, на полу, стонали и всхлипывали.

Доктор спокойно и привычным взглядом оглядел избу.

— Ну, тут со многими недолго возиться... не надо нервничать, сестра...

Он повернулся к шедшему за ним Сереже:

— Стебницкий, этому ногу... надо перевязать немедленно.

И он указал на лежавшего без памяти солдата, с окровавленными бесформенными ногами.

— Да... хорошо, — торопливо ответил Сережа.

Он стал на колена, достал бинт и хотел начать перевязку.

«Как же, промыть ведь надо... или так».

Он заглянул солдату в глаза. Глаза были закрыты и лицо совсем белое. Один тонкий и длинный ус был прикушен в тесно сжатых зубах.

«Нет, надо бинт перекрутить»...

Доктор, горячо упрекая в чем-то сестру, вместе с ней подошел к Сереже.

— Ну что, готово?

— Нет... он кричит и пить просит.

Доктор резко остановился и побагровел.

— Да что вы здесь, нежность разводить приехали? Ведь он умрет из-за вас! Что вы все с ума свести меня хотите! Вы — олух, понимаете? Убирайтесь сейчас же вон отсюда... идите таскать раненых... это — для вас занятье... Убирайтесь!

Он резко схватил Сережу за рукав и толкнул к двери.

Сережа ничего не ответил и вышел. Где-то, казалось — совсем близко, тяжело грохотали орудия, и иногда в промежутках было слышно, как им отвечает другой, более слабый гул.

«Что это, эхо или немцы, — подумал Сережа, — верно немцы. Нет, это — не то... совсем не то, что я думал. Странно же, что вот война, а я иду один по полю... и никто не знает, кто я и куда я иду... Только где же мне найти раненых? Это дальше наверно... Надо идти к выстрелам».

Он пошел по будто выжженной, черной и сухой земле. В ямах и канавах лежал крепкий снег. Резкий, неровный ветер поднимал холодную

пыль и рвал с него фуражку. Сережа хотел держать ее, но руки зябли, и он поочередно прятал их в карманы.

В стороне он заметил следы какой-то дороги, спускавшейся под полуразрушенный мост.

«Надо здесь идти по дороге. Здесь, наверно, приду, куда надо».

Он спустился, прошел под мостом и вышел на широкую, открытую поляну.

«Может быть, там, у леса, наши, — подумал он и пошел по краю поля к синевшему лесу. — Ну, да, конечно и там люди... Надо туда идти... Вот и направо тоже... Что это!.. Что?»

Сережа вдруг увидел, что совсем рядом с ним с глухим свистом упало что-то и будто завертелось.

«Да, вот... сейчас», — подумал он, и в это мгновение почувствовал тяжелый и горячий удар в живот и ноги.

Он упал.

Сережа очнулся от дикого визга и рева над собой. Он увидел, что шагах в двадцати от него бегут какие-то серые люди, с ружьями наперевес и светлыми, перекошенными лицами.

— Это — наши... верно, победа...

Ему было легко и не больно. Он хотел подняться, но ни голова, ни руки не слушали его и будто свинцовые лежали на земле. Все тело ныло и слабело.

По небу летели быстрые, беглые облака, разрывались, и тогда был виден голубой легкий воздух.

Сереже казалось, что эти облака — все жестяные и бегут вдогонку одно за другим, сталкиваются, звенят и ломаются.

«Зачем они так летят. Как бы хорошо так лежать... а вот эти жестянки... Я ранен... но легко... это — пустяки. Снесут на пункт... вылечат... А вдруг не найдут.. Нет, найдут. Как не найти. Вот бегут уже»...

Мимо пробежал человек с повязкой на руке. Сережа хотел позвать, но голоса не хватило. Он только со страшным усилием приподнялся и опять упал на землю.

«Ну, ничего... найдут после... все равно... найдут».

Голова его слабела.

Он лежал в темной луже крови, ничего не думал и умер, смотря мутными большими глазами в небо.

СВЕТ НА ЛЕСТНИЦЕ

Рассказ

Ксения Петровна волновалась. Ей и хотелось испытать то, о чем раньше она только слышала и читала, и немного страшно было. Сегодня вечером она должна пойти к Высоцкому одна на его холостую квартиру. Они познакомились совсем недавно, и Высоцкий сразу влюбился. Присылает цветы, пишет. Ксения Петровна сначала не обращала внимания и даже пробовала сердиться: как же, Володя, муж ее, — на войне, родину защищает, а она тут изменять ему будет?

Володя — милый, нежный. Как он, прощаясь с нею, все руки ее целовал, в глаза смотрел, ласковый, грустный, и спрашивал: — Не забудешь? Не разлюбишь?

И вот, случайно у Зины Кон, своей подруги по институту, Ксения Петровна встретила Высоцкого. Он ей не понравился, показалась неприятной и его манера говорить, медленно и с какой-то аффектацией, и этот еле уловимый польский акцент, и взгляд, томный и упорный.

За чаем он сидел с ней рядом, не сводя с нее глаз, все говорил, говорил, не умолкая, несколько вычурно и театрально. И когда Ксения Петровна встала, он просил проводить ее домой.

Зина Кон в передней отвела свою подругу в сторону и шутливо сказала:

— Поздравляю... Победа... Только gardez-vous, madame... Про него такое говорят. Дон-Жуан!

Ксения Петровна покраснела.

— Глупости!

По дороге Высоцкий стал говорить о своей любви, об этом странном, налетевшем откуда-то чувстве.

— Я не знаю, что со мной. Этого никогда не было... Как только вы вошли, я понял, что вас люблю.

Ксения Петровна пожала плечами.

— Право, это странно даже... Я, право, не привыкла.

Они простились сухо. Высоцкий даже не поцеловал руки.

Но на следующий день он прислал большую корзину ландышей. Ксения Петровна очень любила ландыши и невольно обрадовалась подарку. Потом пошли записки, письма, еще цветы. Он попросил разрешения быть у нее, — она позвала его днем пить чай. Все, кажется, было очень хорошо.

Ксения Петровна напудрилась и прихорошилась и накрыла стол белой, твердой, как дерево, скатертью, купила французского печенья, — но Высоцкий чем-то остался не доволен.

— Ах, это не то, не то. Здесь у вас эта горничная, ваш сын... Это не то. Я не могу, я ведь люблю вас.

Ксения Петровна улыбнулась.

— Так что же я могу сделать?

— Придите ко мне. Я вас так прошу. Никто не увидит, никто не узнает.

— Нет, право, это неудобно.

Высоцкий встал, бледнея.

— Бог с вами. Я больше ничего не скажу. Я вас всю вижу... насквозь... вы — ломака, вы злая и бессердечная.

Ксении Петровне стало обидно.

— Нет, я не ломака и не злая... Вы странный, право...

— Дорогая, милая, простите. Я виноват, я знаю, но придите ко мне... Я вас так прошу. Для меня было бы таким счастьем видеть вас у себя.

«В сущности, что же тут плохого. Отчего бы и не пойти. Так все ведь делают... А Володя не узнает. И я ему не изменю, я его люблю», — подумала, колеблясь, Ксения Петровна и, наконец, проговорила:

— Хорошо. Если вы так этого хотите... Мне ведь не трудно...

Высоцкий поцеловал ее руки, посидел еще несколько минут и уехал, счастливый и нежный.

Это было вчера, а сегодня в 10 часов вечера она должна быть у него.

Ксения Петровна долго причесывалась, не зная, лучше ли закрыть волосами уши или поднять волосы, как всегда делала, надела любимое свое зеленое платье, сшитое еще для послесвадебных визитов и недавно заново переделанное, и, взглянув в зеркала, довольная, улыбнулась самой себе.

Не любя Высоцкого, Ксения Петровна хотела ему нравиться. Ей было приятно это поклонение человека немолодого, богатого и свободного — ей, робкой и неопытной. Что она видела в жизни? После института несколько лет в глуши, у мате-

ри, потом эта встреча с Володей и недолгое, тихое и спокойное счастье... Высоцкий открывал ей новый и заманчивый мир, и, слушая его рассказы и признания, Ксения Петровна иногда ловила себя на каких-то нехороших мыслях...

Она вышла и позвала извозчика.

— Лучше, чем в трамвае, а то он встретит, может быть. Увидит еще, что я пешком... И зачем все-таки я ему обещала?..

Извозчик ехал тихо, по-дешевому. Пахло весной и близким морем. Ветер дул мягкий и нежный и гнал с запада огненные, широкие облака.

— Не поеду больше... Еще Володя как-нибудь узнает... Но он милый, этот Высоцкий... И, кажется, он меня, правда, любит...

— Извозчик, к 16-му номеру, у подъезда...

Ксения Петровна вошла и небрежно спросила:

— Здесь живет г. Высоцкий?

— Да, пожалуйте, — швейцар в галунах отворил дверцу лифта.

«Вот, вся пудра с носа сошла, и глаза красные какие-то», — успела разглядеть себя в зеркальной клетке Ксения Петровна.

На площадке третьего этажа ее уже ждал Высоцкий.

— Дорогая моя, как я счастлив... И как я вам благодарен.

Ксения Петровна была слегка смущена. Эта роскошь входа, ковры, цветы, эта блестящая передняя, без шкафов с пыльными картонами над ними, — все ей было непривычно.

— Да? Вы меня ждали? Чудесная погода, я с наслаждением проехалась.

Высоцкий помог ей снять легкое пальто, нежно, как драгоценность, взял ее ридикюль.

— Пройдем в кабинет...

В кабинете было полутемно. В углу в камине по углям ползали синие огни.

Были видны мягкие, глубокие кресла, шкуры, оружие по стенам. Пахло горьким сигарным дымом и цветами.

— Вот здесь я живу, здесь я скучаю, — слегка нараспев сказал Высоцкий и закрыл руками глаза, будто задумавшись или плача.

— У вас хорошо...

— Теперь — да. Когда вы здесь.

— Ну, что вы...

Она села.

Высоцкий изредка, будто сам с собой говоря, ронял короткие, обрывистые фразы, слегка печальные, слегка восторженные, и опять умолкал.

— Пойдем закусить. А потом... вы у меня еще посидите... долго, долго...

И взяв ее слабую руку, он медленно поднес ее к своим губам и заглянул в глаза просительно и томно...

В столовой, на сияющей скатерти были расставлены изысканные угощения.

Ксения Петровна быстрым взглядом все осмотрела и оценила.

— Хотите икры. Вот вино, — теперь это редкость. У меня его еще много...

Она чувствовала себя неловко, — одна у этого чужого ей, недавно встреченного человека.

Все стесняло ее. И говорить нечего. Он изливается о своей любви и своей грусти, а она — о чем она

будет говорить? Вот с Володей она никогда не молчала, все рассказывала что-то, вспоминала... Милый Володя, дорогой, никого кроме него она не любит!..

— А знаете... у меня от мужа уже три недели вестей нет.

Высоцкий участливо спросил:

— Да? А Владимир Константинович на каком фронте?

— Не знаю... Был где-то за Варшавой... Теперь не знаю.

— Ну даст Бог, все будет благополучно...

Он помолчал и вздохнул.

— Как пустынна была бы жизнь без любви... без таких встреч.

Ксения Петровна ела виноград.

— Разве?

— И знаете, — не отвечая ей, продолжал Высоцкий, — я предчувствовал вас... встречу с вами... давно, давно. Это не случайно, это — счастье.

— Для кого?

— Для нас.

Ксения Петровна подняла глаза и слегка испугалась. Высоцкий смотрел на нее остановившимся томным взглядом.

Она попробовала улыбнуться.

— О, почему это вы так уверены?

— Потому, что я этого хочу.

Он встал и подошел близко, близко к ее стулу. Ксения Петровна тоже встала.

— Что с вами?

— Ничего, ничего, я вас люблю, я только вас люблю.

— Сергей Викентьевич!

— Да, да, я так хочу...

Он взял ее за плечи и, наклонившись, поцеловал медленным поцелуем.

Высоцкий почувствовал, что Ксения Петровна слабеет и дрожит в его руках, но не отбивается, не отталкивает его. Значит, все будет хорошо. Значит, она покорная и нежная.

Он хотел поцеловать ее — как всегда делал — в глаза и вдруг заметил, что она плачет.

— Ксения Петровна, что с вами?

Она, дрожа и всхлипывая, упала в кресло.

— Ничего, это пройдет... это сейчас пройдет.

— Может быть, вы хотите воды?

Ксения Петровна покачала головой.

— Нет, не надо... Знаете, я такая нервная теперь... Я вспомнила Володю... Вы меня поцеловали...

Высоцкий чуть заметно поморщился и сказал шутливо:

— Это первый поцелуй после отъезда вашего супруга? Вы невинны, как херувим...

Ксения Петровна хотела перестать плакать — стыдно ведь! — но не могла. Мысли печальные и страшные волновали и томили ее.

— Знаете, я так боюсь за мужа... за Володю... Где он?.. Ведь почти месяц ни слова.

Высоцкий со скукой протянул:

— Да-а?

«Ничего он не понимает», — подумала Ксения Петровна и замолчала.

Огни в камине погасли. Только угли тлели еще, разваливаясь и темнея.

Высоцкий опять сел к ногам Ксении Петровны.

— Ну, милая, дорогая, не надо плакать, не надо так нервничать.

Он взял ее руки и ласково, как ребенку, стал гладить их и целовать.

Ксения Петровна сидела неподвижно, опустив голову, и смотрела влажными глазами в одну точку.

Вдруг она встала.

— Нет, я не могу.. Я не знаю, что со мной... Мне так страшно...

И опять стала плакать.

Высоцкий неторопливо поднялся, принес стакан воды и сказал чуть-чуть холодно:

— Дорогая, вы больны, вероятно... Мне очень грустно, но... я думаю, вам бы следовало поехать домой и отдохнуть...

Ксения Петровна заговорила быстро-быстро, глотая слезы и бегая по комнате:

— Да, да... я поеду. Простите, я не знаю, я больна, конечно... Мне не надо было приезжать к вам... Конечно, конечно, нельзя было.

Она побежала в переднюю и стала одеваться.

— Я никогда не приеду к вам... никогда... Я не могу.

Высоцкий вежливо и спокойно улыбнулся.

— Я виноват, если оскорбил вас как-нибудь. Надеюсь, вы разрешите мне, по крайней мере, проводить вас?

Ксения Петровна, прислонившись к стене, обессиленная и бледная, сказала тихо:

— Пожалуйста... Вы не сердитесь на меня?

— Нет, что вы... Нервы, я понимаю...

Ночь была теплая и светлая. Высоко в голубоватом, молочном тумане тонули редкие, маленькие звезды.

На Неве были разведены мосты, и большие корабли проходили важно и медленно, как тени, теряясь в ночной мгле.

Ксения Петровна мало-помалу успокоилась.

Взглянув на Высоцкого, она сказала мечтательно и слегка иронично, будто подражая ему.

— Как хорошо плыть на таком корабле.

— Куда?

— Все равно. Все дальше, дальше. Что это куранты бьют? Двенадцать?

— Нет, сейчас позже, наверное.

Они замолчали.

— Вы не сердитесь?

— За что?

— Да вот за эти слезы, за истерику?

— Нет. Но этого больше быть не должно.

Высоцкий взглянул на Ксению Петровну повелительно и строго. Она вся съежилась и отсела на край коляски.

— Оставьте меня. Я сказала вам, что больше к вам не приеду.

— Но отчего?

— Я не хочу... Я обещала Володе...

— Но ведь он не узнает. Вы — смешная...

— Все равно... Не сто́ит...

— Как хотите! Я вам надоедать не буду...

Когда извозчик стал у ворот дома, где жила Ксения Петровна, он сошел первым, позвонил дворнику, подождал, пока тот отворил калитку, и снял шляпу.

— Прощайте, Ксения Петровна.

Ей опять стало жаль его и она сказала, как могла, просто и дружелюбно:

— До свидания... Не забывайте.

И, улыбнувшись, кивнула ему и пошла через двор.

Белыми ночами лестница, хоть и совсем темная, не освещалась. Ксения Петровна, хорошо зная каждую ступеньку, каждый поворот, пошла быстро и уверенно. Поднявшись во второй этаж — ее квартира была на пятом, — она заметила, что сквозь пролет падает электрический свет. Она остановилась и посмотрела наверх. Было ясно, что на самом верху, на площадке ее квартиры горит рожок. «Что это, забыли погасить, что ли?» — подумала Ксения Петровна и стала подниматься выше.

Но она не могла идти так быстро, как привыкла ходить, — и дыхания не было, и ноги слабели и подкашивались. Так бывает во сне — хочешь бежать от разбойника какого-нибудь или привидения и не можешь, будто прикованный к земле.

— Устала я отчего-то, — шепотом проговорила Ксения Петровна и пошла тихо, тихо, опустив голову и тяжело дыша. На площадке четвертого этажа постояла у стены, отдохнула и стала подниматься выше, еле волоча совсем слабеющие ноги.

— Кто же это рожок забыл? — опять подумала она, взглянула на лампу, на площадку у своей двери и вдруг остановилась.

Двери в квартиру были широко раскрыты, была видна сияющая светом передняя и за ней гостиная. В дверях на площадке стоял Володя, муж Ксении Петровны, в парадной форме, в орденах, бледный, спокойный и грустный, и молча смотрел на жену.

Ксения Петровна сначала не могла сказать ни слова. Потом, задыхаясь, вскрикнула:

— Володя!.. — и хотела броситься вверх.

Но бежать она не могла. Ноги были будто стопудовые и поднимались тяжело и медленно.

Владимир Константинович стоял неподвижно и все смотрел, молча и пристально.

— Володя! Володя... что же ты не идешь ко мне... откуда ты!

В ее душе была и острая радость встречи, и странная какая-то тревога, и все растущее удивление — что с ним, с ее милым, милым Володей.

Ноги все не слушались, тяжелые и холодные.

Когда она, наконец, поднялась, Владимир Константинович тихо подошел к ней и с бесконечной нежностью и будто печально, но слабо поцеловал в губы. Потом низко склонился и поцеловал обе руки.

— Здравствуй, милая. Вот я и приехал.

Голос был глухой и спокойный. Ксения Петровна не могла еще прийти в себя.

— Володя, когда же ты? Надолго?

Он не отпускал ее рук.

— Я туда не вернусь больше.

— Совсем?

— Совсем. Меня царь к себе вызвал.

Ксения Петровна задыхалась.

— Милый, милый, как я счастлива, я так тосковала...

— Ты не тоскуй, — тихо покачал головой Володя.

— И знаешь, — она испугалась, что муж знает, где она была, — знаешь, это странно, я первый раз ушла из дому... у меня дело было к Марье Николаевне... и вот ты приехал...

Она умолкла, взглянув на мужа.

— Володя, отчего такой бледный?.. Ты голоден, верно, или тебе отдохнуть надо... Я сейчас... подожди...

Ей вдруг стало невыносимо тяжело, и она убежала, чтобы не вскрикнуть или не заплакать.

Владимир Константинович молчал.

В спальне Ксения Петровна торопливо открыла электричество, сняла шляпу и подбежала к столу за ключами.

На столе лежала нераспечатанная телеграмма.

— Володя, это твоя депеша? Нет?

Не получив ответа, Ксения Петровна, как во сне, вскрыла телеграмму и прочла:

«По поручению командира полка, сообщаю вам, что супруг ваш поручик Иваненко убит сегодня в стычке с неприятелем».

Она уронила бумагу и, еле произнося слова, сказала:

— Во...лодя... что это? Ты видел. Это... ошибка.

— Володя!

Ответа не было. Ксения Петровна вышла в переднюю, — никого. Дверь на лестницу закрыта. Везде темно.

— Володя!

Она медленно, еле ступая, обошла всю квартиру. Нигде никого не было.

Тишина, — только слышно дыхание спящего ребенка.

Ксения Петровна остановилась и закрыла лицо руками. Потом, все поняв, но не плача и не крича, пошла в спальню, перекрестилась и стала на колени перед темневшей в углу иконой Всех Скорбящих Радости.

ВОЛОГОДСКИЙ АНГЕЛ
Рассказ

Тихий город Вологда. Только звон колокольный несется по широким улицам да птицы чирикают. Может быть, там, на соборной площади и ходят люди, извозчики кричат, торговки бранятся, но у палисадника Анны Тимофеевны не слышно — далеко. Палисадник чистенький, зеленый и на самом краю города. Выйдешь за калитку — тут же и поле в зеленых холмах и дальше темный лес, от которого далеко веет свежестью. В поле и лес все больше и ходила гулять Анна Тимофеевна еще при покойном муже, когда была молода, да и теперь с соседкой Марьей Корниловной Синицыной. Не любили они города. В лесу лучше — птички поют, трава пахнет. И ветерок лесной приятный, пыли не несет.

Соседи вокруг были все старожилы, все друзья, — есть и поговорить о чем, и что вспомнить. Вот только этой весной желтый домик за канавой купила купчиха из Москвы, по фамилии Королькова. Не понравилась она никому в околотке — гордая какая-то и насмешливая, и о прежней жизни ее ходили темные слухи. А Анна Тимофеевна, хоть и не была знакома с Корольковой, имела особые причины быть ею недовольной. Что же, правда, разве можно не очень уже молодой женщине, вдове, юношу неопытного соблазнять?

Алеше было восемнадцать лет. Он никогда еще не покидал родного города, и ему и не представлялось, что где-то, за этими синеглавыми соборами, за серебряной узкой речкой есть еще мир широкий и шумный.

Рос он один, без игр, без друзей, и, правда, мать его и не думала, что придут дни и будет он, как и все другие, вздыхать и томиться по какой-нибудь курносой девице. Да и сам Алеша боялся этих предчувствий. Даже в городе бывал он редко. Только каждую субботу, как запоют колокола, уходил к всенощной и стоял всю службу, не двигаясь, не мигая, перед золотым высоким иконостасом. И утром, когда Анна Тимофеевна еще спала, вставал он к ранней обедне, — только удивлялась его мать, откуда в мальчике этот страх Божий.

Говорила Анна Тимофеевна с сыном мало, — не о чем. Алеша часто уходил с утра за город. Был такой камень в поле, выдолбленный и тяжелый, будто кресло. Тихо стелилась река, тихо плыли облака, — Алеша сидел молча, пока не тускнел над лесом узкий розовый закат.

— Что, Алеша, гулял где?

— Нет, я у речки был.

— Рыбу, что ли, ловил?

— Нет, так.

Иногда ночью слышала Анна Тимофеевна его шепот в соседней комнате. И в щелку она видела, что Алеша стоит на коленях перед иконами и крестится. Растроганная и смущенная, ложилась она опять, — молитва — дело Божье, но всему ведь свое время.

Воспитал Алеша в сердце своем на долгих вечерних стояниях, на этих уединенных мечтаниях печаль и отвращение к нашему бедному миру.

Весной был в Вологде захожий инок из дальней обители. Анна Тимофеевна, как женщина благочестивая, предложила ему кров и пищу, и светлыми северными ночами сидел с ним вдвоем Алеша на крыльце у домика. Инок рассказывал о трудной монастырской жизни. Алеша слушал, вздыхая.

— А купола-то у вас золотые?

— Какие золотые! Так, синенькие.

— А золотые лучше...

Так шли дни. Только в самое последнее время стала Анна Тимофеевна замечать, что Алеша грустит и тревожится. И пропадает целыми часами где-то, и дома ходит, молча, из угла в угол. Что с ним — понять трудно. Пробовала Анна Тимофеевна поговорить с сыном, но ничего не вышло. Он смутился и сказал:

— Нет, мама, это тебе кажется...

Но было ясно, что Алеша томится.

И вот все открылось.

Раз как-то, когда к вечеру Алеша вышел гулять, Анну Тимофеевну будто толкнул кто пойти за ним. Она побрела под забором в кустах.

Был ясный и нежный вечер.

Алеша дошел до пригорка и остановился, оглядываясь. Через несколько времени показалась женщина в черном платке и густой черной шали на голове, подошла к Алеше и увела за собой. Лицо женщины было закрыто, но по этому черному платью, по медленной, будто разваливающейся поход-

ке Анна Тимофеевна узнала Королькову и долго смотрела на удалявшиеся две тени и лес, темневший под ясным и холодным закатом.

Алеша вернулся домой поздно. Анна Тимофеевна все слушала его шаги по скрипучему полу и, наконец, решила зайти к нему.

— Где ты был, Алеша, — у речки?

— Да.

— Пыли-то набралось сколько, что это Дуня смотрит. И лампадки все мигают.

Алеша сидел на кровати в темном углу.

— Алеша, что же ты мне не сказал?

— Что?

— Да вот... Вместе гуляете, встречаетесь, ведь так и рассказывать начнут.

— Ах, это...

— Да... Уж, пожалуйста, ты брось это знакомство.

— Отчего?

— Как отчего? Долго ли до греха... Хорошего мало.

Алеша встал и закрыл лицо руками.

— Я, мама, совсем не знаю, что мне делать.

Ночью Анна Тимофеевна видела, что в комнате сына светло, и слышала слова «Господи, помилуй меня, Господи, помилуй меня», все одно и то же, глухо и беззвучно. На этом она и заснула.

На следующий день вечером Алеша опять ушел, — Анна Тимофеевна и не видела, когда. Уже перед чаем вышла она подышать и, проходя мимо дома Корольковой, заметила, что в щели ставень пробивается свет. Ее и потянуло подсмотреть, дома ли купчиха и что она делает. У ворот

залаяла собачонка, но, узнав Анну Тимофеевну, смолкла и завиляла хвостиком. Окна за ставнями были раскрыты.

Королькова, в черном атласном платье, ходила по комнате. Анна Тимофеевна в первый раз и разглядела ее хорошенько. Может быть, она была нарумянена, — слишком уж ярко горели щеки на белом полном лице. Волосы ее сбились, и она, ходя, то и дело поправляла прическу.

Под стеной сидел Алеша и блестящими глазами смотрел на Королькову.

— Что же я, право, вас не понимаю. Вы ведь уже не мальчик, а сами собой не владеете.

— Вы не сердитесь только...

Королькова усмехнулась.

— Мне зачем сердиться? Делайте, что знаете.

Она села с ним рядом, дыша в лицо, и взяла обе руки.

— Ну вот, завтра я уеду, больше вам ничего не скажу, как хотите... У-у, неженка... А любишь?

Алеша поднял глаза.

— Люблю.

— А я не верю... Вот и не верю! Если любишь, поцелуешь...

Вдруг ставня скрипнула, и Королькова, подозрительно прищурившись, умолкла.

Анна Тимофеевна испугалась, что ее увидят, и убежала.

Алеша возвратился только к полуночи, хотя свет у Корольковой погас уже давно. Анна Тимофеевна сидела в спальне и вязала.

— Ты уже спать?

— Да, мама.

— Ну, Господь с тобой.

Перекрестив его, она опять села у лампы работать, но мысли тревожные и растерянные так и неслись в ее голове. Что-то будет еще с Алешей.

Уже глубокой ночью, — а она думала, он спит уже, — Алеша опять вошел к ней, очень тихо, будто в забытьи.

Анна Тимофеевна уронила работу.

— Мама, а можно обещание нарушить?..

— Что такое?

— Обещание... Вообще, если дал кому.

— Да, если потаскухе какой, так и Бог велит... Уж и не глядела бы я лучше.

Алеша улыбнулся.

— Ну, спасибо, милая.

Опять до света не спала Анна Тимофеевна, слышала, ходит кто-то по комнатам и тихо, тихо поет духовное. Потом будто и двери открылись, или это к чиновнице Синицыной племянник с архангельского поезда приехал.

Утром Алеши не было дома. Не пришел и к обеду. Уже вечереет, дождь моросит, а Алеши нет. Вдруг догадалась Анна Тимофеевна. Как была, побежала она по грязи через улицу к Корольковой. Ей отворила босая девка и сказала, что госпожа уехала в Москву и когда вернется, неизвестно.

Анна Тимофеевна была в ярости, — ей все стало ясно. Так обмануть ее. Убежать в Москву с этой тварью. Посидела она у себя, прождала еще немного и побежала по соседям рассказывать о своем несчастии.

— Нет, вы подумайте, Мария Корниловна, каково мне. Ведь на первую бабу променял...

Отца Георгия она застала уже отходящим ко сну. Решили ждать возвращения Корольковой, а если ее не будет очень долго, попросить племянника попадьи, служившего в Москве, поискать влюбленных беглецов.

— Хорошо, если в Москве? А они, может, и в Америку заехали.

— Ну зачем же, голубушка, в Америку.

Со днями Анна Тимофеевна успокоилась и свыклась с мыслью об отлучке сына и его любви к развратной бабе. Только ночевать все больше ходила к Синицыной, — одной в пустом доме страшно.

Однажды Синицына прождала до полуночи, выпила уже чай и, решив, что Анна Тимофеевна не придет, закрыла дом и легла, немного обиженная ее невежливостью.

На рассвете ее разбудил стук в ставни. Сначала ленилась встать, но ей послышался голос Анны Тимофеевны. Тогда она поднялась и, вздыхая, раскрыла ставни.

— Матушка моя! Да что с вами?

Анна Тимофеевна, бледная, с будто выкатившимися глазами, стояла перед окном, в грязном и мокром платье, с листьями в волосах.

Синицына, правда, испугалась.

— А...леша.

— Что такое?

Анна Тимофеевна вдруг молча села на землю.

Синицына разбудила девку, побежала к фельдшеру, — Анну Тимофеевну внесли в дом и уложили в постель. Она все молчала.

— Ах, какой ужас... Ах, чаю горячего скорей.

Синицына разнервничалась и решила, что Анна Тимофеевна умирает...

Но Анна Тимофеевна чаю пить не стала, но вдруг поднялась на кровати и сказала:

— Пожалуйста, позовите отца Георгия.

— Вот, вот... я и сама думала... Сейчас пошлю.

Пришел священник, взволнованный, со Святыми Дарами.

— Что с вами, Анна Тимофеевна?.. Приобщиться, может быть, желаете?

Анна Тимофеевна опять бессильно упала на подушки.

— Ах, нет, батюшка... Я вам должна рассказать... Вот, я говорила вам, что Алеша... сынок мой... пропал... с барыней этой уехал. А нет... Алеша не уехал с ней... Нет.

Она замолчала.

— А что, весточку получили?

— Нет, батюшка... Какая весточка! Вот... Пошла я вчера в лес... за поляну, думала грибов набрать... для сушки, самое время теперь, грибов много. Пошла... Погода тихая, ветерок дует... Перешла поле, да в лес пошла... Все не вижу грибов... Так, попадались, конечно, только больше грузди или опенки... Я и иду все глубже да глубже... там, знаете, батюшка, у Кириллова родника грибы всегда... Уже и темнеть стало... Может, и заблудилась я, не знаю. Иду тропинкой, тихо, только сучья да листья хрустят под ногами. И вдруг слышу голос, да ясно так и близко:

— Мама...

Я и остановилась... Что такое? Вокруг никого... И такая тишина, батюшка, сделалась, даже

птицы умолкли. Ну, думаю, показалось... Иду дальше. Прошла несколько шагов и опять слышу... уже как будто дальше немного, впереди:

— Мама...

Так ясно и голос такой звонкий, — как же обмануться? Я испугалась-то и не знаю, что мне: назад бежать или спрятаться... Стою да крестное знамение и сотворила... Уже и темно совсем, деревья густые. И вдруг вижу, в чаще меж кустов светлеет будто, а голос и был оттуда. Свет белый такой, как снегом засыпанный. Сделала я шаг или два... и вижу... стоит на мху мой Алеша, руки на груди сложил и мне улыбается. Светло так вокруг него. А я и не знаю, как, и не удивилась совсем, смотрю на него и говорю:

— Алеша, а ты что здесь?

Вот как во сне. Он ничего не ответил, только пошел от меня, да будто и не по траве, а по воздуху, тихо, даже ногами не ступает совсем. И я тоже пошла за ним.

— Подожди, — говорю, — Алеша, пойдем вместе.

А он будто и не слышит, все дальше идет. Я хочу догнать его и никак не могу.

— Куда же, Алеша, — говорю, — ты ведешь меня?

А он молчит. Так шли мы, шли, я и не знаю сколько, и все светлей и светлей становится. Наконец, вижу я — полянка, маленькая такая, травкой покрыта, а посредине часовня деревянная. Алеша прямо и прошел туда, а меня словно кто держит, не могу. Сел Алеша на ступеньке, взглянул на меня и поклонился. А я тоже вдруг стала на колени и кланяюсь и все не понимаю, батюшка, где я. Алеша тут ручки поднял, да в колокол на часовенке и

ударил. Динь-бом, динь-бом. Колокол тонкий такой, а на весь лес будто слышно. И вот, батюшка, вдруг все сосны да дубы закачались так тихо и мерно, динь-бом, динь-бом звенит все, и лес весь светится. Даже в траве будто звон идет. Трава ведь в лесу нашем глубокая. И смотрю я, бегут из лесу звери разные, пушистые, темные, я таких и не видывала, и все к часовне, да медведь вдруг совсем около меня вышел, я вскрикнула со страху, вот, больше ничего и не помню. Будто потонуло все.

Ничего и не знаю, что со мной было. А только вот утром проснулась я и вижу, что лежу в лесу, на траве. Все березы вокруг. Светло так, тихо, а на душе у меня грустно и сладко. Встала я, оглянулась и вижу, батюшка, вижу, сидит под березкой мой Алеша в белой рубашечке чистой, перед Пасхой только сшила ему. Сухой такой, бледный, как воск, и ручками на груди крестик резной сжимает. Я к нему кинулась и гляжу, батюшка, он уже окоченел, высох весь будто, руки — так одни косточки. А глаза открыты и смотрят на меня. Я крикнула:

— Алеша! Алеша!

А он молчит. И вдруг такой на меня страх напал, бросилась я бежать, на знаю, как и добежала. Вот, батюшка...

Отец Георгий покачал головой.

— Странно что-то, голубушка...

— Вы поезжайте туда, батюшка, у Кириллина колодца, взгляните.

— Да я поеду.

Под вечер к домику Анны Тимофеевны привезли на телеге холодное и сухое, слегка позеленевшее тело Алеши.

МАРИЯ-АНТУАНЕТТА

Петроградский рассказ

1.

Дом Воробьевы купили небольшой, но теплый и приветливый. Он только прошлым летом был выстроен на новом участке и еще весело желтел палисадник, еще не окружили его со всех сторон соседские сараи и кухни. И с городом сообщение было удобное — на трамвае полчаса езды, не более. В городе жить хуже, да и квартиры не найти, а в Сосновке тишина и воздух будто деревенский. Приятно чувство, что все свое: этот балкон с широкой парусиной и круглые клумбы. Пахнет сыростью земля, и деревья, еще золотые и живые, качаются на ветерке. За садом переулок и поле, кочковатое и пустое. Когда все заметет снегом, будет еще лучше и тише.

По вечерам спускали на окнах только что повешенные портьеры и зажигали камин.

Трещали доски от ящиков, кольцами свертывались стружки, и все были довольны, что всю зиму проведут «на даче». Марья Константиновна даже решила журналы выписать. Она и теперь уже внимательно, как никогда, прочитывала всю газету — и хронику, и о причинах падения руб-

ля, а потом ведь, в декабре, вечера все длиннее будут. И никуда не поедешь из такой дали, ни в гости, ни в театр.

Только Лена грустила, что жениху ее надо будет вечерами рано уезжать, иначе на трамвай опоздает. Но зато она ходила его встречать в половине восьмого к остановке, на площадь, и затем они в темноте, по тонким тропинкам, шли домой и из шалости стучали иногда зонтиком в чужие окна.

Леонид Николаевич прижимал ее к себе.

— Милая, вы не простудитесь? Как у вас хорошо здесь... Мы тоже так будем жить, да?

— Да... Хорошо, только страшно немного.

Он смеялся и, сняв пенсне, слепыми глазами смотрел на нее. Лена знала, что он любит, чтобы она была беспомощная и пугливая, как ребенок.

Но по ночам, когда в саду скрипели на ветру ворота или слышался глухой чей-нибудь голос, Лена, правда, боялась. Каждый день случаются грабежи и убийства, могут и к ним забраться. Здесь такая глушь, даже городового нет.

Только старый Воробьев сердился, когда говорили о ворах. В глубине души, он считал даже неуважением к чину статского советника мысль о возможности грабежа у него. Это было бы слишком дерзко, и на такое дело не всякий решится. Он лениво зевал и говорил:

— Глупости! Эти господа знают, где деньгами пахнет... К нам не пойдут, незачем.

Незачем, конечно, а все-таки страшно. Лена с матерью вечером тайком осматривали сад и крепко, на два замка, затворяли двери и ворота. И когда, за низкими ставнями, вдруг тревожно и хрип-

ло лаяла собака, Лена с тоской вспоминала о пятом этаже на Можайской. Туда уж, если следить за дверьми, никто не заберется, и живешь, как в крепости. А здесь, эти деревья и пустое поле тревожат и пугают. Теперь так рано темнеет, и, кажется, за каждым кустом спрятался разбойник.

Конечно, страхи были легкие и шутливые. Но вскоре стали замечать, что, действительно, вокруг дома происходит что-то странное.

Первой оказалась кухарка. Она уверяла, что ясно видела, как под забором пробежал какой-то человек, и когда она окликнула его, он исчез. Марья Константиновна не обратила даже внимания на ее рассказ, — мало ли людей бегает под заборами? Но как-то к вечеру, возвращаясь домой, она ошиблась тропинкой и, проходя мимо чахлой рощи, вдруг где-то совсем близко услышала торопливый шепот.

— Ты здесь? Ты?..

Потом вспыхнул бледный огонь, и все смолкло.

Марья Константиновна вернулась встревоженная и рассказала мужу, что она видела. Решили известить околоточного, пусть он выяснит, что это за люди и огонь. Может быть, шпионы?

Воробьев не верил и пожимал плечами.

— Пустяки. Вы обе всего боитесь.

На ночь особенно старательно обошли сад. Леонид Николаевич, уезжая, решил пошутить и сказал:

— Тут вчера... дачу обокрали. Хозяина убили, кажется.

Лена чуть побледнела и коротко засмеялась.

Но на следующий день жених приехал раньше, чем всегда, и, будто за сигарой, пошел в кабинет к Воробьеву.

— Знаете, я, правда, удивляюсь... Это странно. Я вчера нарочно пошел той дорогой, что говорила Марья Константиновна. И под деревом, у ручейка... знаете?.. я увидел две тени. Теперь ведь лунные ночи, ясно видно... Женщина какая-то была... Они меня заметили и отошли... Это, конечно, не страшно, но все-таки... я думаю, тут притон какой-нибудь... Вы обратите внимание!..

Но дни проходили, и никто не приходил грабить зеленый домик, никто не забирался в сад. Даже забытое как-то на балконе осеннее пальто Марьи Константиновны пролежало всю ночь, и никто его не утащил.

Лена привыкла к пустым и грязным улицам и пустому полю. Возвращаясь из города, она надевала крепкие старые сапоги и шла гулять. Совсем выцвело небо, с высокими сонными облаками. Дальние трубы и лес терялись в голубом тумане. Уже по утрам лежал на домах и на мятой траве снег, и потом капало с крыш, — будто и весна. Только воздух был острый и жесткий, — уже не весенний.

2.

Лена шла и думала, — сама не знала о чем. Ей было хорошо и весело. К Новому году будет свадьба, в спальню надо будет обои, белые, с веночками наверху. Мама даст зеленую мебель. Леонид сказал вчера: «Я знаю, что это навсегда»... Что? Любовь? Странно, это — только боль какая-то и тревога. Ни минуты спокойной. Этот лесок и дом совсем, как в Парголове, только там колокольня налево и вокзал.

За низкими кустами лежало упавшее дерево. Маленькая серая птица прыгала по стволу и весело чирикала. Лена села на дерево и смотрела, как поднимается, тихо и прямо, дым из труб.

Сзади хрустнули сучья. Она обернулась.

Высокий господин в пальто с поднятым воротником и мягкой шляпе стоял и пристально смотрел на нее. Лена встала и, слегка испугавшись, хотела идти к дому.

Господин приподнял шляпу.

— Вы гуляете... здесь?

— Да...

Она покраснела и не хотела выдать испуга. Только с тоской оглянулась, — никого вокруг, лес и поле.

— А вы живете здесь? Простите... я вас испугал, кажется?

— Нет, отчего же...

Она взглянула на господина и вдруг рассмеялась. Как глупо, чего бояться, — он тоже гуляет. И такой вежливый.

— Знаете, здесь вообще страшно... не сейчас, конечно... Но вообще, говорят, какие-то люди бродят по ночам.

Господин слабо усмехнулся.

— Где? Я не знаю?

— Здесь, как раз... и дальше, в поле.

Лена подняла голову и концом зонтика сбивала редкие желтые листья.

— Подождите... вы не видите?.. сейчас... за вами... вы видите?

Она смотрела на кусты и слегка попятилась.

Там, в ветвях, в уже сгущающихся сумерках, вдруг вспыхнул мутный зеленоватый огонек.

Господин обернулся и покачал головой.

— Нет, вам показалось.

— Может быть... Я пойду домой. Как холодно сегодня.

Она сделала несколько шагов и опять остановилась.

— Смотрите, что это? Что?

Из-за кустов, будто из-под земли, показался человек, закутанный в плащ, и, увидев говоривших, исчез. Господин постоял минуту, будто в недоумении, и потом пошел к Лене.

— Я... ничего не видел.

Он тихо взял ее за руку.

— Я не знаю... человек какой-то... Я видела.

Она вздрогнула и хотела идти, но почувствовала, что незнакомец твердо держит ее руку в своих холодных пальцах.

— Что вы? Оставьте... Я пойду домой.

Он улыбнулся.

— Да? Подождите. Какой сегодня ясный и прозрачный день. Вы видите звезду над лесом? Скоро будет темно.

— Я не понимаю... Вы с ума сошли... оставьте мою руку.

Он вдруг бережно обнял Лену за плечи и наклонился к ней.

— Не надо... Я не сделаю вам зла... А вас здесь все равно никто не услышит... Вы не бойтесь, я не разбойник.

Лена тихо заплакала.

11 Зак. 3423

3.

Незнакомец медленно и твердо вел ее к кустам. У Лены не было силы сопротивляться, и она шла, покорно и растерянно, догадываясь, что сейчас, наверно, ее убьют. Как все странно, — все прошлое пролетает, — Москва, детство, золотое пенсне у Леонида Николаевича.

Под грудами веток и щебня было в земле широкое отверстие, будто вход в погреб или большую нору. Незнакомец взглянул на Лену и улыбнулся.

— Войдите... Это не страшно, правда.

И все не выпуская ее вздрагивающей руки, он потащил ее за собой. Она пронзительно закричала, но никто не ответил.

Сразу стало совсем темно. Лена поняла, что это она умерла уже, или все только снится ей. И по старой, еще институтской привычке она ущипнула себя, чтобы проснуться. Но ничего не изменилось. Она чувствовала под ногами твердую и гладкую почву, будто каменный пол. Пахло сыростью и гнилью. Она протянула свободную руку и поняла, что идет по узкому коридору, и стены, кажется, выложены кирпичом.

— Где мы?

— Ничего... Не бойтесь.

И голос был уже не такой, как прежде, а ласковый и мягкий. Ей все стало все равно. Только бы скорей, скорей.

Коридор все спускался, и, наконец, Лена и ее спутник остановились перед какой-то стеной.

Лена услышала несколько сложных ударов по деревянной двери, это — ее похититель подал какой-то знак. Дверь открылась и стало светло.

Низкий сводчатый зал был весь затянут зеленым сукном. По стенам горели восковые свечи, и в тишине пламя их стояло, как застывшее.

Узкие пустые диваны под стенами казались покрытыми старой и въевшейся пылью. У дверей сидел старик в черном глухом сюртуке и шарфе вокруг шеи.

Господин, приведший Лену, тихо сказал ему несколько слов и ушел обратно. Сторож добродушно и просто посмотрел на Лену.

— Пожалуйте, сударыня...

Лена стояла, прислонясь к стене, и хотела еще спросить старика, где она, но тяжелый и густой воздух подземелья, запах цветов и дыма одурманили ее. Она с тихим вздохом упала на диван и только успела сказать.

— Спасите меня... я умираю.

4.

Комната была маленькая и душная. У покрытого ковром низкого дивана стоял бронзовый кувшин с водой. В углу горела свеча.

Лена лежала несколько секунд без движения.

Потом она испуганно вскочила.

— Что вы? Вы должны быть спокойной.

Она обернулась. В полутемном углу сидел человек странно и причудливо одетый, с золотом на груди и на руках. Он тихо покачал головой и опять сказал:

— Вы должны быть спокойной. Здесь есть вода. Может быть, вы голодны?

Лена все молчала. Она узнала в покрытом золотом человеке того господина, которого встретила там, в роще, у гнилого пня, и который привел ее сюда.

— Вам никто не сделает зла. Я уйду теперь и оставлю вас. Позовите меня, если вам это будет надо. Меня зовут Альберт.

Он вышел и закрыл дверь.

Тогда началась для Лены томительная и грустная жизнь. Она лежала на ковре часами, днями и не знала, утро теперь или вечер. Она вспоминала, что ее, наверно, ищут по городу, Леонид Николаевич волнуется и недоумевает.

И, повернувшись к стене, она плакала от бессилия и отчаяния. Лена ничего не понимала, что с ней случилось. К ней входили люди, приносили пищу, странные кушанья на бронзовых блюдах — приносили воду, меняли свечи. Она их спрашивала, кто они и откуда, и ей отвечали короткими и простыми словами. Но Лена их не понимала. Иногда она слышала за стеной голоса веселые и возбужденные, иногда долетал смех и вскрики. Где-то очень далеко и глухо пели, и звенела легкая, нежная музыка. Лена засыпала, и ей снилось, что она дома и это у них танцуют. И какой смешной Леонид Николаевич, все не то делает, и руки у него висят беспомощно. Что? Нет, я не могу. Что?

— Вы не должны бояться.

Она открывала глаза. На темном диване сидел Альберт. Он редко приходил к ней, иногда в те часы, которые она считала ночью или еще глубоким утром. Его посещения были единственной отрадой для Лены, и когда он входил в низкую ком-

натку, Лене казалось, что сейчас он спасет ее и уведет опять в зеленую рощу, где чирикают воробьи и белеют далекие городские трубы.

Но Альберт только пристально и грустно смотрел на нее и говорил мало. Лишь один раз он пришел оживленный и будто усталый.

— Какая вы молодая... Вы были счастливы?

— Я не понимаю... Зачем вы меня держите?

Он сел и взял ее руку.

— Скоро все кончится. Скоро! У нас такие законы. Вы не понимаете, где вы? Все просто, совсем просто... Мы живем здесь всегда.

— Но... это подземелье какое-то?

— Под Петербургом люди живут очень давно. Это началось еще при Павле.

Альберт замолчал и скоро ушел. Через несколько часов он вернулся.

— Вам скучно? Вы ведь только четыре дня у нас.

Она робко спросила:

— А что будет... после?

Альберт будто не слышал ее.

— Никто не знает, что мы живем здесь... А этот дворец так давно устроен. Здесь так спокойно и так хорошо. Знаете, мы бываем... там, в городе, но живем здесь. Только раньше мы были вдалеке. Теперь город растет, все ближе. Это очень плохо.

Он помолчал. И вдруг встал.

— Как вы могли жить там? Этот шум... телефоны, извозчики... эта ваша грязь, и кривые вывески!.. Вам нравится, да? А я смеюсь... и я презираю. Здесь столько золота, что мы могли бы за-

лить им весь мир... Золото! Оно нам не нужно, но оно останется у нас. Лучше все разрушить... уничтожить, чем отдать.

Сто лет мы строили этот дворец, но разве теперь есть где-нибудь такая красота? О, они скажут — свобода и равенство — и братство, кажется? Знаете... с дней этого безумия в Париже... с дней Бастилии только мы помним, как надо жить... А другие? Что на вас надето, посмотрите, посмотрите, — он все еще зло и сухо смеялся и тянул Лену за рукав, — тряпки какие-то, вороньи перья? Бедная, какая вы бедная были... Вы думаете, это была жизнь? Вы, верно, стучали на машинке, или были классной дамой, да, да? И ходили обедать в кухмистерскую за полтинник, с чаем?

Лена покраснела.

— Я хотела поступить в кредитное общество.

— Да, — Альберт закрыл лицо руками, — этого ничем не удержать. Идите, идите в кредитное общество. Какая вы молодая. Вы очень красивая... Вы останетесь у нас, правда? Отсюда не возвращаются. У нас хорошо... Мне вас жаль... Я не имею права освободить вас, но мы пойдем... на прием к королеве. Хотите?

— К королеве?

— К Марии-Антуанетте... Да, вы думали, она умерла? Да... тогда в Париже? Encore un moment monsieur le bourreau. Ха-ха... королева здесь.... она всегда с нами.

Лена растерянно смотрела на говорившего. У него горели глаза и худые руки судорожно мяли бархатные портьеры.

5.

Лена одевалась при тусклом свете свечи и в зеркало смотрела на бледные свои плечи, так страшно выступившие из серебряных кружев и парчи. Ей только что принесли эти платья. Лена не знала, зачем ей камни и серебро, но ей нравился наряд, и она с тревогой и радостной дрожью оглядывала себя.

За стеной постучали.

— Вы готовы?

— Да.

В дверях стоял Альберт, в черном глухом плаще. Он молча смотрел на Лену.

— Вы любите розы? Я принес вам цветы. Возьмите их.

Он подал ей два длинных стебля и легкий черный плащ.

— Пойдем. Не бойтесь и верьте мне.

Лена закрылась плащом и вышла из комнаты. Ее охватил сырой и пронизывающий холод. Она была совсем слабая от тревоги и долгого заключения и, шатаясь, нашла руку Альберта.

Они пошли сначала узким коридором, где далеко одна от другой горели свечи, и в промежутках было совсем темно. Иногда они встречали людей, которые молча кланялись им. Потом поднялись по лестнице и снова спустились. За лестницей чернело пустое пространство, как пещера, и оттуда веяло холодом и журчал ручеек. Далеко во тьме горел, как звезда, высокий зеленый огонь и отражался в быстрой воде. Лена вспомнила, что в «Луна-парке» она видела такой грот и каталась

по узким каналам с Леонидом Николаевичем. Но ее уже не тронуло и не взволновало воспоминание.

Узкий мост вел через ущелье во вторую часть подземелья. Он будто висел в воздухе, легкий и весь белый. Высоко на плоских бронзовых кругах горели свечи.

В тишине, над свечами и темными потолками вдруг глухо что-то зазвенело. Лена вздрогнула.

— Это... трамвай?.. Да?

— Я не знаю... Не вспоминайте, не думайте... Вы слышите музыку?

— Да. Как здесь тихо и страшно...

Альберт слегка сжал ее руку. Она улыбнулась.

— Вас найдут здесь... когда-нибудь.

— Может быть... Я думаю, это последние годы. Но мы готовы всегда... и все.

— Как?

Альберт закрыл глаза и ничего не ответил. Они вошли в сводчатый зал, такой же, как первый, который видела Лена, и здесь оставили плащи. Потом перед ними раздвинули высокий зеленый занавес.

Лена и Альберт проходили по странным и сияющим залам, где на диванах сидели, и лежали на полу люди, в тяжелой парче и в шелку. С потолков спускались золотые, как кружево, люстры с тихими желтыми свечами. Иногда скрывались, будто за упавшими стенами, пустые дали и там снова лестницы, огни и люди. Где-то пели и иногда слабо вскрикивали.

В розовом, с прозрачными и светлыми стенами, зале лежали глубокие ковры и стояло несколько столов, покрытых золотом и розами. За столами

были мужчины и дамы, веселые, в падающих с плеч и груди одеждах и сияющих камнях. У огня кружились, тихо и нежно танцуя, совсем голые люди.

Лена видела стол, и золото на нем, и розы и не помнила, как она очутилась среди гостей, и рядом кто-то наклонился к ней, лил ей в стакан холодное, горькое вино. Она слышала смех вокруг и пение, и совсем близко ласковый и задыхающийся шепот.

— Вы рады? Вы останетесь?

Альберт держал ее слабые руки и целовал медленно и тяжело. Воздух был дымный и жаркий, далекие стены и люди казались совсем туманными. На диване, за гобеленом тонкий юноша целовал даму, ее голые плечи и грудь. Танцующие, тихо кружась, приближались к столу.

Из широкой двери вошла в зал женщина. Она не казалась очень молодой, но ее чуть увядающая красота была пленительна до крайности. Она вся была завернута в серебро и на лбу горел большой зеленый камень.

Женщина улыбалась, говорила что-то и высоко держала руки, которые целовали обступавшие ее кавалеры. Потом она подошла к столу и, будто изнемогая от смеха, упала на широкую спинку кресла.

Альберт встал.

— Королева...

— Что?

— Королева Мария-Антуанетта. Она прекрасна, правда? Вы счастливы, Елена?.. Вы рады?

Лена уже ничего не понимала. Ее отуманили этот блеск и веселье, ей было сладко и хорошо.

Кто-то целует ее плечи, дышит тяжело и жарко. И слова — разве раньше с ней говорили так?

Какая счастливая королева, какая она красивая. Это принц, верно, бледный и влюбленный, — он лег у ее ног и целует их. У королевы зубы блестят, как алмазы.

— Вы любите меня, Елена?

— Мне хорошо... да...

— Пейте вино... Это последние годы... последние дни... Мы будем счастливы, да?

Он низко наклонился к ней и смотрел в ее закрытые помутневшие глаза.

Вдалеке все расступились. Поднялся занавес. Потом зажегся беловатый огонь. Кто-то сказал:

— Рождение Венеры из пены!

И вдруг, среди этих вскриков и смеха, заглушая музыку, голоса, и стоны, раздался длинный, тревожный и пронзительный свист оттуда, из-за моста, с другой стороны подземелья. Поднялся короткий, судорожный крик, и потом все смолкло. Только свист еще летел по тихим залам, трепеща и падая.

Тогда произошло что-то жалкое и страшное: люди метались и падали, некоторые бились на полу, крича и плача, другие стояли безмолвно, с потухшими, остановившимися глазами. Бегали из одного зала в другой и гасили свечи. Кто-то кричал, повелительно и гневно:

— Своды, своды!..

Но голос терялся в рыданиях и стонах.

— Спасите королеву!

Лена все лежала на низком своем кресле и не понимала, что произошло. Она чувствовала только, что все гибнет и что кто-то целует ее, держит и обнимает.

— Ты любишь меня... да?

Она прошептала:

— Спасите меня... Альберт, спасите меня.

И тогда сильные руки подхватили ее и понесли через толпу и валявшиеся на полу тела. Последнее, что видела Лена, — это была королева Мария-Антуанетта. Она стояла, высоко вскинув тонкие руки, посреди лежащих у ее ног, стонущих и молящих людей. Лене показалось, что вокруг шеи королевы обвилась тонкая кровавая полоса. Может быть, это рубиновое ожерелье сияло еще при оставшихся трех свечах. Потом все погасло, и раздался оглушительный и страшный грохот.

6.

По городу ходили странные и смутные слухи о подземелье, найденном в Лесном. Предполагали, что там укрывался какой-нибудь тайный союз, революционный или немецкий. Наверно, его целью было взорвать Петроград. Другие уверяли, что когда полиция вошла в первый коридор, то еще ясно слышалось пение и звон колоколов. И только потом все было залито спущенной откуда-то водой и погребено под упавшими сводами.

Мечтатели и восторженные вспоминали римские катакомбы, думая, что и в Лесном подземелье обитали святые отшельники. Но определенного ничего не знали. Уже начали производить раскопки, и в грудах земли и камня находили — то золотой подсвечник, то кусок золота. Находили трупы и почерневшие тяжелые ткани. Но только

в передних частях подземелья можно было рыть и искать. Далее оно уходило под город, под дома и улицы, где раскопки были немыслимы.

У Воробьевых после нескольких дней тревог и отчаяния была радость. Ранним утром дворник с какой-то отдаленной улицы привез на извозчике Лену. Она была в крови, в каком-то грязном и оборванном платье, с камнями и ржавым золотом. Лена молчала и вздрагивала. Но она была жива и, кажется, даже здорова. Марья Константиновна, еще ничего не спрашивая и не узнавая, рыдая, обнимала ее. Дворник, привезший Лену, сказал, что ее нашли на окраине, у старого забора, лежавшей без памяти. Через несколько часов только она с трудом могла назвать улицу и дом, куда отвезли ее.

Лену вымыли и переодели. Кровь на лице оказалась легкой царапиной. Воробьевы бессвязно, радостно и растерянно расспрашивали, где она пропадала и что с ней было. Вызвали по телефону Леонида Николаевича.

Но Лена будто окаменела. Она молчала и смотрела тупыми глазами на окружающих. Она будто не слышала вопросов и слез и изредка только вздыхала и бормотала что-то. Марья Константиновна решила, что это — нервное потрясение. Иначе и быть не могло, — Бог знает ведь где она пропадала. Лену уложили в постель и позвали доктора. Но доктор сказал, что болезни нет никакой, есть, впрочем, глухие хрипы в правом легком, но это — остаток прошлогодней инфлуэнцы и не связан, вероятно, с общим состоянием барышни.

Леонид Николаевич волновался больше всех. Он не отходил от постели Лены, просил всех уйти

из комнаты, пробовал говорить с ней то нежно и тихо, то сердито. Но ничего не помогало. Лена лежала, повернувшись к стене. Раз только она приподнялась и сухо проговорила:

— Оставьте! Не все ли вам равно?!

Наконец Леониду Николаевичу пришла в голову мысль. Он смотрел на странное платье, в котором привезли Лену, грязное и порванное, но со следами роскоши, на Лену, вспомнил о подземелье, о глухих слухах, что все более и более волновали и захватывали город. Тогда он отозвал в самую отдаленную комнату обоих Воробьевых и закрыл двери.

— Я понял... все. Странно, мы не знали, что она принадлежала... к этой организации. Другого ничего быть не может. Но надо молчать... теперь надо молчать. Иначе мы ее погубим. Ведь вы знаете, там нашли... порох... и бумаги какие-то.

Марья Константиновна побледнела и без сил упала в кресло. Догадка Леонида Николаевича показалась ей так беспощадно ясной. Ведь Лена всегда была скрытной и увлекающейся.

Лену, наконец, оставили в покое. К вечеру она встала и пила чай со всеми, за круглым столом. Марья Константиновна смотрела на нее боязливо и вопросительно, старый Воробьев сердито пожимал плечами и ворчал. Лена слабо улыбалась, слушая рассказы и новости Леонида Николаевича. Он нарочно шумел, чтобы все было, как всегда.

Совсем рано, не допив чаю, Лена простилась и ушла к себе.

— Я так устала.

На следующий день было то же самое. Лена говорила только необходимое, здоровалась, отве-

чала, но было ясно, что мысли ее и воспоминания далеки. После обеда она ушла и вернулась к вечеру. Марья Константиновна робко спросила, где она была.

— Там. Мне надо было...

Так тянулись дни. Лена уходила из дому и бродила по городу. Она жадно ловила все, что слышала о подземелье, читала короткие и неясные заметки в газетах, подслушивала в трамваях. Она ходила к той роще, где встретила когда-то Альберта, но стражники остановили ее и не пустили ко входу в пещеру.

То, что так недавно еще казалось Лене милым и родным — грязь, вывески, шум, кривые шляпы и каблуки, — все теперь возмущало и томило ее. Она вспоминала Альберта, его слова и гнев, и думала его мыслями. Она закрывала глаза и видела розовые светлые стены, цветы, огни, и будто опять пила горькое вино, и опять кто-то целовал ее.

7.

Из окна трамвая Лена узнала вдруг эту наклоненную, седеющую голову и поднятый воротник. Она заметалась и выбежала на площадку. Но трамвай летел и спрыгнуть было нельзя. Лена видела, как седой господин вошел в подъезд невысокого красного дома.

Она бежала по улице, толкая прохожих, и останавливалась, задыхаясь. В подъезде уже никого не было. Лена крикнула швейцара, но не дозвалась его. Может быть, и не было в доме швейцара. Сто-

яли чахлые пыльные растения. Первая дверь — акционерное общество Варт. Нет, надо подняться выше. Лестница была старая, с высокими и тяжелыми ступенями. На порыжелой клеенке висела приколотая кнопкой визитная карточка: «Анна Степановна Пирожкова».

Лена постояла несколько мгновений в раздумьи, потом позвонила. Дверь сейчас же открылась. В маленькой передней, со шкафами и ситцевой занавеской, стоял еще в пальто Альберт.

Лена вскрикнула. Он будто совсем не удивился и наклонился к ней.

— Тише, тише!..

— Вы живы? Боже. Я ведь не знала... ничего.

Альберт опять, как тогда в роще, взял ее за руку. Они вошли в комнату с кривыми и плоскими тюлевыми гардинами.

— Зачем вы пришли сюда? Вы виноваты... Вы напрасно искали меня.

— Как?

Он не оборачиваясь подошел к окну.

— Я вас унес... тогда, помните?.. но я не мог вернуться. Все было кончено. И королева... ее тоже спасли. Это принц Луи. Зачем?.. Я не понимаю.

— А там... все погибло?

Альберт не отвечая покачал головой. Из-за стены послышался тонкий и капризный голос.

— Зачем вы ушли? Где вы?

Альберт растерянно поднял руки и исчез за дверьми. Лена слышала его ласковый и уговаривающий голос и чьи-то слезы и вздохи. Она тихо подкралась к двери и заглянула в соседнюю комнату.

На шаткой железной кровати сидела в теплом платке женщина. Прекрасное и бледное лицо ее было заплакано и чуть вспухло. Белокурые волосы сбились и висели на лбу.

Она заметила Лену и порывисто встала.

— Вы ко мне? Вы меня знаете?

Это была бледная королева Мария-Антуанетта.

Альберт бросился к Лене.

— Уйдите! Мари, успокойтесь... Вы мне верите? Мари...

Он почти со злобой толкнул Лену и через несколько секунд вышел к ней.

— Она больна... Она все ждет и плачет. Зачем ее спасли? Только скоро все кончится.

Лена торопливо простилась. Он чуть задержался в дверях.

— Простите. Мне теперь уж все, все равно. Но я должен жить, пока живет... она.

Лена вдруг заметила, что он совсем старый.

Она вернулась домой возбужденная и как-то неестественно веселая. Теперь Лена уже не молчала, но вдруг беспричинно и судорожно смеялась, рассказывала что-то и сердилась. Лишь по ночам иногда, во сне, она плакала и звала. Прибегала Марья Константиновна, будила ее. Лена вскакивала и испуганно оглядывалась.

— Нет, ничего, ничего... Какой шум, какой шум!

Леонид Николаевич решил, что ее надо развлечь. Надо уехать куда-нибудь, надо ходить в театр. Раньше ведь Лена хоть в городе бывала, а теперь она даже и в окно не смотрит, и все худеет и чахнет.

В один из вечеров он приехал и весело вошел к ней.

— Ну, что... милая... вы все скучаете? Не надо... Теперь такие дни... тепло и ясно!

Лена улыбнулась. Он продолжал.

— А знаете, у этого Васи... или Пети, что в бумажных цветах ходит и танцует на улице... помните, вы говорили про него?.. так у него конкурентка завелась.

Я не видел... мне Паша рассказал... сегодня на Посадской, видит, идет женщина какая-то... в проволочной короне, кричит... а за ней мальчишки. Потом толпа собралась. А она смеется, говорит, что она королева. Потом запела что-то. Больная, верно... К ней какой-то господин подбежал, хотел увести ее. Она отбивается, кричит, что это тюрьма, что ей голову отрубят... Их в участок забрали, а потом... Лена. Лена... что с вами... что?

Леонид Николаевич вскочил.

— Лена, что вы?.. Марья Константиновна!

Лена, совсем белая и дрожащая, смотрела на жениха. Вдруг она вскрикнула и стремительно, без пальто, без шляпы, бросилась в сад, открыла калитку и побежала к городу.

РАВНОДУШНАЯ ДАМА

Повесть

1.

— Вы меня очень обидели.

Это сказал Андрей Викторович. Потом долетел шепот, глухой и чуть хриплый:

— Но вы забываете. Я — невеста.

— Да?

Молчание.

Софья Павловна стояла под дверью кабинета и подслушивала. Вздрагивал тройной подбородок, и полные руки теребили зеленые плюшевые портьеры. О да, да, она не ошиблась, она недаром пошла послушать этот подозрительный разговор.

В передней хлопнула дверь, и было слышно, как Андрей Викторович торопливо вернулся к себе. Софья Павловна, чуть ступая и вытянув трубочкой губы, прокралась вдоль стены в столовую и села за кофе.

Обыкновенно супруги Барг пили утренний кофе вместе, и, если сказать правду, это нередко были единственные полчаса, которые они уделяли друг другу. Потому что, если бы вы когда-нибудь спросили Софью Павловну: «А не знаете ли вы, графиня, где Андрей Викторович, мне необходимо было

бы его видеть?» — то, спросив, увидели бы, как удивленно и презрительно пышная голова Софьи Павловны ушла бы в роскошные ее плечи.

— А я почем знаю? Разве он мне говорит?

Она сама тоже выезжала днем, но ведь на час, на два, после завтрака. И разве к ней звонили по телефону какие-то Петьковичи или Тютьковичи, — Бог их разберет. Впрочем, и Андрей Викторович иногда сидел целыми днями дома, но тогда не выходил из кабинета. А что он там делал, — сказать затруднительно. Никаких дел у графа Барга не было.

Лист «Нового Времени» лежал сырой и нетронутый. «С душевным прискорбием извещают родных и знакомых о последовавшей после...» Нет, «Наука о дыхании (учение Рамакришны)...»

Глаза Софьи Павловны, слегка заплывшие, но еще задорные и с эдаким огоньком, бесцельно скользили по строчкам, как и рука ее, вооруженная серебряной ложечкой, тщетно искала в чашке давно уже растаявший сахар.

Софья Павловна думала.

О, она все подозревала. Совсем непохожим на себя стал в последнее время граф.

То он будто и ласковее сделается и добрее (вот на прошлой неделе вдруг горжетку привез и на прибор утром положил. А горжетка дорогая, собольья), то еще рассеяннее и еще дальше.

— Я вот тебе хотела сказать...

— А?

— Знаешь, кашель у Шуры...

— А?

Софья Павловна сердито махала рукой и уходила.

Но теперь уж нельзя больше терпеть. В ее доме принимает каких-то швеек, да еще унижается перед ними, ласковые слова говорит. Это надо прекратить. Впрочем, Софью Павловну предупреждали, когда она выходила замуж, что граф, как еще совсем молодой человек, окажется ветреным супругом. Да, ветреный он и есть, конечно. Разве можно ничего целыми днями не делать, не служить? Все читают и все гуляют, но так ведь, в праздники, между делом. Софья Павловна давно лелеяла и теперь почти совсем уже осуществила план — склонить графа проводить несколько месяцев в году в его родном городе Симбирске. Можно там квартиру небольшую нанять, принимать. Софья Павловна была уверена, что граф увлечется земством, ну, или больницами городскими, и наверно его выберут в предводители дворянства. В Симбирске и жизнь дешевле, да и жалование ведь будут они получать. Андрей Викторович, кажется, и сам обрадовался таким перспективам. Но это политика, это — дела, а теперь есть что-то и поважнее. Оказывается, завелись и романы.

Свет, скупой и желтый, падал через легкий тюль. Над домами и низкой церковью висели клочки грязных и мокрых тучек.

Зажигать электричество графиня не хотела, — так все-таки день, и веселее. По коврам зашуршали шаги Андрея Викторовича. Софья Павловна завертела ложкой в полупустой чашке и лениво уставилась на газету.

— Передай мне сливки, пожалуйста.

Она, не поднимая глаз, взяла сливочник.

Мерно и важно тикали часы, хрустели сухари на зубах Андрея Викторовича, упала даже оброненная им ложка, — но Софья Павловна все читала газету. Наконец тяжелой белой рукой медленно потянулась к звонку.

— Клара, вы возьмите сегодня мою шляпу... в Пассаже.

И откинулась на кожаную спинку стула. Андрей Викторович спросил:

— Ты выйдешь сегодня?

— А что?

— Ничего. Погода скверная.

Графиня нервно постучала пальцами по подносу.

— Ты же не будешь сидеть дома? Что же, я пешком пойду?

— Пешком?

— Что с тобой?

— Что?

Нет, это невыносимо. Это или пренебрежение, или просто глупость какая-то.

— Вот, твоя посетительница... не побоялась видно... ножки простудить.

Андрей Викторович поднял голову и снял пенснэ.

Графиня плаксиво и вызывающе встретила его будто удивленный взгляд.

— Что такое?

— Да я говорю... особа эта. Знаешь, я удивляюсь... ведь даже на кухне... говорить будут.

Софья Павловна весь день потом думала об этом разговоре и пришла к самым печальным выводам. Господи, не первое же это ее объяснение с мужем,

не первая же сцена. Как она все это знала! Андрей Викторович сбивался и уступал, и она же еще подставляла ему в знак примирения свою пухлую руку.

— Ты обещаешь?

— Ах, Соня, это все твои нервы.

А тут? Андрей Викторович весь побледнел как-то и, пожав плечами, принялся ломать сухари.

— Есть вещи, о которых я не хочу, прежде всего, чтобы ты говорила.

Софья Павловна хотела остаться спокойной.

— Так и позаботься об этом, не води к себе... девиц. Я, кажется, тебя не стесняю.

И вдруг Андрей Викторович встал и подошел к окну (а за окном мелко-мелко — все видела Софья Павловна — падал грязненький, легкий дождичек и извозщик шлепал по лужам). — Знаешь, Соня, я хочу тебе сказать... знаешь, я думаю... нам надо развестись.

Одиннадцать лет! Одиннадцать лет любви (любви, кажется, и меньше), ну, дружбы, бесед, прогулок... ссор, молчания, — и вот все так легко у него и просто.

— Знаешь, Соня...

И голос не дрожит (о, как далек был тогда Андрей Викторович! чего бы голосу его дрожать?), и рукой водит по стеклу.

— Пожалуйста.

— Нет, ты не сердись. Я тебя хотел просить...

— А я всегда готова дать тебе развод. Пожалуйста.

Андрей Викторович сел на подоконник.

— Видишь, я скажу правду... я встретил одну девушку...

Как ракета вспыхнула графиня.

— Да? Я так и думала, что этим кончится.

— Что?

— Да вот, все эти... амурные вздохи.

Андрей Викторович поморщился.

— Какие? Как с тобой трудно говорить!

— Конечно, где же мне... Вот какая-нибудь швейка или кассирша...

— Отчего... кассирша?

Андрей Викторович обернулся удивленно и растерянно.

— Я не знаю. Но для этого надо быть... подлецом.

Графиня уже не могла сдержать себя. И выговорив слово «подлецом», она будто услышала сигнал к бешеной атаке. Напрасно пытался Андрей Викторович вставить слово и даже напрасно пытался сердиться на те эпитеты, которые находила графиня для его особы. Он, конечно, нарочно привел эту портнишонку к себе, чтобы подготовить Софью Павловну. Это забота о ее нервах. Но граф может не бояться, это не такой удар. Напротив, она сама давно думала о разводе. Ведь стыдно даже иметь такого мужа, бездельника и гуляку. Андрей Викторович, разводя руками, бегал по комнате. Ужас! И какие люди все горячие!

Наконец Софья Павловна после минутного затишья с покорным вздохом спросила:

— Кто она?

— Ты не знаешь... Марья Федоровна Драницына.

— Что же это? Пламенная страсть, конечно?

— Да, я ее люблю очень. Кажется, никогда еще...

Это и бестактно и невежливо, может быть. Обидна поздняя измена, но еще обиднее этот мелкий упрек на прошлое. Софья Павловна сжала губы и протянула:

— Я очень рада. Удивительно вы любвеобильные.

— Если это тебе тяжело...

Но графиня вскочила.

— Нет, нет, нет! Ты сказал, так пусть так и будет. — И потом вдруг взвизгнула и с плачем упала на низкое кресло. Она беспомощно махала перед собой руками, будто отбиваясь, и трясла головой. Даже папильотки (каждый вечер думала Софья Павловна: — «брошу папильотки, щипцами лучше») раскрутились, посыпались с головы и стыдливо скрылись под столом.

Андрей Викторович, взглянув на графиню и сообразив, что все равно ни до чего теперь не договоришься, бросил недопитый кофе и бормоча что-то — уж не проклятья ли? — выбежал в переднюю.

Быстро одевшись, он так хлопнул дверью, что весь дом затрясся. Затрясся и белоснежный подбородок Софьи Павловны.

Куда он пошел? Да, конечно, к ней. Теперь все ясно. Эти телефоны, письма, — все, все.

Софья Павловна лежала в кресле. Мысли, оборванные и горькие, проносились и возвращались, сбиваясь, кружась и теряясь. Что же? Развод? Нет, графиня знала, что разводу не быть, — слишком странно, слишком внезапно. Так, слезы, измены, потом молчание, объяснение, опять сцены — ну да, конечно. Так и будет. Так и будет. Но скучно все-таки, и обидно.

Так все в нашей жизни: человек идет по улице, а из-за угла — красный трамвай. Кончено. А чаще: пьет он чай и вдруг роняет стакан. А ведь мог же не разбить стакана, вот если бы придержал левой рукой, если бы не вскрикнула Марья Ивановна:

— Ах, как мне жарко!

А ведь могла бы Софья Павловна сегодня встать как всегда, поглядеть в окно, подставить свежую руку графу и потом сесть читать Меньшикова (замечательно интересно пишет). И дождь бы шел грязненький. А Клара чистила бы бриз-бизы. А тут вот вошел мальчик, легкий и бледный — поздно родился, долго, долго ждала его Софья Павловна.

— Шурик, ты папу видел сегодня?

Мальчик потянулся за бисквитом.

— Видел.

— А папа веселый?

— Веселый, веселый.

Софья Павловна попробовала улыбнуться.

— А мама?

— Веселая, веселая, веселая...

Софья Павловна встала и, подойдя к зеркалу, принялась разглядывать себя.

— Нет, мама не веселая.

Конечно, у глаз гусиные лапки, но глаза-то сами по себе еще прекрасные, и темные, и глубокие. Губы свежие, а нос — о, нос, это гордость Софьи Павловны, — крепкий и чуть вздернутый, очаровательный. Когда-то по утрам прихорашивалась графиня для мужа, выходила пышная и соблазнительная. А теперь не сто́ит.

Слегка согнувшись, вяло и тихо поплелась Софья Павловна в гостиную и облокотилась на рояль. Потом вдруг вскочила, будто вспомнив что-то, и побежала в кабинет графа.

Ключ налево, в коробочке для марок.

Вот, он не взял его, выбежал, забыл.

Софья Павловна рванула ящик и слегка вскрикнула.

Над бумагами, письмами, коробками какими-то, прямо и просто лежал женский портрет в чуть потертой бархатной лиловой рамке. За стеклом на портрете засохла веточка мелких лиловых цветов. Софья Павловна взяла рамку и, будто испытывая себя, опустила ее и медленно пошла к окну (светлее). Это она, конечно. Графиня смотрела на женщину худую и не очень красивую, с маленьким, почти безгубым, ртом и узким носом. Глаза обыкновенные, — глаза как глаза. Ничего ни глубокого, ни рокового. Только у переносицы, на лбу две тонкие складки давали этому лицу странное выражение боли и недоумения. А прическа? Совсем femme de chambre. Мелкие, мелкие завитки покрыли почти весь лоб, и без того, наверно, узкий и покатый.

2.

А дождь все не унимался, к вечеру еще хуже стал. И противный такой, будто порошок, липкий и холодный. Уже густой желтой пеленой покрылись тротуары и торцы, и во все стороны и направления отпечатались столичные резиновые галоши. Небо, — и не понять, где оно. Висит слякоть какая-то и плюется.

В серебряном поясе лихач уже заморил своего тяжело дышащего рысака, но господа попались настоящие, — валяй, не останавливайся.

— Слушай, Димка, довольно...

— Все равно... Вот по набережной катнем, да к ней.

Димка Катенев достал розовыми пальцами сигаретку.

— Откуда?

— Позен дал. Чорт, ломаная... Влетит за это! Ты был у Кости вчера? Дулись?

— Да, — Клейн зевнул и поднял воротник, — понимаешь... этот рыжий пристает, отдай деньги, говорит.

— Ну?

— Ну, в морду. А Верка даже серьги проиграла, плакала потом. Поедем, хочешь? Деньги есть?

— Деньги? Я Позена прижал... пятьдесят, — Димка торжествующе поднял два пальца. — Нет, ведь мы к Маше.

— Как хочешь. Ты, серьезно, женишься?

Димка, не отвечая, засвистел.

— У меня, понимаешь, голова болит. Сегодня не спал, вчера не спал.

— Ничего.

— Тебе ничего, а мне чего.

Толстый Клейн высунулся из-под крыши пролетки.

— Ну что ж, на Спасскую?

— Все равно.

— Затем только мне туда-то тащиться?

Димка улыбнулся и щелкнул.

— Надо. Ты ведь мой друг? Надо показать... Только ты смотри...

— Что?

— Так, держи фасон.

Лихач будто понял, что катанию конец, и еще наддал коню. Рысак хрипел и пугал возвращавшихся от всенощной старушек.

Катенев и Клейн молчали.

— Налево, у фонаря.

Димка вынул из черной кожаной куртки деньги и улыбаясь протянул кучеру.

— Будьте добры принять.

Лестница была тусклая и сырая. За клеенчатой дверью звякнул колокольчик.

Марья Федоровна сидела у окна в своей комнате и смотрела на желтые огоньки во дворе и в окнах. Шесть этажей, — одни над другими живут люди, смотрят на желтый огонь, скучают, любят. Внизу спустили портьеры. А под крышей и так хорошо, — пусть блестят на темном холодном стекле капельки.

— Дима, ты?

За стеной звонко ударились шпоры.

— Я, и Клейн со мной.

— А...

Она вышла в шелковом платке на плечах и протянула Клейну руку.

— Очень рада. Дима... Дмитрий Сергеевич говорил мне о вас.

Димка весело и по-детски приложил руку к фуражке и потом взял свою невесту за локти.

— Что, кукла, ждала?

Она нахмурилась (и губы сжала тонкие).

— Отстань. Пожалуйста... в гостиную. Сегодня холодно?

Клейн поправил галстух и, косясь на Димку, пошел.

Марья Федоровна села на диван и легким движением указала на кресло рядом.

— Вы знаете, у нас теперь такая неудобная квартира, мы переехали с мамашей осенью только, и так неудобно... из окон дует, и печи...

У плоской тюлевой занавески висела птица в клетке. Под ней чахли пыльные растения. Птица чирикнула по-воробьиному, встревоженная светом и голосом.

Клейн сидел молча, расставив ноги и согнувшись.

— Я была третьего дня в театре, в драматическом, на Фонтанке. Вы не видели — «Анна Ланская» пьеса называется. Страшно так... я во сне видела даже. Знаете, она его в ресторан приводит... будто для объяснения... а когда он спрашивает, как насчет векселей... и другое, она вдруг револьвер. И так все убрано, ковры... зеркала.

Марья Федоровна, бедная, видимо, очень старалась завести с товарищем жениха приличный и светский разговор, как говорят в благопристойных домах. Она давно уже сердилась на Димку. Все хорошо в свое время, он сорванец и буян — но надо и теперь уже думать, как все будет. Может быть, у них и приемные дни будут назначены в воскресенье, или еще лучше в будний день.

Но напрасно кивала Марья Федоровна головой, вспоминала, в каких она бывала кинематографах и как тепло было прошлой весной.

Клейн сидел и, глядя на красный протертый коврик, только сочувственно наклонял жирный пробор. Только при упоминании о Териоках он оживился и туманно стал объяснять, как надо отдавать теннисные мячи.

Но разве так беседуют в настоящих домах, где живут благородные люди? Разговор должен литься и пениться, чтобы и весело было в меру, и не очень тяжело. Хорошо бы чай выкатывать на колесах, и чашки надо будет купить — маленькие, с медальонами. У этого Димкиного товарища грязные руки, — это, правда, нехорошо.

Димка сидел в стороне, верхом на стуле. Ему вдруг стало обидно.

— Чего ты разошлась?

— Что?

— Для кого это ты изображаешь? Перед Володькой, да?

Марья Федоровна чуть побледнела.

— Вот, — она коротко засмеялась, — вы знаете, Дима всегда такой. Совсем дитя природы, как говорят, непосредственный... И вы знаете, я тогда два месяца жила в Финляндии...

Димка зевнул.

— Ты в Финля-а-а-ндии, а я в Лапландии.

— Дима!

— Ну что? Что, Володька не видит, что ты ломаешься?

— Я не ломаюсь, а разговариваю. Это ты, напротив, ведешь себя неделикатно.

Димка отвернулся и лениво сложил тонкие свои, розовые пальцы в неприличнейшую фигуру.

Марья Федоровна вскочила.

— Дрянь, дрянь! Подожди еще... ты думаешь, я постесняюсь. .

Димка спокойно вынул портсигар.

— Испугала! Володька, хочешь? Ты не смотри на нее, она у меня бодливая.

— Нет... — Марья Федоровна подошла к Клейну. — Вы видите? Вот он всегда такой. Ведь, правда же, это невозможно. Разве так можно?

Она села и опустила голову на руки.

— Кукла!

Молчание.

— Кукла!

— Ну?

— А я с Позеном помирился.

— Свинья! Еще рассказываешь.

Димка щелкнул.

— Сама свинья. Из-за тебя и ссорился.

Скрипнула дверь и, покачиваясь, выплыла острая желтая старушка. То есть старушкой Вера Филипповна казалась лишь с первого взгляда, — у нее и румянец еще играл на щеках. Только как на пружинах отскакивала и наклонялась маленькая головка с кусочками кружева (а под кружевом смешные прядки, редкие, и цыплячья кожа).

— Мари, как я этого не люблю... бранишься, будто прачка какая... И вы тоже, молодой человек, — она обернулась к Димке.

Димка неторопливо встал.

— Здравствуйте! Мой товарищ... Клейн.

Старуха покосилась неприветливо.

Вера Филипповна была дочь статского советника. Несчастные обстоятельства, страсть — что вспоминать? — давно уже побудили ее променять

благоустроенный и теплый родительский кров на жалование армейского штабс-капитана. Полк стоял в Казани. Было хорошо и любовно. Потом стало скучно. А как умер штабс-капитан Драницын, она перебралась с дочерью в столицу, где протекла юность и, казалось, жить легче и спокойнее. Но давно умер уже и родитель Веры Филипповны и помощи было ждать неоткуда. Сначала перебивались кое-как. Потом Марья Федоровна нашла по газетам место кассирши, в перчаточном магазине, на Литейном. Не любила госпожа Драницына вспоминать об этом — стыдно все-таки. Надо было дочь в гимназию отдать, она, может быть, и хорошей службой занялась бы. Теперь, конечно, поздно. Лучше замуж выйти. Но Вера Филипповна с негодованием думала о Димке Катеневе. Что это, правда, Мари собирается за него? Такой скверный мальчишка, грубиян, и за душой ни копейки, наверно. Стоило растить ее, заботиться (были заботы все-таки, были).

— Я вот заснуть хотела, да звонок услышала.

— Да!

Хорошо, пусть влюбилась в слюнявого мальчишку. Но отчего они сидят надутые? Господи, молодые ведь люди, — смейтесь, играйте, пойте! Нет, все скрывают что-то, устраивают, шепчутся.

Вера Филипповна удивлялась угрюмости молодежи, — ах, молодежь! — но сама была настроена ворчливо. И этот толстый еще, товарищ, — он зачем притаскался?

— Мари, ты бы разобрала ноты когда-нибудь... А что граф нас совсем забыл?

Марья Федоровна не двигалась.

— Он сегодня хотел зайти. Книгу обещал мне интересную.

— Вот. Ты мне и не скажешь никогда.

Димка ходил по комнате.

— Я ведь и не видел еще этого господина.

— Полюбуешься.

Вера Филипповна очень мечтала видеть свою дочь графиней. Странный «он», конечно, придурковатый будто, но граф настоящий и со средствами все-таки. Вечерами Вера Филипповна долго и тщетно описывала дочери, как хорошо быть аристократической дамой и приобрести в свете то положение, которым они теперь, по несчастному стечению обстоятельств, не пользуются.

— Граф чрезвычайно любезный человек... внимательный такой.

Димка шутливо погрозил невесте.

— Что вы, молодой человек, улыбаетесь, кажется?

(Димка все грозился, что за «молодого человека» назовет когда-нибудь госпожу Драницыну «старой жабой».)

— Ничего. Смеяться разрешается.

Тихая краска залила лицо, до самых седых височков.

— Если уж так смешно у нас, то... я удивляюсь.

— Мамаша...

— Оставь, Мари. Я давно замечаю... Это невежливо, наконец.

Димка подошел к Клейну, будто и не замечая обиженной мамаши.

— Поедем?

Клейн встал.

12 Зак. 3423

— Мама, вот ты всегда так, вы мне нарочно это!..

— Ах, Мари, как ты не понимаешь, что это неприлично? Ты совсем изменилась.

Марья Федоровна закрыла лицо платком.

— Не буду я графиней, не буду, не хочу. Оставьте меня.

— Попробуй, попробуй. Володька, едем?

— Что? — старуха растерялась, — чего ты плачешь? Опять я виновата, конечно. И не выходи, сиди, пожалуйста. Подумайте, нежность какая, — не тронь! А граф любезный человек, я все-таки скажу...

— А он богатый, его сиятельство?

Димка остановился и весело повернулся на каблуках.

— Ну, конечно... А впрочем, я ведь не знаю. Делайте, что хотите.

Димка подошел к пианино и рассеянно стал перебирать ноты. Худые плечи вздрагивали под лиловым платком.

«Ямщик, не гони лошадей.
Мне некуда больше спешить...»

Есть люди, которые очень любят ссориться и поскандалить, но сейчас же отступают перед чужой обидой. Это милые люди, их не надо бояться.

Вера Филипповна вернулась в гостиную, уже ласково и привычно улыбаясь.

— Пожалуйте, господа, к чаю.

Димка подошел к невесте и взял ее руки. Она еще сердилась.

— Что?

— Смотри у меня.

— Милый!

Димкин широкий рот блаженно открылся.

— Кукла!

Сели пить чай. Вера Филипповна рассказывала о своей молодости. Под зеленым стеклянным абажуром блестели тарелки, и только что успел Димка намазать кусочек хлеба, как в передней позвонили.

Это был граф Барг.

Он вошел торопливо и неловко и поцеловал руку Вере Филипповне. (Что же, — и Димка тоже целовал желтые морщинки, и Клейн поцеловал.)

— Простите, я вам помешал кажется... Такая погода, очень холодно... Я ехал с Васильевского острова... Вы хотели эту книгу, Марья Федоровна.

— Позвольте вас познакомить... Граф Барг, Дмитрий Сергеевич Катенев.

Андрей Викторович встретил светлый и наглый взгляд.

— А! Я... о вас слышал.

Димка молча улыбнулся.

— Мари, какая это книга?

— Лермонтова стихотворения.

— Неужели ты не читала? Я, бывало, так любила...

Андрей Викторович взял стакан чаю.

— Благодарю вас... я уже пил. Только так холодно... И извощики теперь совсем невозможные. Марья Федоровна, вы выходили сегодня?

Но она сидела, опустив голову, и перелистывала маленький, золотом обрезанный томик.

Андрей Викторович смотрел на Димку.

— Скажите, Дмитрий... Сергеевич, кажется? да?.. ваш отец... редактирует «Русское Небо»?

Димка чуть покраснел.

— Да-а.

— Вот, я хочу вас просить... мне надо было бы статью достать... Леговского, но это так трудно, я не помню года...

Он говорил и пристально смотрел на тонкого и спокойного мальчика. Неужели он? Почему он? Глаза кошачьи, хитрые. В Сибири, на рудниках такие глаза встречаются. Туда, в Сибирь, в рудники и смотрят они уже.

Марья Федоровна перелистывала на коленях золотую книжечку, слушая графа и редкие ответы Димки.

Через час Андрей Викторович шел уже по вечерним затихающим улицам. Дождь перестал, рвались серые тучки. Между ними стыдливо и тихо плыл вспухший белый месяц.

В душе графа Андрея Викторовича все спуталось, и сам он не понимал, что ему надо делать. Была любовь, и такая над всем сладость, и боль, над всем смятением, скукой и тревогой. Читатель, милый читатель, прилежный, хороший, умный. Были ведь и вы влюблены? Знаете ведь вы все, что о любви говорят, — поединок роковой и мост, весь в цветах и крови?

Знал все такие слова, и как умел разбираться во всех хитросплетениях Андрей Викторович.

— Да, любовь... есть жажда бессмертия!..

А теперь? О небо, небо, о трамвай, и звонки, и мальчишка с кульком, на подножке. Так тревожно и мучительно на сердце, сладко и тягостно...

Вот идут люди по улице, — все несчастные. Идут они и не знают, что на Литейном есть магазин, с фиалочками и кружевами в витрине. А на Спасской Димка сейчас пьет чай, вкусный, с медом. Или знают они? Да, война, война, обилье снарядов — залог победы. Но это потом, потом. Господа, не все ли равно, поединок роковой или цветущий мост?

— Граф...

Андрей Викторович слегка вскрикнул и оглянулся.

У белого высокого фонаря стоял Димка.

— А!..

— Да... я вышел тоже... Мне пора уже. Я хотел вам сказать, что «Русское Небо»...

Они пошли вместе.

3.

Это было через несколько дней. Андрей Викторович сидел за широким столом в кабинете и разбирал бумаги. У него все было разложено по цветным кожаным бумажникам, и они так и лежали один над другим, потертыми рядами. Письма старые, дневники, заметки, — начнешь перебирать и не кончишь. За каждой строчкой, за линялой сложенной бумажкой тянутся прошлые дни, а всегда жаль прошлых дней, какие бы они ни были. Любят люди умиляться над своей грустной жизнью.

— Здравствуйте, граф.

Димка весело стаскивал мягкую рыжую перчатку. С холода лицо его казалось еще нежнее и моложе.

Андрей Викторович медленно встал.

— Я получил ваше письмо.

— Да? Вы мне ведь звонили?

— Звонил, — граф задернул портьеры, — видите, это все так странно. Я удивляюсь вашей... решимости.

— Что?

— Может быть, так и надо... Я не знаю. Но ведь дело о любви и о счастии... о жизни.

Димка улыбнулся.

— А знаете, — Андрей Викторович взял его за руку, — я когда вас увидел, так будто и понял сразу, что так будет. Вы легкий человек... Вам, наверно, очень легко жить?

Димка мягко отнял руку.

— Граф, так вы принимаете мое предложение? Я для вас... Я вам искренно желаю удачи.

— Да я лично... Я вам страшно благодарен. Но мне... не совсем ясно... Марья Федоровна...

— Все будет так, как вы хотите.

— Я, кажется, делаю что-то... очень плохое?

— Но это между нами, граф?

. . . .

— О чем вы говорите?

— И еще, — Димка слабо усмехнулся — вы мне простите мое любопытство. Ведь вы, кажется, женаты?

— Да, конечно.

— Но... как же?

Андрей Викторович быстро заходил по комнате, вскидывая руки.

— Нет, это очень просто... Развод... Я развожусь... я уже обратился к поверенному (а в гостиной скрипнул вдруг стул и зашуршали два тяжелых шага. Потом опять все смолкло).

— Но ведь... Марья Федоровна не знает, кажется?

— Я не говорил, нет. Это усложняет будто. Я не знаю, я по глупости, просто не сказал. Беспричинно. Но ведь это все равно. Мы кончим очень быстро. (Тронулась зеленая портьера и даже приоткрылась будто.)

Димка сел на кожаный глубокий диван.

— Так.

Он ясно и спокойно смотрел на растерянного Андрея Викторовича.

— Ах, да... вы ждете. Я был бы рад, конечно. Только как же нам это сделать?

— У меня все готово. Вы подпишите. Вам не будет никаких хлопот.

Граф остановился, тихо покачал головой.

— Послушайте... сколько вам лет... Дима?

Димка улыбнулся.

— Девятнадцать.

— Но ведь это ужасно, на что вы решаетесь. Я тоже хорош... конечно.

Димка взял из бронзового бокала папироску и постучал по столу.

— Граф, я ничего не делаю плохого. Я деловой человек.

— Но ведь это касается... Марьи Федоровны.

— Да... Но я ведь еще не состою в обществе поощрения нравственности. И даже записываться в члены не собираюсь.

Андрей Викторович подошел к письменному столу.

— Но что же я подпишу, — он развел руки, — заранее?

— Вот, прочтите. Один экземпляр останется у вас.

Димка протянул маленький, вдвое сложенный листок.

— Нет, я не могу этого подписать... Не могу.

Димка встал.

— Мне очень жаль, граф, что я беспокоил вас. До свидания.

— Подождите... Разве вы уже уходите?

Димка молчал и холодно глядел в глаза Андрею Викторовичу.

— Вы думаете... я все-таки соглашусь?

— Я знаю...

Андрей Викторович опять прочел записку, подошел к окну, постоял и затем медленно подписал.

— Вот! Мне все равно.

Димка посмотрел подпись и спрятал листок в бумажник, а другой положил на стол.

— Но, я надеюсь, вы подождете... Я могу часть дать вам немедленно... то есть после... ну, вы понимаете?.. А остальное в феврале.

— Пожалуйста... В феврале, вы говорите?

— Да. Это странный у нас контракт.

Димка ласково улыбнулся и мотнул головой.

— Учитесь, граф. Так надо жить.

И сейчас же заторопился.

— Так до свидания. Я вам на этой неделе еще позвоню. Надо же будет условиться.

Андрей Викторович проводил его и в дверях слегка придержал за рукав.

— А вы... любите Марью Федоровну?

— Это, граф, дело постороннее. До свидания, благодарю вас.

4.

Софья Павловна уже несколько дней не выходила. Еще лежа в постели, распухшая и в «грустях», услышала она нетерпеливый звонок.

— Клара, кто это?

— Это к графу.

Всегда хочется покоя утром. Думаешь: ничего, — все устроится, конечно, все обойдется.

Но графиня встала все-таки и, надев широкие бархатные туфли, подошла к зеркалу.

Софья Павловна хранила самую печальную свою тайну, — она была ужасно некрасива, сама по себе, без кремов и пудры, без пышно взбитых локонов. Серая кожа над слоем мутного, вероятно, жира висела дрябло и вяло. Удивительные случаются метаморфозы. А вечером, в ложе, в огне люстр и камней, — сколько еще чар!

— Какая она еще интересная, графиня Барг.

Графиня подставила легкое полотенце под флакон с одеколоном, который привычно и безмолвно наклонила Клара. И лицо сразу посвежело и ожило.

— Пожалуйста, волосы, Клэр, поскорей, как-нибудь.

Софья Павловна накинула пеньюар и пошла в гостиную. За портьерой она услышала молодой и веселый голос. Это что-то новое. Еще вчера она нашла в корзине под столом мужа разорванное письмо. (Графиня в последнее время все обыскивала, осматривала, все слушала, — так хотелось

ей узнать правду о любовных предприятиях мужа.) Письмо было писано самим Андреем Викторовичем и, очевидно, не послано. Или возвращено ему? Графиня сложила некоторые лоскутки и прочла. Не все сходилось, не все можно было понять (почерк, почерк!), но главное: дорогая... и милая... все для вас... я для вас живу... И все такое дальше... А затем фраза: «...многое мешает... но все можно устранить». Устранить? Но кого же? Кто мешает счастью Андрея Викторовича? Графиня прослезилась от жалости к себе и пришла к страшной мысли, что самая жизнь ее в опасности и что она окружена злодеями.

А теперь эти слова графа о разводе — такие уверенные и спокойные. С кем он говорил? Софья Павловна знала же, что ни к какому поверенному граф не обращался. И откуда он найдет поверенного, Андрей Викторович? Он извощика найти не умеет. Да и согласия графини никто не спрашивал.

Софья Павловна плохо слышала, что происходило в кабинете. Но через полчаса Андрей Викторович ушел, и она нашла на его столе, между двумя чернильницами, записку. Незнакомой твердой рукой было написано, что граф Барг обязуется уплатить после своего бракосочетания с Марьей Федоровной Драницыной 5 (пять) тысяч рублей какому-то Катеневу.

Софья Павловна вскрикнула и побежала за разорванным мужниным письмом. Вот... «вы не понимаете... сердце моем... ах, — убить»... Это все теперь ясно. Он нанял «человека».

Губы затряслись, и уже дрожащие полные руки не могли больше сложить ни одной фразы.

Графиня закрыла глаза. Да, да... так к ней войдут... Андрей Викторович? Нет, не он, а... «сегодняшний». И с ним, может быть, эта баба? Задушат, наверно, задушат.

А что, если?..

Софья Павловна, как пантера, заметалась по комнате.

Что, если?.. Ведь все равно, — все потеряно... Какая же теперь жизнь, — страх только и скука. А ведь она достойна этого, подлая. (Графиня не видела никогда Марью Федоровну и не слыхала о ней ничего, но в низких свойствах ее души была совершенно убеждена.) Может быть, Андрея Викторовича?.. Нет, его жалко. Кричать будет, как заяц...

Она пошла к себе и вынула из комода маленький черный револьвер. (Очень боялась грабителей и воров графиня, с детства еще. Когда в деревне жила, колокол большой завела, чтобы в набат бить по мере надобности.) Вот так, — дым, и все кончено.

— Oui, je l'ai tuée.

Софья Павловна видела уже темную залу суда, жадную нарядную публику, и там, направо, судей — много, в золотых тяжелых цепях. И себя, всю в черном, спокойную и печальную.

— Я убила ее тело, она убила во мне душу.

Это все ужасно, конечно... Боже, кровь и все такое, скандал, история! В газетах напечатают. Ну, что же, — и пусть печатают. Перед Софьей Павловной соблазнительно замелькали уже тени славы и шума. М-м Кайо! Пошла и убила. И она была права, потому что убила негодяя. Жаль, войну

объявили, — ее сразу и забыли как-то. А все-таки Андрей Викторович не будет лизать ноги своей подруге.

Графиня пошла в гостиную и, став перед зеркалом, в халате и со спутавшимися волосами, подняла револьвер и тихо сказала:

— Я вас ненавижу.

Белый дым, — и вот...

Она боялась только, что никогда не решится сделать то, что задумала. Как же вдруг все разбить, — эту спокойную, все-таки, и такую ровную, милую жизнь. О, не верила, если правду сказать, не верила Софья Павловна, что ее задушат и что злоумышляет на нее супруг ее, тихий Андрей Викторович, Андрюша с колючей бородкой.

Она не знала, как, но смутно чувствовала, что все «образуется», и зачем ей вдруг стать убийцей! Глупо. Но хотелось переспорить себя. Иначе нельзя. Это решено. Убила же m-me Кайо.

Андрей Викторович вернулся домой к вечеру. Он вошел в будуар графини, мягкий, разнеженный, и сразу, очень спокойно, заговорил о разводе. Он объяснил, что хотел бы сделать все скорее и легче, и согласен на все, что пожелает Софья Павловна.

— Ты возьмешь Шурика?

Софья Павловна была озадачена. Но очень показалась подозрительной любезность мужа, и эти руки, почему-то еще в одной перчатке.

— Отчего ты так спешишь?

— Все равно. Скорей лучше...

— Да, но ведь можно... и иначе... устранить...

Андрей Викторович помолчал и рассеянно переспросил:

— Что?

— Я говорю, можно иначе... легче.

— Что? Я не понимаю.

— У... стра... нить.

Андрей Викторович обернулся и подумал, что графиня нездорова, — бледная, взволнованная такая. Он тихо подошел к ней и хотел взять за руку.

— Соня...

Но Софья Павловна, широко раскрыв глаза, попятилась к стене. И когда Андрей Викторович сделал еще шаг, она, взвизгнув, бросилась из комнаты. Андрей Викторович вышел за ней, недоумевая, что случилось. Графиня заперлась в своей спальне и судорожно повернула тройной замок.

5.

Граф сам боялся своей затеи. Только поддаваясь холодной уверенности Катенева и решился он. Андрей Викторович старался себя утешить, что он даже спасает Марью Федоровну от жалкой судьбы, что так и долг велит поступить.

Но утешения злей еще разжигали тревогу.

Димка два раза после встречи с графом был у Драницыных. Он казался печальным и озабоченным, отрывисто говорил о своих делах и вечером долго сидел в комнате невесты. Вера Филипповна уже собиралась спать и была очень недовольна, что ее задерживают. А оставить дочь совсем одну с Димкой она не хотела. И того довольно, что сидят запертые.

Вдруг дверь тихо застонала на петлях.

На пороге стояла бледная Марья Федоровна.

— Мне этого не надо... Слышишь, не надо.

Она шептала, будто задыхаясь. Димка поспешно простился.

Он зашел на телеграф и отправил себе на свой адрес телеграмму: «Приезжай. Дело проиграно. Надо видеть. Отец».

На следующий день Димка опять был у невесты. Он принес телеграмму — и был еще тише и нежнее.

К чаю Марья Федоровна вышла уже одна.

Она протянула руку за чаем и сказала:

— Мама, все равно... Я выйду замуж за графа.

6.

У Драницыных были гости. Вера Филипповна была чрезвычайно рада предстоящей свадьбе. Она давно уже опасалась, что дочь сделает неподходящую партию, приказчика найдет какого-нибудь, или околоточного. Благородного происхождения людей ведь она так мало встречала.

Но лучше всего, конечно, то, что отстал Димка. Помолвку Вера Филипповна решила обставить торжественно, чтобы и графу не было совестно. Оказалось только, что знакомых порядочных у них уже нет. Те, что бывали в доме отца, у статского советника, давно уже умерли или разучились ходить в гости. А новые, — какие же это новые? Люди без настоящего воспитания и светскости. Вера Филипповна очень огорчалась.

Уже на лестнице пахло керосином и салом. Чадила распахнутая кухонная дверь.

Андрей Викторович поднимался, и сердце его неспокойно билось и нерадостно.

В передней мелькнула голубая пышная барышня и, не обратив никакого внимания на графа, исчезла.

Он постоял у покривившегося под шапками и муфтами зеркала, прислушиваясь к шуму и голосам, и вошел.

Горели, как и всегда, две большие белые круглые лампы на стене, но казалось светлей от блестящих лиц и оживления. Зеленый в цветах ковер был скомкан в углу.

Граф заметил, что барышень больше, чем мужчин, и все они разноцветные. У одной на плече была приколота малиновая бархатная роза.

Играли, вероятно, в фанты.

— Жил-был у бабушки серенький козлик...

Девица в голубом платье, пробежавшая в передней, уже стояла посреди комнаты и пела.

— Нет, это скучно.

— Ты Китаянку спой.

Барышни смеялись.

— Душно... Прохладиться бы.

Торжественно как-то и лениво сидела под стеной в полосатой шали Марья Федоровна, следя за игрой. Она увидела графа и встала ему навстречу.

— Здравствуйте, милая.

Марья Федоровна благосклонно улыбнулась.

— Сколько у вас народу... я не знал. Какая вы красивая сегодня. А где ваша матушка?

Столовая для вечера была перемещена в спальню Веры Филипповны. В углу еще жался жестяной, помятый умывальник. И над ним большая белая птица с письмом в клюве сообщала любо-

пытным, что лучший шоколад у Жоржа Бормана. На столе, завернутые в бумагу и ленты, стояли белые цветы, и уже расставлялись тарелки.

Вера Филипповна буйно обвила шею графа, целуя его.

— Вы знаете, как я рада.

Он улыбнулся и еще раз наклонился к ее легкой руке.

Фанты продолжались. В столовую влетели две барышни, распространяя весенний запах ландыша.

— Маруся, у тебя нет звоночка?

— Стулья, господа, стулья!

Толкаясь и повизгивая, в гостиной собрали стулья в круг. Тоненький с бугреватым лицом чиновник в желтой почтовой тужурке очутился в середине. Он застенчиво оглянулся.

— У вас раут настоящий.

— Что? Господи, что это вы все удивляетесь.

Барышни в кругу, как стадо крикливых овец, жались одна к другой, меняя места и оставляя один стул пустым. Желтый чиновник, улыбаясь, вертелся, — он должен был изловчиться сесть.

— Ах, противный, руку раздавил.

— Чрезвычайно извиняюсь.

Андрей Викторович подошел посмотреть на веселую игру.

— Граф!

Марья Федоровна слегка подняла руку.

— Вы должны быть около меня.

Все стулья опять разлетелись, и зазвенело старенькое пианино с отставшей бронзой.

— Отчего вы не играете?

— Что вы! Разве мне можно?

Он улыбнулся.

— Какая вы милая... и смешная.

— Вот, вы все одно и то же говорите.

Он все улыбался.

— А что же мне говорить?

— Не знаю. Вам лучше знать.

Андрей Викторович тихо покраснел. Она была совсем права. Что говорить ей, и как? Один у себя, на улице, ночью, утром, днем — он говорил с ней вслух, долго и так ласково. А теперь, — все то же. Вы милая, — я знаю. Я люблю вас, — я знаю. Это мучение, а вспомнить погоду или платья какие-нибудь еще хуже. Никого погодой не обманешь.

Андрей Викторович вдруг заволновался.

— Вы правду сказали. Это очень странно, что я не нахожу о чем говорить с вами. Я всегда со всеми умею, и интересно. А ведь только вас я люблю.

— Это потому, что вы киснете.

— Ха-ха.. киснете. Придумали. Только иначе я не могу.

— Что?

— Вы понимаете... Как бы это сказать... понимаете, любовь меня расслабляет. Мне хочется только гладить ваши руки и молчать.

— Оставьте.

— Вы меня, вероятно, никогда не будете любить.

Она встала и, уходя, обернулась.

— Только не я в этом виновата.

Андрей Викторович остался один. Ему не было грустно, но хотелось выйти на улицу и смотреть на зеленые ясные звезды. Любовь все-таки большое счастье, даже безнадежная.

Гости, кажется, чувствовали уже близость ужина и не устраивали игр, будто боясь пропустить угощения. У пианино кто-то пробовал напевать. Раскрытый лежал на кресле тяжелый семейный альбом.

Все барышни очень похожи, если сразу взглянуть. Не сейчас заметишь, — вот морщины на лбу, или рот, уже опускающийся тонкими уголками. И в сущности совсем здесь не все такие веселые, особенно мужчины, даже желтый чиновник. Будто будут рады опять вернуться к себе и сесть на неубранной с утра постели.

— Она гордая стала теперь.

Кто? Андрей Викторович задумался. Неужели это про нее? Но в дверях уже качнулась наколка на седеньких редких волосах.

— Милости прошу, господа, чем Бог послал.

Что же, — пойдем ужинать. Андрей Викторович знал, что его посадят рядом с невестой, что будет торжество, слезы и все такое.

Стол был накрыт длинный и белый. Цветы, граненые графинчики под цветами и копченый сиг, еще томившийся на своей палке, всем должны были объяснить, что вечер это необыкновенный.

Шумно усаживались на концах стола, куда слабо падал свет низкой лампы, посмеивались и пищали.

— Граф, сардинку, пожалуйста... Очень свежие.

Угощала и радостно суетилась мамаша. Марья Федоровна сидела молча, кутаясь в полосатой шали и зевая, и только иногда улыбаясь толстой и жизнерадостной девице напротив. Девице было, кажется, очень жарко. Она все пила миндальную мутную водицу и обмахивалась веером.

— Ах, не могу больше... Этот Костя!

— Умора.

— Господа, передавайте, будьте добры... Здесь и не достать ничего. Пожалуйста...

Когда унесли сосиски в томате, Вера Филипповна, дрожа и покачиваясь, привстала. Вынула платочек и стерла две ровные слезинки. (И как это умеют старушки всегда вовремя заплакать.)

Барышни притихли. Только на конце стола шептались.

— Видите, я говорила... я говорила.

— Милые мои гости, я хочу поделиться (всхлип) с вами... моей... радостью.

Андрей Викторович обвел улыбающимся взглядом всех гостей. Удивлением и любопытством ответили. Он не слушал, как плакалась и говорила мамаша, но когда внезапно она кончила и, вытирая глаза, наклонилась обнять свою дочь, поднялся крик и загремели стулья.

— Графинюшка, поздравляю.

— Вот не ждала, такая партия.

И его поздравляли тоже.

— Позвольте пожелать вам, ваше сиятельство...

Зачем же сиятельство? Какие они смешные.

Андрей Викторович взглянул на свою невесту. Она оживилась и стояла будто и счастливая. Мамаша была совсем растрогана.

— Поцелуйтесь же, дети...

Граф наклонился и тронул губами холодную руку Марьи Федоровны.

Еще не смолкли поздравления, еще стучали и сталкивались стулья, а в передней коротко и тихо звякнул колокольчик. Пробежала, пробираясь между стеной и столом, растрепанная девка из кухни. Открылась входная дверь, выпуская на лестницу теплые пахучие пары.

Сколько раз потом вспоминал Андрей Викторович этот ужасный вечер, — никогда он не мог понять, как решилась графиня придти к Драницыной одна, и уж если решилась (а ведь можно было проще «устранить»), зачем так медлила? — Софья Павловна потом молчала и не объяснила ничего. Откуда она узнала, что у невесты вечер и «объявление»? Но, в сущности, это все равно.

Графиня решила с преступной и ужасной целью придти к Драницыным, и именно в самый торжественный вечер. Если быть m-me Кайо, так чтобы поживописнее все прошло, не как-нибудь. И время графиня выбрала к полуночи.

— Мари, кто это? Верно, Лизочка Шмидт?

Но уже в дверях стояла Софья Павловна.

Как во сне видишь вещи дивные и несбыточные и не удивляешься, так и не удивился Андрей Викторович. Он медленно поднялся.

— Зачем вы здесь?

Графиня, покрытая неровными багровыми пятнами, сделала два шага и остановилась.

Кто-то налево, за голубой барышней, сказал:

— Это сестра их, кажется... графиня.

Вера Филипповна покатилась навстречу.

— Сударыня, простите... не имея удовольствия... но если вы сестрица...

Графиня гневно сжала брови и протянула:

— Простите, я вас не знаю... Вас уже поздравили, Андрей Викторович!

Андрей Викторович качнулся вперед. Но бывает спокойствие, когда все безнадежно. Спокойно он ответил:

— Зачем вы здесь? Вы не должны мне мешать.

Неожиданная и пикантная сценка между сиятельным женихом и его гневной сестрицей возбудила в гостях самое явное и слегка злорадное любопытство. Вот и граф, — со скандальчиками.

Марья Федоровна молча и равнодушно смотрела на посетительницу.

Услышав слова Андрея Викторовича и его будто сломавшийся голос, она встала и пошла к графине.

— Вы сестра его? Я прошу вас...

Но Софья Павловна выпрямилась, как трагическая актриса перед монологом.

— Я с вами говорить не желаю.

Марья Федоровна улыбнулась.

— Отчего?

— Господа, кушайте... кушайте, пожалуйста. Это, я знаю... графиня, она пришла. Она должна была... хотите ветчины, Нина Валентиновна?

Но происшествие было любопытное. И мамашины старания плохо удавались. Все ждали, что будет.

— Отчего?

— Оттого, что вы... скверная женщина. Я не сестра Андрея Викторовича... я его жена.

Даже мамаша остолбенела с вилкой в воздухе.

— Что же это, батюшки?

И веселое смущение разлилось по всем лицам.

Против самого жениха молчаливый господин в красном галстухе, придавив указательными пальцами надутые щеки, испустил громкий и невежливый звук — что, вероятно, должно было наглядно изобразить историю бракосочетания Марьи Федоровны.

А она улыбнулась и слегка оперлась на стул.

— Ах, да?

И замолчала.

Софья Павловна, все больше багровея, вынула из гладкого ридикюля записку (граф узнал ее, — Димкина аккуратная записка) и бросила на стол.

— Вот, прочтите... Мне все равно... моя жизнь... покой...

Руки графини сильно вздрагивали. И не успела она закрыть мешочка, как оттуда скользнуло что-то серое и блестящее и тяжело ударилось об пол. Это был револьвер.

Графиня взглянула на него, вскрикнула и, зашатавшись, упала. Произошло смятение. Гости теснились взглянуть на заболевшую. С опаской подняли револьвер и положили на окно. Мамаша беспомощно бегала от одной двери к другой и звала запропастившуюся кухарку. Наконец, восемь рук обняли пышный и неподвижный стан Софьи Павловны и бережно понесли.

— В спальню, Николай Антонович, в спальню.

Оставшиеся тихо и насмешливо переговаривались, закусывая и стараясь скрыть свою веселость и несвоевременный аппетит.

— Полная какая!

— А что же она хотела?

— Револьвер...

— Господа, тишина, тишина... Медицина требует тишины.

Андрей Викторович видел, как невеста его еще стояла несколько времени, не двигаясь, и потом взяла записку и тихо ушла в дверь, куда пронесли графиню.

Он сел на стул и блаженно улыбнулся.

Андрей Викторович не был нервнобольным человеком, но очень сильно любил он ушедшую девушку.

Графиня уже стонала за тонкой перегородкой.

— Что это? Где я? Тюрьма?

Запахло валерьяном. Девка прибежала за лампой и оставила гостей в полутьме. Когда в столовую опять вошла совсем спокойная Марья Федоровна, некоторые из приглашенных на помолвку уже прощались.

— С пожеланием счастливого исхода.

Она удивилась.

— Что?

— Так, обстоятельства неприятные...

— Очень странное ваше замечание.

Андрей Викторович остановил ее в узком коридоре.

— Милая, милая!..

Он схватил ее руки.

— А? Что?

— Я сейчас не могу... объяснить. Ничего... после, после. Это все равно... Но вы должны мне верить, я вас так люблю... я вас так люблю... сейчас.

Она прислонилась к стене. Желтый свет кривой лампочки осветил лицо под густыми, нависшими волосами.

— Правда?

— Милая, я уеду сейчас, я вас прошу... только сделайте это... если можно. Я вас так люблю. Мне надо вас видеть... Приезжайте ко мне.

Она достала из-под пояса черные часики и стала медленно их заводить.

— Не знаю... Трудно это.

— Через час, через два... когда хотите... Да? Не надо домой, на Кабинетскую... да? Вы скажете вашей матушке, милая...

И вот, — забудет ли он когда-нибудь?

(Как все страшно и удивительно в жизни. Будто идешь по дощечке над рекой, а дощечка-то узкая и подгибается. Это, конечно, не относится к рассказу, да и выражено плохо — но слова не мои, а Андрея Викторовича, впоследствии. Впрочем, не совсем то сказал Андрей Викторович.)

Марья Федоровна улыбнулась и положила ему на плечо худые руки.

— Я очень несчастная, Андрей Викторович.

Граф вышел на темную лестницу. В углах фыркали кошки. Еще из окна увидел, что в огромной шубе дворник раскрыл железную калитку. Он спустился и стал в тени.

По двору, весело звеня шпорами, в белом башлыке шел Димка Катенев.

7.

У частых, гаснущих фонарей крутилась снежная пыль. Ветер обнажал запорошенные тротуары, и их вновь заметало.

Город еще тревожился под темным, невидным небом. На Невском много народу, и голоса крикливые и веселые. Трепетала длинная цепь фонарей, белела и тонула там, у Адмиралтейства.

Андрей Викторович вошел в квартиру (для литературного общества «Пегас» устроил он помещение). Ровные металлические лампы холодно

осветили комнату. Заблестели стекла и черные ряды книг за ними. Тишина была такая, как только в долго пустующих квартирах.

Андрей Викторович открыл буфетную и достал вино и сухие бисквиты. Больше ничего не было. Но ведь у Драницыных ужинали уже, — это так только, «нежность».

Половина второго. Через полчаса она должна приехать. Конечно, а может быть, и раньше.

Андрей Викторович лег на диван и стал ждать. Внизу, за окном, нередко звенели подковы и опять все стихало. Марья Федоровна возьмет извощика, конечно, и будет слышно, как она подъедет.

Читатель, вы, может быть, еще не знаете моего героя и недовольны, может быть? Вы, пожалуй, правы. Но что же делать? Если вы любили когда-нибудь, — но правда, но мучительно, — вспомните, читатель, как все было вам безразлично и смешно — то, что беспокоило раньше. (Ах, томление весны, ах, колокол тонкий и там, над крышами, розовые закатные корабли.)

Андрей Викторович лежал, не думал ничего и не понимал. Но странно, — сколько пролетает человек, не думая ничего, не помня.

Хлопнула дверь на лестнице, тяжело и гулко. Потом заскрипели усталые шаги, еще внизу, на первых ступенях. Андрей Викторович приподнялся. Грязные шаги, — это не она. Вот уже близко совсем здесь, потом опять глуше. Нет, это дальше, в третий этаж.

Милая, придите ко мне. Я так вас жду. Что у вас там, — гости, мамаша, фанты? Это не весело ведь. И со мной тоже скучно, но ведь я вас так

люблю. Это не «все равно» вам, — не может быть. Да, у вас Димка теперь. Милая, что вы говорили о несчастьи? Какое несчастье, где оно? Все будет счастье, только придите ко мне. Отчего вы на Димку так смотрите? Ах, милая, милая!

Едет извощик по улице, везет вас ко мне. Правда? Ничего, что Софья Павловна раскричалась и что она жена моя. Ведь вас я люблю, а остальное — пусть будет так, как было. Знаете, я раньше был очень глупый человек и о многом думал, о таком, что, правда, только скучно и грубо. Если и теперь вспомню и умилюсь, — то жалость во мне только, но не восторг.

Вот, уже два часа.

Андрей Викторович встал. Она должна сейчас приехать. Можно бы позвонить, где-то рядом есть у них телефон. Только поздно, неудобно вызывать. Конечно, поздно. Надо ждать терпеливо.

Раз, два, три, четыре... сосчитаю до пятисот и обратно. Наверно, приедет, пока кончится. Пять, шесть... Вот вы теперь у Владимирской церкви, правда? Вот Московская... триста семьдесят шесть, семьдесят семь, семьдесят восемь... дальше, дальше. Пятьсот и обратно, пожалуйста, без задержки. Пятьсот и обратно. Еще успеет доехать. Десять, девять, восемь... кончено. Четверть третьего. Нет, конечно, нельзя так скоро уехать. Там еще гости и мамаша бегает в кружевной наколке.

Надо ждать, только спокойно.

Опять лестница гулко распахнулась. Андрей Викторович побежал к входной двери и притворил ее. Внизу кто-то ворчал на швейцара. Зазвенел упавший ключ.

— Восемь гривен отдайте... Целый час жди вас.

Голос был низкий и злой. Нет. Это не она. Что же, — еще не поздно. Она сейчас приедет. Андрей Викторович повесил цепочку на двери и опять пошел к дивану.

Половина третьего. Еще пять минут только, — больше быть не может. Не может быть. Как радуешься всякому звуку в этой тишине. Слышно даже, как пыль садится на ковер и на стены. И часы в кармане тикают. А электричество то вспыхнет будто, то опять темнеет, — как страшно!

Ангел мой, друг мой, неужели вы не приедете?

Он встал и закрыл руками лицо.

Но, правда же, вы обещали? Нехорошо меня обманывать, не надо. Только вы, верно, не знаете, как я вас жду. Иначе вы были бы здесь, у меня, милая. О каком несчастьи вы говорили? Это, может быть, что Софья Павловна сердится? Ничего, пусть сердится. Как тихо на лестнице. Будто пронесли покойника. Вы замечали это, — когда все уйдут, и уже качается балдахин, и фонари. Милая, так мало дней у нас, и все мы теряем. Неужели вы не приедете? Я так боюсь. Дима, Дима, злой он у вас, хитрый. Что же, он бы к нам в гости ходил. Чай бы пили вместе. Вы, может быть, с ним приедете? Часики у вас черные, маленькие, — вы, верно, пружину им сломали. Так долго крутили. Совсем тихо, совсем.

Три часа.

Слава долготерпению Твоему, Господи!

Три часа. Ее нет и не будет. О, теперь это верно. Она не приедет. Там Софья Павловна, там ма-

маша и фанты, Димка. Я могу кричать от любви и от боли, — а вы, милая, ангел мой, вы не услышите. Мне так страшно, — не знаю чего.

(Андрей Викторович прочтя мои записки, сказал мне:

— Кажется, я вам этого никогда не рассказывал. Но я-то помню.

Бледнея, он плакал и вскрикивал.)

8.

Кондуктор прошел по вагону и зажег в фонарях толстые свечи. За окном уже темнело, и снег глубокой пеленой лежал на полях и мелькавших изредка крышах.

На полосатом розовом диване были разложены свертки с пирожками и ветчиной. Толстый голубоглазый мальчик пил из чашки холодный чай, расплескивая его на пол и к себе на колени.

Дама в фланелевом сером капоте, поправляя падавшие из жирных волос гребенки, копошилась в корзине с торчавшими пробками и цыплячьими жаренными ножками. Изредка она взглядывала на противоположный диван.

Там лежала в черном теплом платке женщина, и в тусклом свете свечи видны были ее горячие, чуть впалые щеки. У ног ее офицер рассеянно смотрел «Сатирикон».

Дама в капоте закрыла корзину.

— Вы далеко едете, спрошу?

— В Москву.

— А... А мне далеко, за Челябинск. С ребенком-то...

Опять тишина. Только глухо стучали колеса, отбивая короткие и быстрые удары. Поезд вошел в густой лес, и в вагоне стало еще темнее.

— Дима...

Дрожало желтое пламя свечи.

— Дима...

— А?

Димка положил журнал и обернулся.

— Сядь ко мне... ближе. Тебя встретят завтра?

— Не знаю.

Димка стал тихо напевать что-то.

— А мы в Москве ведь недолго будем? Я бы хотела еще поехать куда-нибудь... Или тебе нельзя?

— Нет, все равно.

— А знаешь... — Марья Федоровна поглядела на даму и шептала, держа Диму за плечо, — знаешь, эта графиня вчера тебя видела... Я ей рассказала про тебя... Мне бы в Казань хотелось, я уже давно собиралась.

Димка промолчал.

(Он не знал, зачем и в Москву-то путешествует. Первый раз в жизни попался в такое глупое дело. Как же было вчера ночью сказать, что и про отъезд он сочинил? Нет, и деньги нужны были, чтобы отцу помочь. Только для этого. Надо ехать. Впрочем, это даже и приятно — проехаться.)

— А я в Казани только весной была, — дама в сером капоте улыбнулась. — Хороший город. У меня там племянница замужем... мы из духовенства все...

— Да?

Марья Федоровна опять потянула Димку за плечо.

— Дима, я не понимаю все-таки... Зачем ты так сделал? Ведь я бы могла, может быть, достать тебе денег, если надо было... Ну, меньше немного, Дима...

— Оставь!

Он нахмурился.

В соседнем отделении шелестели газеты.

— Нет, видите ли, от сохи мужика брать не годится. Я сам помещиком был. При нашей промышленности...

— А как же на западе? Статистика доказывает обратное. Согласитесь, что даже умеренная работа...

— Дима, ты бы задернул фонарь. Прямо в глаза свет.

— А я читать хочу.

— Ну, все равно.

Димка сердился. Ему было стыдно все-таки своей обманутой невесты и скучна ее печаль. Было бы все как по маслу, а тут нет, — графиня явилась, взревновала. Золото какое, подумаешь. И что сказать в Москве завтра?

— Вот видишь, я ведь знала, что ты меня не любишь...

— Что?

— Я не думала, Дима...

— Ах, ты все свое... Брось... Надоело.

Он ясными глазами смотрел в окно и насвистывал.

— Я Андрею Викторовичу не сказала про... ребенка. Ну, теперь... и лучше.

Димка подошел к стеклу.

— Отчего?

— Теперь и не надо. А он хороший все-таки, граф, правда? Только хандрит что-то.

— С тобой пара. Как раз.

Марья Федоровна приподнялась и взглянула на Димку. Он хмуро притаптывал ногой.

— Дрянь!

(Попадья в капоте слегка вздрогнула. Хоть и шепотом, а слышно ведь.)

— Начни, начни только.

— А что ты думаешь?

— Ты, кукла, лежи да помалкивай.

Она улыбнулась и опять легла на мятую подушку, кутаясь в платок. Поезд шел через мост, и тихая стынущая река чернела и уходила по снегам к узкой заре.

— Знаешь, Дима, если мы в Казань поедем, я там, кажется, все узнаю. А ведь вот сколько... пятнадцать лет не была. Мы совсем на краю города жили. Вот так казармы налево, а тут сад был у моста, и наш дом. Голубой забор, еще пачкался всегда.

Пришел кондуктор поднимать диваны.

— Этот не надо пока... после...

Попадья развернула конверт с подушками и одну, в красных прошивках, положила наверх. Потом помогла взобраться туда своему молчаливому мальчику.

— И знаешь, мы там хорошо жили. Офицеры все бывали у нас, я-то маленькая была, играла больше. Очень я зиму любила и снег. Снега у нас много насыпало и рано. Казань ведь на севере, правда? Нам гору делали, высокую такую и крутую. Я с утра каталась, или снегом кидалась. Весе-

ло. У меня мальчик был знакомый, Володя, фельдфебеля сын. Он меньше меня был, так я его в снег зарою, совсем, пищит только. В лес зимой раз пошли. Страшно так было, может быть там и волки ходят. Снег скрипит под ногами, чистый, как сахар. Я очень все грустила, как мы в Петербург переехали... Плохой это город, Дима, правда? Так, не замечаешь только.

— Вот уж красивый город... чистый.

— Да, чистый, правда... У нас все грязь стояла по улицам.

Она подняла подушку и села.

— А мы где будем жить, Дима?

— На Цейлоне!.. Где же нам еще жить?

— Вот, с тобой и не поговоришь никогда. Нельзя же все паясничать.

— А тебе что надо? — Димка спустил окно и высунулся, — сейчас станция будет большая. Живи где хочешь.

— Надо было бы графу написать все-таки... Ты мне правду сказал?

— Еще что?

Она помолчала.

— Видишь, я хотела бы хорошо устроить все. Ужасно мы плохо жили, Дима. Надо спокойно жить, тихо... Если мальчик будет, я хочу Романом назвать... Хорошее имя.

— Ты Иваном лучше. Замеча-а-тельное имя, редкое... Чорт, забыл Володьке сказать про портупею.

— Портупею? А граф смешной, вчера растрогался. Только он ждал меня, верно, ночью, вчера... знаешь, я обещала приехать...

— Это зачем?

— Так, обещала. Его надо будет позвать к нам...

Марья Федоровна облокотилась на шаткий столик.

— Хорошо, хорошо, Дима... я все понимаю, милый, я понимаю. Только отчего же ты мне не сказал? У тебя все пустяки всегда... И ведь сейчас, — ты думаешь... я тебе верю? Дима, милый, ты не бросай меня, милый, не бросай.

Она тихо гладила его тонкие пальцы.

Поезд свистел и гремел, переходя на другие рельсы. В окна глядели и убегали большие изогнутые фонари.

Димка взял со стены фуражку и вышел.

— Любань, 10 минут.

В вагон вскочили носильщики, ища выходящих пассажиров. Пронесли коричневый чемодан в последнее купе.

Марья Федоровна смотрела в окно. Потом она встала и, не одеваясь, пошла к дверям.

Попадья приподняла голову.

— Вы выйдете, барышня?.. Тут молоко есть, вероятно. Купите, будьте добры, бутылочку... для ребенка-то. Я сейчас деньги...

У вагона стоял с сигареткой Димка. Бегали лакеи с подносами, и газетчик крикливо предлагал пестрые пыльные свои книги.

— Пойдем походить.

Вышли из-под навеса на открытые узкие мостки.

Здесь было тише. Тяжело пыхтел паровоз и сыпал искры.

За темным садом стелились низкие поля и кое-где желтели огоньки. Далеко, над тихим лесом, багровой узкой полосой стояла заря.

13 Зак. 3423

— Тут на тройке хорошо бы... с бубенцами.

Глухо донесся второй звонок.

— Пойдем... дай мне руку, Дима.

Димка катал комок чистого снега.

— Брось, надоел уже.

Она засмеялась.

— Знаешь, если мы женимся... надо будет лошадей завести.

Димка свистнул.

— Сейчас третий... иди. Еще лошадей...

— А что?

— И пешком хороша... Вот у Одуванчика лошади! Ураган!

Димка размахнулся и бросил в сад снежный комок.

Потом они нашли свое, полузавешенное уже, окно. Димка взялся за железные ручки и, не оборачиваясь, вспрыгнул в вагон. Поезд качнулся и застонал. Мария Федоровна, не двигаясь, стояла на платформе. Вдруг она быстро вскинула руки и, шатаясь, сошла с мостков.

На платформе закричали. Пронзительно и тревожно засвистел кондуктор. Уже сквозь толпу пробивался в красной фуражке начальник станции.

— Упала, где? Бросилась?

— Перерезало, должно...

— Жизнь наша-то!

Поезд тяжело стал. Димка соскочил с площадки и наклонился над черными, блестевшими под фонарем рельсами.

9.

Софья Павловна после своего неудачного ночного визита к Драницыным стала совсем робкой. Она испугалась своей решимости, скандала происшедшего и возможности суда.

Ведь улика была, — револьвер, ее могли бы и засудить. Только когда прошло несколько дней и ничего не менялось, не явился околоточный за ней, не рассказали ничего в газетах, в отделе происшествий, — графиня Барг слегка успокоилась. А в эти «несколько дней» случилось то, что сделало ненужным уже ее попытки и гневы. Умерла Марья Федоровна.

Теперь графиня не знала только, как ей возобновить отношения с мужем. Он все время молчал и почти не выходил из своего кабинета.

Софья Павловна чувствовала все-таки себя виноватой перед ним, — теперь, когда граф уже ничего у нее не просил.

Сегодня Андрей Викторович с утра ушел куда-то и вернулся только после завтрака. Он затворился в кабинете.

Графиня решила, что надо, наконец, выяснить положение. Она посмотрела в зеркало и, придав лицу своему грустное, однако и не слишком озабоченное, выражение, тихо тронула медную ручку двери.

— Можно?

В кабинете было полутемно. Спущенные легкие занавеси в лиловых складках задерживали свет. Андрей Викторович курил у письменного стола, слегка отодвинув кресло.

— Я хочу сказать тебе... у тебя тут офицер какой-то был.

Андрей Викторович казался спокойным.

— Кто?

Он сильно изменился в эти дни. Графиня почти с нежностью смотрела на слепые глаза и узкую, чуть серебрящуюся бородку. Неужели и виски уже седеют, — или это свет так ложится?

— Ты бы проветрил комнату. Здесь так жарко...

— Какой офицер?

— Я не знаю. Я вышла к нему... он сказал, что хотел тебя видеть... молодой совсем. Это, может быть, от дяди Миши?

Андрей Викторович встал.

— Оставьте меня. Оставьте меня все в покое.

— Господи, я же ничего... Даже войти нельзя.

Она подошла к окну и поправила стул. Потом подняла занавесь. Андрей Викторович, скучая, следил за ее торопливыми и неровными движениями. Прыгают руки, будто подушки, — даже кольца врезались.

— Знаешь, нам трудно будет все-таки... жить вместе.

— Как хочешь... Конечно...

Тихо опять всплывала обида, — не прежняя, с револьвером, но тревожная и жалостливая.

— Я, может быть, виновата перед тобой, Андрюша, но ведь... и ты. Впрочем, теперь я понимаю. Но согласись...

Андрей Викторович развел руками.

— Я соглашаюсь.

Графиня с недоумением посмотрела на него.

— Знаешь, Соня... я все-таки хочу жить. Ты понимаешь, сначала я думал, что не надо. Нет, надо. Так как же нам?

Он помолчал.

— Впрочем, мне все равно. И мне тоже «как хочешь». Но, понимаешь, мне... очень жаль, что это так.

Софья Павловна не любила томно-печальных разговоров. Конечно, в первые года супружества приходилось их поддерживать, для мужа, но и тогда кончалось головной болью и уксусными полотенцами.

— Увидим, со временем. Только я тебе советую, ты не оставайся один... Ты ведь не привык. Это всегда плохо отражается.

Граф ходил от окна к стене.

— Нет, я сейчас не могу. Ты бы лучше тоже оставила меня... «Увидим, со временем». И вот, я тебя попрошу... скажи, чтобы прапорщика этого, что сегодня был... молодого... его зовут Катенев, чтобы его не принимали.

Он подошел к жене и улыбнулся.

— Ты, понимаешь, Соня, что нам нужны мосты... только, когда есть... берега.

Софья Павловна вышла из кабинета довольная.

Граф почти такой, как был раньше, — рассеянный и даже нежный. Все наладится. Самое лучшее, это последние слова его, берега какие-то.

Если уже заговорил он, затуманил, путаясь и улыбаясь, значит, все не так еще страшно.

Андрей Викторович опять сел к столу. Он открыл ящик. Женский портрет в лиловой бархат-

ной раме еще лежал над бумагами. Граф взял его и поставил перед собой. Потом он достал кожаную тонкую тетрадь и задумался.

«Вот и сегодня пишу. Милая, знаете ли вы, что все время я жду этих бесед с вами. А где вы? Услышите ли? Вы должны знать, как я вас любил. Ужасно то, что мы ко всему привыкаем, и теперь мне не странна уже и не поразительна ваша смерть. Даже не возможна мысль о времени, когда я видел вас. Милая, как мне больно. Но, значит, на "другое" меня не хватает. Даже и на такой "подвиг".

Будет жизнь, — дождь, встречи, газеты, вечера, но в глубине всего я вас не забуду.

Если бы я думал еще о себе, мне тоже плакать бы надо, — опять домой, в болотце, поплавал и довольно. Assez! Нет, это все равно. Знаете, смерть страшна только в обстановке. Эти веночки и дьячок гнусавый. А внутренне она умилительна или скучна. А о любви и думать грустно. Не выйти ей никогда живой из лапок смерти. Это — только надежды, пасхальные "белые платьица, из которых скоро вырастают", в заутреню.

Только кажется, я уже "живу". Простите меня, милая. Неужели вы ни разу не вспомнили обо мне, уходя от меня? А Димку, — Димку ведь помнили».

ЖИЗЕЛЬ
Рассказ

Еще тусклее казалась позолота, еще бледнее был бархат лож от дымно-синего света за рампой. В зале было полутемно. Пахло пылью и духами. Изредка со сцены тянуло сыростью и холодом.

Изместьев пристально, не мигая, смотрел на полинялые декорации и на танцовщицу, которая как белое видение, с усталой, застывшей на лице улыбкой летала по сцене. Ее подхватывал и высоко поднимал на руках юноша, одетый средневековым принцем. На сцене было изображено кладбище. Танцовщица была тенью, вышедшей из могилы на свидание к жениху.

Тень исчезла. Над безутешным принцем опустился занавес, и зрители стали по тесным рядам пробираться к выходу, переговариваясь, отыскивая знакомых, на ходу аплодируя. Изместьева кто-то тронул веером.

Он обернулся. Это была Елена Дмитриевна Ольшевская, его невеста. Она сказала ему, улыбаясь и кутаясь в пушистый белый мех.

— Вы ведь к нам чай пить?

— Очень благодарен! С удовольствием.

Она ласково кивнула ему головой и, слегка подняв озябшие плечи, пошла к брату, ожидавшему ее у дверей с шубой.

Изместьев постоял еще несколько секунд, глядя на смуглую танцовщицу, низко приседавшую и все так же устало улыбавшуюся. Потом он оделся и вышел на площадь. Ольшевские жили на Офицерской, в двух шагах от театра, и надо было только перейти покрытую шумной расходящейся толпой и зазывающими извозчиками площадь.

За чаем говорили о балете. Елена Дмитриевна раскраснелась и была оживлена.

— Очень хорошо! Только больше я на «Жизель» не пойду. В театре все должно кончаться благополучно. И без того в жизни довольно грусти...

Она умолкла и отвернулась.

Ее брат звякнул под столом шпорами и, ломая кусочек сыра, рассеянно ответил:

— Да... и эта Урванцова всегда бледна, как смерть. Будто в муке ее вываляли.

— Что ты, она такая прелесть!

— Ну уж и прелесть... Одни кости да кожа! Вот Пальчинская — прелесть...

У стариков Ольшевских были гости. В соседней комнате звенели стаканами и громко смеялись. Шурша шелковым платьем и внося с собой запах сигаретного дыма, вошла Раиса Павловна.

— Володя, там не хватает четвертого, Проскурнин уезжает. Ты ведь в бридж играешь?

Офицер шутливо поморщился.

— Играю, но всегда проигрываю.

— Ничего, на папин счет... А, Юрий Николаевич! Простите, я с вами не поздоровалась. Как живете? Вы так молчаливы, что вас и не заметишь.

Когда она ушла, Елена Дмитриевна с чуть заметным раздражением сказала:

— Вы действительно сегодня все время молчите... Что с вами?

Изместьев слегка побледнел и улыбнулся.

— Нет, я думаю о том, отчего этого не бывает в жизни... и никогда не будет.

— Что?

— Вот, как в этом балете... как в «Жизели». Если бы знать, что после смерти можно будет явиться на землю и увидеть тех, кого любишь!

— А кто знает, может быть и можно... Ничего нельзя знать.

— Нет, это все выдумки... К сожалению, Жизель ко мне никогда не придет.

Елена Дмитриевна подавила зевок.

— Говорят, что если кому явится тень, тот сам скоро умрет... И еще дядя Леонид говорит, что все зависит от силы желания.

— Я очень сильно хочу этого.

Она покосилась на него.

— Что с вами сегодня?

— Нет, вы меня не поняли. Я не умереть хочу, а увидеть кого-нибудь... оттуда. Если кого-нибудь любишь...

Елена Дмитриевна перебила его.

— Знаете, бросим эти разговоры. Во-первых, вы мне всегда говорили, что никого не любили. А во-вторых... во-вторых, я как-нибудь надену маску, обернусь простыней и приду вас в полночь пугать. Пойдем к «большим», хотите?

— Нет, мне пора.

Елена Дмитриевна не стала его удерживать. Ей с каждым днем делалось все скучней бывать наедине с Изместьевым. Она не любила его и не

знала, о чем с ним говорить. Поэтому она была довольна, что осталась одна и что можно будет рано лечь спать. Ей хотелось завтра утром пойти на каток, и она знала, как приятно ощущать свежесть в теле после долгого и крепкого сна.

Изместьев жил на Петербургской стороне, недалеко от мечети. Была тихая темная ночь. С моря дул мягкий ветер, крутя около фонарей легкий, еще не улегшийся снег. Снегом слепило глаза. Изместьев вышел на набережную и решил дойти до дому пешком. Он был встревожен и грустен. Он видел, что не ладятся его дела с невестой, и не знал, как быть. Предчувствие каких-то бед владело им.

Набережная была пуста. На той стороне Невы светились окна, и вдалеке видны были очертания крепости. Небо казалось совершенно черным. Слышались далекие голоса, и где-то, будто придушенная коврами и портьерами звенела страстная, томящая и нежная музыка, то умолкая, то вновь доносясь с удвоенной силой. Изредка какой-нибудь швейцар безнадежно кричал:

— Изво-о-о-щик!

Изместьев шел, задумавшись и слегка опустив голову. Дойдя до Зимнего Дворца, он поднял воротник и спрятал озябшие руки в карманы. Становилось холодно. С крыш сметало мелкий и колкий снег. Изместьев пошел быстрее.

Вдруг кто-то коснулся его плеч. Он дрогнул и полузакрыл глаза. Ему казалось, что около него клубится легкое снежное облачко и обдает его холодом. Ему было страшно и хотелось громко вскрикнуть. Но в глубокой тишине он услышал слабый и вкрадчивый голос:

— Остановитесь, друг мой!..

Изместьев резко обернулся. В первое мгновение он подумал, что перед ним стоит решившая напугать его Елена Дмитриевна. Но в дрожащем свете фонаря он разглядел незнакомую, худую и очень бледную женщину. Она была одета в белое балетное платье, и ее открытые плечи и руки были запорошены снегом. Большие глаза смотрели ласково и испуганно.

Изместьев молчал. Изумление пересилило в нем страх. Женщина улыбнулась и сказала:

— Вы не узнаете меня?

— Нет...

— Ах, как я здесь давно не была, — она огляделась вокруг и помолчала, — лет двенадцать, как умерла... Помните Дашу... ягоды продавала вам, в Петергофе?.. Помните, барин, Нижний сад, музыку по воскресеньям, оранжевые закаты над морем... скамейку у бокового фонтана, вечером, в среду, 16-го июля?

Изместьев уронил перчатку в снег и беспомощно провел рукой по холодному лбу.

— Да... что-то помню... кажется, помню... Это вы?

— Я, я... Какая у вас память плохая. Мне даже обидно. Я ведь вас любила. А теперь меня зовут... Жизель, это для вас. Вам ведь это имя очень нравится.

Изместьев молчал.

— Я ведь и в эти юбочки, как в театре, оделась, чтобы лучше понравиться вам.. Я ведь знаю, что вы сегодня барышне вашей говорили.

Она вдруг тихо засмеялась и, еле касаясь земли, побежала вперед по снегу.

— Барин, догоните меня!..

Пробежала несколько шагов и, прислонившись к фонарю, ждала Изместьева.

— Устала... А вам ведь бедному домой-то далеко?..

Изместьев взял ее за руку. Рука была легкая и прозрачная.

— Жизель... я все-таки не понимаю, и, верно, сплю...

Она усмехнулась и порывисто вырвала руку.

— Ничуть не спите, все в действительности. Что вы такой задумчивый? Не рады видеть меня разве? А ведь сами хотели. Давайте еще побегаем, холодно что-то...

Она перебежала на другую сторону набережной и вдруг, легко вскочив на гранит, спрыгнула в снег, на реку.

Изместьев побежал за ней и перегнулся через гранит.

— Идите сюда, — звонко крикнула Жизель.

Изместьев, как в забытьи, стал на гранит и хотел спрыгнуть, но в то же мгновение почувствовал, что кто-то держит его в воздухе и тихо, то падая, то взлетая, несет через реку. Жизель прильнула к нему и близко заглянула в глаза:

— Хорошо вам, дружок?

— Да.

— Хотите домой?

Изместьев с недоумением услышал слово «домой». Он хотел сказать что-то необычное и восторженное. Страх прошел. Ему казался ни с чем не сравнимым наслаждением этот полет над застывшей белой рекой. Ему казалась обаятельной

красавицей легкая, почти бесплотная Жизель, и он с удивлением смотрел на ее худые руки и слегка развевающиеся по ветру черные волосы. Но коротко и рассеянно он ответил:

— Нет, зачем домой? Еще не поздно.

Жизель усмехнулась, и по лицу ее пробежала дрожь удовольствия.

— Тогда полетим далеко, хотите?

Она обвила руками его шею и тесно прижалась к нему.

— Хотите?

Они вдруг высоко взвились над городом. Было совсем темно. Огни Петербурга исчезли. Пахло водой и туманом. Иногда встречались облака. Иногда вспыхивали бесчисленные белые и синие звезды.

Изместьева охватило чувство безразличия, дремоты и блаженства. Ему хотелось целую вечность так лететь, все быстрее, быстрее и все дальше. Жизель судорожно прижималась к нему и гладила его волосы.

Она шептала:

— Милый, милый... Все будет хорошо. Мы будем счастливы, мы никогда не расстанемся... Только не покидай меня. Обещай мне не покидать меня... Я унесу тебя из этого холода, из тьмы... Милый, милый!..

Они неслись на огромной высоте, с головокружительной быстротой. Внизу мелькали освещенные города, темнели хребты гор. Иногда доносилось гудение ветра в лесах. Потом снова мелькали города. Вдруг вдалеке что-то забелело, широкой ослепительной полосой. Жизель, как птица, скользнула вниз и медленно понесла Изместьева над не-

знакомыми шумными широкими и сияющими улицами. Они летели так низко, что слышали гудки автомобилей и голоса.

— Ты знаешь, где мы?

— Нет.

— Это Париж!.. хочешь туда?

Она еще теснее сжала его и с тревогой смотрела в его глаза. Изместьеву все было безразлично. Ему хотелось только лететь и слушать Жизель. Он тихо, еле шевеля губами, проговорил:

— Нет, не хочу. Мимо. Все равно.

Жизель спокойно и с глубокой нежностью ответила:

— Милый, — и медленно поцеловала его.

Они опять взвились вверх и опять неслись в бесконечном и пустом небе. Вокруг их была полная тишина. Воздух становился все легче и разреженней. Но дышать им казалось сладко. Даже резкий холод был незаметен. Изместьев ни о чем не думал и смотрел на звезды, к которым несся.

Так прошло несколько часов. Жизель молчала. Наконец она еле слышно проговорила:

— Нет, не хочу. Мимо. Все равно.

— Оглянись!

Высоко в небе, как большая луна, висел плоский, широкий, светящийся желтоватым светом круг. Изместьев с усилием стал вглядываться и узнал в туманных пятнах его извилистые очертанья Европы и подвешенную к ней грузную, тяжелую Африку. Он слабо беззвучно вскрикнул:

— А!

— Это земля... далеко... на-все-гда...

Изместьев еще раз вскрикнул. Он видел, что лицо его спутницы становилось все бледнее, светлей и прозрачнее. Впереди была пустота. Ему смутно, как сквозь сон, вспомнилось: когда-то весной, в сырую пронзительно-холодную ночь, он стоял на берегу Атлантического океана, пахло дождем и жасмином, и перед ним тянулось серо-черное ровное, беспредельное, грозное пространство, такое же, как теперь, и так же вдалеке вспыхивали и гасли какие-то огни.

Это была его последняя мысль. Потом все померкло.

ОКОЧЕНЕВШИЙ МАЛЬЧИК

Был ясный морозный вечер. Звезды сияли. Голубоватый снег хрустел под ногами редких запоздавших прохожих. Улица уже опустела. Закрывались роскошные магазины, складывались скромные ларьки, каждый спешил к себе, чтобы дома в семье, у горящей теплыми желтыми огоньками елки встретить праздник.

У бедного мальчика не было дома. У него не было елки. Ему было холодно. С утра он бродил по чужому, шумному городу, заглядываясь на игрушки и сласти. Изнемогая от усталости, он остановился теперь у какого-то богатого особняка. В окнах был яркий свет. Нарядные, веселые дети крутились вокруг огромной елки. Доносились звуки музыки...

Бедный мальчик вздохнул и опустился на снег. Он не мог больше стоять. Мама, мама, где ты теперь? Вернись! У нас тоже будет елка, у нас тоже будет музыка! Ты видишь своего бедного, маленького Ваню? Мама!

Мальчику стало тепло. Он улыбался.

. . . .

Ну, конечно — читатель морщится, он ничего не понимает. Что за чепуха: Париж, тысяча девятьсот тридцатый год, и вот снова все тот же за-

мерзающий мальчик! Теперь люди перелетают океаны и собираются лететь на луну, теперь пьют коктейли и слушают песенки Мориса Шевалье, теперь каждые полчаса рождается что-нибудь новое и в следующие полчаса выходит из моды, послушайте, теперь — невозможен больше замерзающий мальчик. Редактор тоже говорит: «Напишите что-нибудь свежее, новое, что-нибудь такое острое, знаете...»

Я сел писать. Но от аэропланов и коктейлей, от Линдберга и Шевалье, от ритмов современности и темпов будущего я невольно вернулся в старую русскую глушь, к мальчику, окоченевшему на снегу. Читатель! Зачем себя обманывать? Не хочется ли и вам к нему вернуться? Если бы с годами и веками изменялось человеческое сердце, я бы не возражал: со всеми старыми сказками окончено. Но ничего внутри человека не изменилось. В новых словах все тот же смысл. Круг замыкается, и конец незаметно переходит в начало. Сейчас мы дожили до того, что слово «грезы», — которое ни один поэт не решился бы произнести еще лет десять тому назад, — стало самым свежим словом, самым «острым» даже. Может быть, еще не настала пора воскрешать замерзшего мальчика... Но если к Рождеству вам по-прежнему хочется прочесть что-нибудь грустное и наивное, светлое и жалобное, тревожное и успокаивающее, то зачем же все это перелицовывать и пытаться на какой-то новый лад рассказывать в сущности то же самое? Новое? Оставьте. Во-первых, никакой новизны не будет, если вместо польки и кадрилей дети за окном примутся плясать

фокстрот, и негр с саксофоном заменит тетушку Маню за пианино. Никакой! Во-вторых, никто новизны не хочет...

Это странное, упорное заблуждение — будто люди стремятся к новизне. Наоборот, люди любят повторения. Они любят узнавать то, что уже знают, их мозг любит дремоту и не хочет, чтобы ее нарушали. Им иногда бывает неловко в этом признаться. Они для виду ищут каких-нибудь «ритмов современности», чтобы не ударить лицом в грязь перед Петром Ивановичем или Анной Петровной, и с умилением слушают, смотрят и читают то, чего ни слушать, ни смотреть, ни читать не хотят, — а в душе у них тоска о привычном, о знакомом, о старом... Новое не лучше старого, не хуже его. Но оно требует усилия. А усилия человек боится. Что скрывать, ему нужен «сон золотой». Его душа устала, она хочет спать. Я не говорю, что это хорошо, я говорю только, что это так.

Раз в год, под Рождество, в вечер «святых грез», — как написано где-то у Короленко, — будем же откровенны. Скажем душе своей:

— Dors, dors, mon enfant!

Все проходит. Все возвращается. Все изменчиво. Все неизменно. Dors, mon enfant! Ни войны, ни аэропланов, ни Мориса Шевалье, ни негров, ни революций, ни саксофона, ни коктейлей, ни звуковых волн, ни биржевых крахов. Вспомним старый сон, печальный и очаровательный.

Был поздний вечер. Мороз становился все крепче. В темном небе сверкали миллионы звезд. Бедному мальчику было холодно.

ВЕЧЕР У АННЕНСКОГО

Отрывок

В Царское Село мы приехали с одним из поздних поездов. Падал и таял снег, все было черное и белое. Как всегда, в первую минуту удивила тишина и показался особенно чистым сырой, сладковатый воздух. Извощик не торопился. Город уже наполовину спал, и таинственнее, чем днем, была близость дворца: недоброе, неблагополучное что-то происходило в нем — или еще только готовилось — и город не обманывался, оберегая пока было можно свои предчувствия от остальной беспечной России. Царскоселы все были чуть-чуть посвященные и как будто связаны круговой порукой.

Кабинет Анненского находился рядом с передней. Ни один голос не долетал до нас, пока мы снимали пальто, приглаживали волосы, медлили войти. Казалось, Анненский у себя один. Гости, которых он ждал в этот вечер, и Гумилев, который должен был поэту нас представить, по-видимому, еще не пришли.

Дверь открылась. Все уже были в сборе. Но молчание продолжалось. Гумилев оглянулся и встал нам навстречу. Анненский с какой-то привычной,

механической и опустошенной любезностью, приветливо и небрежно, явно отсутствуя и высокомерно позволяя себе роскошь не считаться с появлением новых людей, — или понимая, что именно этим он сразу выдаст им «диплом равенства», — Анненский протянул нам руку.

Он уже не был молод. Что запоминается в человеке? Чаще всего глаза или голос. Мне запомнились гладкие тускло сиявшие в свете низкой лампы волосы. Анненский стоял в глубине комнаты, за столом, наклонив голову. Было жарко натоплено, пахло лилиями и пылью.

Как я потом узнал, молчание было вызвано тем, что Анненский только что прочел свои новые стихи.

«День был ранний и молочно-парный. Скоро в путь...»

Гости считали, что надо что-то сказать, и не находили нужных слов. Кроме того, каждый сознавал, что лучше, хотя бы для виду, задуматься на несколько минут и замечания свои сделать не сразу: им больше будет весу. С дивана в полутьме уже кто-то поднимался, уже повисал в воздухе какой-то витиеватый комплимент, уже благосклонно щурился поэт, давая понять, что ценит и удивлен и обезоружен глубиной анализа, — как вдруг Гумилев нетерпеливо перебил:

— Иннокентий Федорович, к кому обращены ваши стихи?

Анненский, все еще отсутствуя, улыбнулся.

— Вы задаете вопрос, на который сами же хотите ответить... Мы вас слушаем.

Гумилев сказал:

— Вы правы. У меня есть своя теория на этот счет. Я спросил вас, кому вы пишете стихи, не зная, думали ли вы об этом... Но мне кажется, вы их пишете самому себе. А еще можно писать стихи другим людям или Богу. Как письма.

Анненский внимательно посмотрел на него. Он уже был с нами.

— Я никогда об этом не думал.

— Это очень важное различие... Начинается со стиля, а дальше уходит в какие угодно глубины и высоты. Если себе, то в сущности ставишь только условные знаки, иероглифы: сам все разберу и пойму, знаете, будто в записной книжке. Пожалуй, и к Богу то же самое. Не совсем, впрочем. Но, если вы обращаетесь к людям, вам хочется, чтобы вас поняли, и тогда многим приходится жертвовать, многим из того, что лично дорого.

— А вы, Николай Степанович, к кому обращаетесь вы в своих стихах?

— К людям, конечно, — быстро ответил Гумилев.

Анненский помолчал.

— Но можно писать стихи и к Богу... по вашей терминологии... с почтительной просьбой вернуть их обратно, они всегда возвращаются, и они волшебнее тогда, чем другие... Как полагаете вы, Анна Андреевна? — вдруг с живостью обернулся он к женщине, сидевшей вдалеке в глубоком кресле и медленно перелистывавшей какой-то старинный альбом.

Та вздрогнула, будто испугавшись чего-то. Насмешливая и грустная улыбка была на лице ее. Женщина стала еще бледней, чем прежде, беспомощно подняла брови, поправила широкий шелковый платок, упавший с плеч.

— Не знаю.

Анненский покачал головой.

— Да, да... «есть мудрость в молчании», как говорят. Но лучше ей быть в слове. И она будет.

Разговор оборвался.

— Что же, попросим еще кого-нибудь прочесть нам стихи, — с прежней равнодушной любезностью проговорил поэт.

«ЛИТЕРАТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ»

Два молодых беллетриста, один юный поэт и один начинающий критик задумали совместно написать роман... Это не подражание крыловскому квартету и не фантазия: это действительно происходило на днях в Париже. Существуют же «литературные мастерские» в советской России, — что мешает им возникнуть и здесь? Итак, несколько молодых людей решили совместно написать роман. Цель у них была двойная: с одной стороны, им очень хотелось обогатиться, с другой — страстно хотелось прославиться.

— Сейчас публика жаждет хорошего романа, — сказал один из беллетристов, — издатели мечтают о хорошем романе. Но, понимаете ли, хорошем, увлекательном по содержанию, блестящем по форме.

— Я бы выразился... ударном романе, — задумчиво заметил критик.

— Ну, дорогой, вы видно начитались советских журналов! Наша публика прежде всего требует, чтобы никаких таких словечек и в помине не было, и чтобы ять с твердым знаком стояли на своих местах. Это программа минимум. Еще — чтобы ро-

ман был без комсомольцев и колхозов. Надо что-нибудь нежное, романтическое... лунный вечер, она, невинная девушка, он, влюбленный юноша. Надо что-нибудь оригинальное. Начать лучше всего с лунного вечера.

Поспорили, потолковали, согласились, что необходим весенний лунный вечер. К следующему собранию было приготовлено несколько вариантов:

«В этот вечер я долго сидел у раскрытого окна, и вместе с опьяняющим ароматом расцветающих роз неслись ко мне из притихшего, будто обвороженного сада, трели и цоканье соловья, певшего как тысячу лет тому назад все ту же вечную песнь любви. Боже, как трепетало мое сердце, преисполненное тем же невыразимым, беспричинным и благодарным блаженством, которым объят был и этот сад...»

— Довольно, довольно, — остановили чтеца. — Это ведь Бунин.

— И притом это плохой Бунин. Бунин пишет несравненно лучше.

— Да, конечно, Бунин пишет лучше. Это, собственно говоря, не Бунин, а... ну, все равно, кто это. Но дело в том, что все решат, что мы подражаем Бунину. У Бунина на соловья монополия есть.

Дальше, другой вариант!

«Если иногда, в те отдаленные, далеко отодвинутые года, когда я еще был ребенком, весна и луна производили на меня всегда впечатление, которое я тогда, будучи еще лишен изощрившейся впоследствии восприимчивости, не способен был отчетливо понять, то теперь, когда я узнал и по-

нял то, что она иногда, как кажется мне, в себе заключает то, что именно в такой лунный вечер представляется мне как-то волшебно, двойственно и в то же самое время сравнительно отчетливо отраженным, и даже может быть запечатленным с той силой, которую я только впоследствии действительно в состоянии буду (или был) уловить, причем вид этих залитых каким-то молочным светом невысоких клумб все же слабо волновал меня, но я все же и тогда замечал, что это не природа, которую я с детства...»

— Отлично, — зажмурившись, сказал критик. — Отлично! Это как раз то, что нужно. Это продолжает линию Пруста.

Но последователь Бунина запротестовал.

— Линия Пруста? Да ведь вашего Пруста и в подлиннике почти никто не осилил, а эта смесь французского с нижегородским, — да кому она нужна? Хвалить в газетах нас, быть может, будут. Но читать — не станет никто.

— Господа, сейчас говорят о возрождении символизма. У нас есть еще такой вариант.

«И был вечер. Кто-то зажал в небе плоский, белый круг. И тоска, охватившая землю, всходила к нему. Был человек, и была луна. Ничего больше в мире не было, кроме человека и луны.

Кто-то сидел у окна и думал: я владею землей, ибо я человек. И молочно-хрустально-звонкие лучи скользили по лицу сидевшего...»

— Что вы об этом думаете?

— Я думаю, что есть вещи, которые никак не возродишь.

Все варианты были отвергнуты. Тогда автор будущего романа решил спросить одного умного человека, рядового читателя, который сам никогда не написал ни строчки, — какое описание лунного весеннего вечера больше всего пришлось бы ему по сердцу? Тот помолчал и ответил:

— «Был лунный весенний вечер». Больше ничего не надо.

— Вы шутите.

— Нет, я говорю совершенно серьезно.

РАМОН ОРТИС

Ему было двадцать девять лет. Его звали Рамон Ортис Менендес. Он был аргентинец.

Если бы существовали какие-нибудь лучи, которые позволяли бы узнать состав воздуха, не кислород и водород, а исходящие от человеческих страстей и бездомно носящиеся, бесплотные, тоскующие частицы, вдруг меняющие наше настроение, вдруг заставляющие нас решаться на то, что еще полминуты назад казалось безумием, вызывающие вообще всякие «вдруг», если бы существовали такие лучи, интересно было бы разложить воздух игорного дома. Не нового, конечно, где еще ничего не успело задержаться. А такого, как был этот, с тяжелым и роскошным, пыльным желто-розовым штофом на окнах, с лоснящимся бархатом и дубовой резьбой кресел, которые сорок уже лет отодвигает и придвигает к столу, к людям, к катастрофам, к нежданным удачам и прочему, прочему аккуратно выбритый старичок, ни за чем уже не следящий, кроме часовой стрелки, избавительницы от трудов. Чем насыщен здесь воздух? За полвека что вообще впитал в себя этот розово-желтый шелк, и что окутывает здесь человека?

Рамон Ортис вошел в зал бодро, даже весело. Он уже три недели жил на юге Франции и бодрость не оставляла его здесь. После унизительных и трудных расчетов там, дома, и после сомнений о будущем, которое он плохо представлял себе, Рамон Ортис здесь мало-помалу оправился, принимая окружающую его профессионально-льстивую механическую угодливость за уважение, чувствуя, что ошибается, и все-таки наслаждаясь. Он купил себе как-то два галстуха, и на вопрос приказчика, возьмет ли он их с собой или прикажет прислать, ответил сам не зная почему:

— Да, пришлите.

И давая адрес, назвал себя бароном. Отель такой-то, барону такому-то. Потом сообразил, что может произойти недоразумение, пробормотал что-то и положил покупку в карман. Но то, как пожилой, полный приказчик, глядя ему в глаза, подал пакет со словами: «Пожалуйста, господин барон», — и затем бесшумно, торопливыми шажками побежал к двери, чтобы успеть ее открыть, и поклон в дверях — все это его восхитило. Он решил, что и впредь можно будет иногда называть себя бароном. Рамон Ортис был пустой молодой человек. Но хуже всего было то, что у него было мало денег. Оставалось еще тысяч двадцать, но надолго ли могло их хватить? И не его это были деньги. Домой вернуться нельзя, да и не к чему, надо устраиваться здесь.

Еще накануне утром Рамон Ортис решил, что это был последний день праздности. Не решил, — пожалуй, иначе. Он ходил по сияющей набережной, посвистывал, посматривал на прохожих и ду-

мал, что надо будет сегодня же, после завтрака, сесть за стол, взять карандаш и составить план, как и к кому обратиться. Главное — не спеша обсудить все, как следует. Отцу писать не стоит, он не ответит, но дядя может все-таки дать рекомендацию в Париж, если хорошо его попросить. Рамон Ортис уже видел себя в дорожном сером пальто, с легким чемоданчиком в руке. Он выходит из автомобиля, любезно улыбается и предлагает новую, особенную мазь для чистки ремней, или другое что-нибудь. Сколько? На пробу дайте сто банок. Сто банок, ему остается по франку с банки, сто франков. Если несколько клиентов в день, все и устроено. Скучно — женщины — если бы приехала Анна в белом своем платьице... Все устроится. Но надо начать сегодня же, дальше так продолжать нельзя.

Рамон Ортис бывал в казино почти каждый вечер. Он не играл, а только смотрел на игру — мысленно ставя на карты, мысленно теряя и обогащаясь. Играть ему очень хотелось, но страшновато было начать, и казалось, все на него обратят внимание, если он спросит карту. Однажды на столе недоставало пятидесяти франков. Крупье вопросительно взглянул на него: «Пятьдесят франков?» Рамон Ортис схватился за бумажник, но увидев тут же, что чья-то пятидесятифранковая бумажка уже легла на стол, смутился и продолжал держать руку под пиджаком на левом боку, притворяясь, что у него колет в сердце, и морщась. Сегодня Рамон Ортис решил играть — и выиграть. Немного, пятьсот франков самое большее, и затем ходить сюда каждый вечер, как на службу. Он знал в лицо нескольких игроков, которые выигрывали

ежедневно, — именно так, понемногу, но постоянно и безошибочно. Это совсем не трудно, нужна только выдержка. Вчерашние расчеты не удались, хотелось после завтрака спать, писем Рамон Ортис не написал, и в сущности не имело смысла приступать к такому важному делу как раз в тот день, когда болит голова и хочется спать, лучше отложить на завтра. Утром рано встать, с ясной головой, и за дело, все окончательно обдумать и решить. Но опять минул день. Вечером Рамон Ортис вошел в казино, слегка дрожа, с какой-то леденящей легкостью внутри, будто потерявший вес. Отдавая пальто, он подумал, что нечетный номер на вешалке был бы хорошим знаком. Барышня улыбнулась, протягивая ему номерок, и сказала: «Девятнадцать». Никогда она этого не делала прежде. Рамон Ортис не в силах был промолчать: «Ваш возраст, вероятно?» Барышня как будто не поняла его слов. Ему хотелось прыгать и петь от волнения. Он пригладил волосы и побежал наверх.

Игроков еще было немного, за главным столом оказалось свободное место. Это случалось не часто, и Рамон Ортис тоже с радостью отметил это, как признак благоволения судьбы. Он тотчас же сел, зевнув, поглядел вокруг с деланно-скучающим видом и, подождав несколько секунд, дрожащей, слабой рукой достал бумажник. Крупье пристально и коротко посмотрел на него, оценивая нового игрока. Рамон Ортис забарабанил пальцами по столу и отвернулся. Его соседом был толстый, красный человек, грязновато одетый, с толстыми руками, «лавочник какой-нибудь», подумал Рамон. Он почти непрерывно что-то говорил и приговари-

вал, обращался к большинству игроков на ты, вскрикивал, если кто-нибудь открывал девятку, брал карты с таинственно-заговорщическим видом и не сразу смотрел на них, а медленно приподнимая от сукна, будто с трудом отклеивая их, щурился, наклонял голову, и когда видел, что ему досталось, опять прижимал карты к столу, — или быстро переворачивал, если это были восьмерка или девятка, и стучал по ней грязным ногтем, будто приглашая противника к сдаче. Ему не очень везло. Но играл он осторожно, и время от времени прятал в карман тысячный билет, аккуратно его расправив и сложив. Рамон Ортис сразу почувствовал к нему доверие и обменялся с ним двумя-тремя замечаниями.

Крупье вялым голосом объявил: «Тридцать луи, шестьсот франков», — и в ответ на общее молчание пожал плечами. Лавочник протянул руку к картам и вдруг, как бы осененный счастливой мыслью, обернулся к Рамону: «Половину?» Рамон Ортис кивнул головой, замирая. Лавочник открыл девятку, тотчас же отсчитал триста франков и, дружелюбно подмигнув, сунул деньги Рамону в боковой карман. Начало было удачно. Рамон Ортис подумал: «Не уйти ли?» — но остался, потому что встать было неудобно, только что сел, выиграл и встал, неудобно, — мысленно обманул он себя во второй раз и сделал рукой знак крупье, снова предлагавшему карты. Он тут же испугался этого своего движения, он успел обрадоваться, когда ему показалось, что чернобородый господин в смокинге, сидевший влево от него, достает деньги и собирается его перебить. Но господин вынул

папиросу. Крупье положил карты перед Рамоном. Он схватил их, одну за другой, стараясь скрыть, что у него дрожит рука — и увидел девятку. Лавочник одобрительно замычал, Рамон Ортис, небрежно улыбаясь, наклонился к нему и сказал: «Это уж всегда так, две девятки подряд... всегда!» В полчаса он выиграл несколько тысяч. Игра велась не особенно крупная, было еще рано. Рамон Ортис радовался тому, что он за этим столом был главный игрок. Крупье обращался к нему прежде, чем к другим, выбритый старичок спросил его, не дует ли ему из открытого окна, мальчик в золотых пуговицах два раза уже проводил щеткой по сукну около его места, хотя ни пыли, ни пепла на сукне не было. Рамон Ортис дал мальчику пять франков, подозвал другого, стоявшего у дверей, дал и тому пять франков. Рамону Ортису было весело, игра занимала его, кресло было удобное, свет был приятный, люди были добрые и милые. Он дружески улыбнулся молодому англичанину, которого обыграл, и когда тот встал, растерянно шаря по карманам и ничего уже в них не находя, он едва заметно развел руками, как будто говоря: «Я право не виноват; сегодня ты, а завтра я». Англичанин смотрел на Рамона холодно, не видя его.

В узком полированном ящике оставалось всего несколько карт. Рамон Ортис дал себе слово уйти, после того как эта колода кончится, — на сегодня было достаточно, более чем достаточно. Сдавать была его очередь. Не зная сколько поставить, твердо веря, что проиграть уже невозможно, он в ответ на привычно-выжидательное молчание крупье сухо сказал, окинув взглядом стол: «Сколько кто

хочет, все идет». Его голос, его глаза, и то, как он вразвалку сидел, и папироска в откинутой руке — весь облик его выражал безразличие.

— Все идет, господа, — оживившись, повторил крупье.

В дверях появился худой, длинный, холеный старик с моноклем в глазу и рядом старуха, похожая на классную даму. У старика в руке была рюмка ликера, он только что пообедал. Мальчик в золотых пуговицах подбежал к нему и спросил, освободить ли ему место тотчас же или попозже. Старик неопределенно помотал головой, и когда крупье, как будто приглашая его, опять сказал «все идет», он вытащил из кармана вместе с носовым платком и ключами несколько скомканных бумажек, отобрал три больших бледно-фиолетовых билета и бросил их на стол. Поздно было изменять решение. Если бы даже Рамон Ортис заранее знал, что проиграет, он все равно сдал бы карты. Все смотрели на него. Невозможно было отказаться от своего слова, лучше проиграть. Старик медленно взял карты, усмехнулся, показал их жене и проговорил: «Еще одну». У Рамона было шесть очков. Он вытянул туза, отбросил его к противнику и, не сдержавшись, громко крикнул: «Шесть!» — и даже постучал пальцем по столу, «как лавочник», подумав тут же. Старик опять усмехнулся, опять показал карты жене — и открыл семь. Он прикупил к шестерке, он побаловался и выиграл. За столом раздались подобострастные восклицания, Рамон Ортис вскочил, будто собираясь убегать. Крупье поднял лопатку и вежливо напомнил ему, что он должен три тысячи, — и еще несколько сот

14 Зак 3423

франков за мелкие ставки. Рамон Ортис покраснел, извинился и, уже не пытаясь совладать с руками, принялся отсчитывать деньги.

Три тысячи, чуть ли не весь выигрыш. Но конечно, если бы не этот дикий случай, все было бы иначе. А разве не могла у него быть восьмерка или девятка? Могла. И могло оказаться, что следующая карта не туз, а четверка, был бы этому старому олуху отличный урок. И теперь бы он шел по улице довольный и спокойный. Надо отработать, постепенно, медленно, не увлекаясь, в особенности — не увлекаясь. Выигрыш еще остается, надо пересчитать деньги. Крупье тасовал карты, Рамон Ортис вынул бумажник и стал перебирать пачку тысячных билетов. Крупье быстро взглянул на него, опустил глаза к картам и снова взглянул. Не было жалости в его глазах, было только какое-то усталое, чуть-чуть насмешливое, сухое, равнодушное высокомерие — «считай, считай!» — которое вдалеке, иссякая и теряясь, могло бы соприкоснуться с жалостью... Мимо.

Рамон Ортис проиграл, конечно. Проиграл все, что у него было. Не стоит об этом подробно и картинно рассказывать, тем более что всякий уже догадывается, чем этот вечер кончился: история банальная. Он сначала хотел выиграть, и это ему не удалось, потом он думал только о том, чтобы уйти со своими деньгами, и несколько раз был у самой цели, — но опять в последнюю минуту начинал проигрывать, и уже без толку ставя деньги, путаясь в ставках, не следя за игрой, он чувствовал, что летит в пропасть. Страшно лететь в пропасть, лгуны говорят, что это сладко. Он потерял волю. Кто-то

принимал за него решение, — за него отказывался от ставки или соглашался на нее. Он был втянут в чужую, жестокую, непонятную борьбу, где только чудом мог уцелеть, — и он знал уже, что не уцелеет, но не в силах был освободиться. Один раз мелькнуло спасение, и Рамон Ортис пренебрег им. Он пересчитывал оставшиеся деньги, и разноцветные бумажки вместе с белыми и красными, круглыми и квадратными жетонами грудой лежали перед ним. Сбившись в счете, он раздраженно и беспомощно откинул голову. Прямо перед ним, держась за пустое кресло, стояла женщина в голубом открытом платье, рыжеватая, едва заметно увядающая, еще прелестная. Она внимательно смотрела на него и, будто вдыхая какой-то слабый, исчезающий аромат, раздувала ноздри. Рамон Ортис встретился с ней глазами и секунд пять-шесть, болезненно сдвинув брови, не мог от этого голубого призрака оторваться, — плохо понимая ослабевшим рассудком, кто это, всем существом своим уже привычно волнуясь и смутно сожалея, что волнение напрасно, что все ускользает из рук, а можно было бы сейчас быть не здесь, а войти в комнату с красными обоями в широкую ярко-оранжевую полосу и с огромной кроватью, оглядеться, обернуться к гарсону, торопливо и деловито спросить: «Сколько?»... Женщина сдержанно улыбнулась и перевела глаза на выходную дверь. Послышался скрипучий голос крупье: «Двадцать пять луи». Рамон Ортис жадно схватил карты с протянутой лопатки. Комната, тепло, счастье, нежность, жизнь исчезли, будто он повернул выключатель. Его рассеянность выразилась только в том, что он вдруг опять обернулся к соседу и

предложил разделить пополам ставку. Лавочник давно уже наблюдал за ним с испугом и любопытством. Он отшатнулся, молча отказываясь от предложения. Рамон Ортис открыл двух королей, прикупил валета и со злобой отшвырнул карты через весь стол — на пол. Крупье в первый раз изменил себе: он осуждающе, с выражением обиженного и недоумевающего превосходства, покачал головой.

После не было даже и остановок. Под гору, под гору, только со случайными задержками, без остановок... Двадцать три тысячи, ведь это большие деньги — все, что было. Откуда их взять, кто даст? Но еще ведь не все проиграно, нет, еще не все проиграно, и хоть будет, будет проиграно; а все-таки сейчас еще ничего наверно сказать нельзя. И может еще положение измениться: взять карту, открыть девятку, получить двадцать три новеньких шелестящих бумажки и уехать отсюда, навсегда. Одним ударом невозможно. Надо взять карту, поставить все, сколько остается, а потом удвоить. По мелочам безнадежно, надо сразу, расчет совершенно правильный. Отчего они пересмеиваются? Завтра обо всем подумаем, не все ли равно, — что-нибудь придумаем. Главное — расчет совершенно правильный. По мелочам это мелкий извод, надо взять карты, выиграть, дать вторую.

Рамон Ортис был бледен, подбородок его посерел, прядь волос сбилась на лоб. Судорожным решительным движением он остановил ящичек с картами, проходивший по столу. Продавался банк. Крупье с удивлением посмотрел на игрока, препятствующего исполнить этот обязательный обряд, прежде чем банк предложен будет за любую цену. Он внушительно провозгласил: «Пять тысяч двести фран-

ков», — и хотел двинуть ящичек дальше. Но Рамон Ортис уже держал первую карту и другой рукой отстранил от себя к середине стола все лежащие перед ним деньги, как будто они ему уже не принадлежали. Лавочник схватил его за плечо и прошептал: «Не делайте этого, вам не везет». Рамон Ортис ничего не слышал. Лавочник торопливо поставил пятьсот франков, на секунду задумался, потом прибавил еще триста. За соседним столом был перерыв, игроки были свободны, деньги посыпались со всех сторон. «Сделано!» — повелительно воскликнул крупье, — прищурился, перевернул лопаткой несколько билетов и повторил: «Сделано». Рамон Ортис вынул папиросу, постучал ею о крышку портсигара, повертел головой, будто ему тесен был воротник, твердой рукой зажег спичку. Его глаза блестели, воля вернулась к нему. «Сделано?» — переспросил он в тишине, затянулся еще раз, — и наконец быстро сдал карты: две в пространство, далеко, неизвестно кому, две себе... Пауза. Еще одну туда, еще одну себе. Вечность, вечность — все остановилось.

Семь и пять. Там, на конце стола, неизвестно у кого — семь. У Рамона Ортиса — пять. Конец. Расчет, деньги, скорей... Не хватает шестидесяти пяти франков. Крупье холодно ждет. Рамон Ортис выворачивает бумажник, ищет в жилетном кармане. И вот, любезный, приятной внешности господин, державший в руках карты, участливо уверяет, что это не имеет никакого значения, что он Рамона Ортиса хорошо знает, что он с большим удовольствием подождет до завтра.

Рамон Ортис встал, опрокинув кресло. Мальчик в золотых пуговицах, не обращая на него внимания, предложил его место другому игроку. Женщи-

на в голубом платье стояла в стороне и пристально смотрела на красивого господина, не настаивавшего на уплате шестидесяти пяти франков. На часах было двадцать минут четвертого.

Он поспешно спустился, бросил номерок на прилавок, схватил пальто, будто боясь опоздать куда-то. Однако спешить ему было некуда, оставалась одна только потребность — идти, идти, идти, и хорошо бы, если бы дул в лицо ветер, резкий, с дождем. Но дождя не было. Темны уже были почти все окна, оставались только редкие высокие лунно-матовые фонари, вдалеке слышалась слабая музыка. Налево было море. О, море! Больше ничего не могу сказать. О, горе! будто в гимне каком-то, — и молчание. Как могло это случиться? Все в конце концов ясно станет, если идти, идти, быстро и далеко, сердца нет, ног нет, не идти, лететь. Но ведь ему должны помочь, его должны спасти. Рамон Ортис остановился. Он подумал: ему должны помочь. Иначе быть не может. Если бы сейчас войти в какой-нибудь темный подъезд, позвонить в чужую квартиру, разбудить первого попавшегося человека, взяв его за плечи, растрясти, чтобы он очнулся как следует, и все рассказать, все, чтобы он все понял, — человек в халате и в ночном колпаке, как на гравюрах, присядет к столу и выпишет чек на двадцать три тысячи. И потом еще благодарить будет, что его разбудили. Не может быть иначе, Бога нет, если иначе, — все равно, что из-за карт. И если пойти к какому-нибудь префекту или губернатору, он ночью велит открыть двери банка, и все сделает, нарушит закон, украдет, если объяснить ему. Надо только растолко-

вать, что случилось, не может быть человек так груб и зол, чтобы не понять. Не может. Идут два подвыпивших матроса, и они поймут... только долго объяснять. И Рамон Ортис ужасно устал. Но его еще спасут. Все еще будет хорошо, и море шумит ласково, обещая. О, жизнь! Если бы встретить женщину, это лучше всего, и потом заснуть, и подумать обо всем завтра, со свежей головой. Нельзя же идти без конца. Та, в голубом платье? Но туда вернуться нельзя, это ад, там не люди, и они-то уж не поймут ничего, ничего. Нельзя же идти без конца, Рамон Ортис. Город уже кончается, поля, огороды, низкие, белые домики. Он опять остановился. Боже мой, Боже мой, жизнь! Что завтра? Не о чем думать завтра, и нечего делать. Все ясно: не о чем думать.

Из-за кустов вышла женщина в черном платье на плечах. Она несла на голове корзину с овощами — в город, на рынок, продавать. Рамону Ортису было не под силу одиночество. Он к ней приблизился и сказал на своем языке: «Что же мне делать?» Крестьянка боязливо посторонилась и ускорила шаг. Рамон Ортис взглянул на море. Куда же дальше идти? Назад, вперед. И эта не поняла, и другие не поймут. И ты можешь пойти сейчас куда хочешь, и позвонить, и рассказать, и растолковать, и объяснить, и тебя все-таки вытолкают из чужой спальни, и никому нет до всего этого никакого дела, каждому свое, а завтра будет новый день, и главное, будет светло, сейчас будет светло, уже розовеет небо, и все совершенно ясно, надежды нет, и это нельзя больше выдержать, к чорту, больше не могу, пальмы под нависшими тропическими грозными

тучами, Анна, ангел, прощай, о, не все ли равно, теперь или потом, только поскорей, и никто уже не узнает, когда, где, никто не вспомнит: о, не все ли равно, только бы до рассвета.

Рамон Ортис вынул револьвер и застрелился.

Это все было не так, вероятно. Не знаю. Это я выдумал. Я читал сейчас французскую газету, из тех которые и любят трагические происшествия, и опасаются, как бы не испортить ими нервы читателям. В газете написано:

«Вчера утром, около моста св. Женевьевы обнаружен с огнестрельной раной в виске труп Рамона Ортиса Менендеса, аргентинского гражданина двадцати девяти лет. Причины самоубийства неизвестны. Денег на трупе не найдено. Следствие выяснило, что покойный провел последний свой вечер в игорных залах муниципального казино. Госпожа М., проживающая в деревне Ф., опознала в трупе неизвестного молодого человека, встреченного ею на рассвете в вышеуказанном месте. Аргентинец находился в состоянии сильного возбуждения и пытался с нею заговорить. Городской врач выдал разрешение на предание тела земле».

И фотография. На досках лежит человек, прямой и спокойный. Видна только откинутая голова. Тяжелые веки опущены, все кончено.

Этот мертвый человек мне незнаком. Имени его я никогда прежде не слышал. Все было совсем не так, вероятно. Но мне хочется с вами поговорить, Рамон Ортис. Не знаю, отчего я подумал о вас, именно о вас, тысячу раз такое читаешь... Но мне хочется с вами поговорить. Я старый человек,

мне шестьдесят восемь лет, за окном ночь и зима, в комнате моей пахнет эфиром, ноги мои покрыты каким-то одеялом, впрочем мягким и теплым, я не жалуюсь. Я вообще ни на что не жалуюсь, и знаете, я даже еще на что-то надеюсь. «И может быть, на мой закат печальный». Я шучу, вы видите, но это ничего не значит. Это оттого, что мне страшно приступить, и я не знаю, с чего начать. Идет снег за окном, почернел уголь в камине.

Ну, довольно. Пора, пора. Бьет двенадцатый час, падает голова на плаху. Пора! Я хочу поговорить с вами, Рамон Ортис. И я хочу вам сказать: вы хорошо сделали. Мне шестьдесят восемь лет, за мной след долгой жизни, и даже успехи. Как бы это сказать! Я знаю, что такое жизнь. Видите ли, если даже человек и не был счастлив, он чувствует все-таки, как другой человек может быть счастлив, — в любви, конечно. Остальное чепуха, остальное все равно, но о любви сомнений нет, и еще теперь перед воспоминанием ее я хочу поставить свечку, и биться головой о каменный пол, вспоминая. Но это прошло, «бессмертная», а где она? Грусть, восторг, руки на плечах, где, где? Знаете, даже и воспоминание исчезает, физика торжествует. Поэтому я не слеп теперь.

И я хочу вам сказать: вы хорошо сделали. Браво! За мучение, за измены, за обиды, за горечь, — я говорю спокойно, все взвесив, — и не потому, что вам жизнь не удалась, кто знает, как бы вы жили, не потому, а вообще, дорогой мой. Я решаюсь сказать это, вместо того, что побаловался, мол, картишки, шалопай, пошел бы работать, пена, подонки общества. О, лицемеры! Не карты, конеч-

но, я имею в виду, а то, что вы поняли, что никому нет дела... Это знаю и я: нет дела. И самое страшное, слушайте, что там, наверху, кажется, там с ними, а не с нами, там за них, — или безразличье, но это то же самое. Браво! За обиды, за мучение, за трещину в жизни, за измены, всего и всех, и главное, еще раз — за горечь. Сердце мое переполнено ею, и я больше не могу ее выдержать. Браво, дон Рамон, пионер мировой справедливости!.. Я плохо рассказал о вас, я говорю не то, но вы меня теперь понимаете. Наконец, — мне вас жаль: море не вышло из берегов, никто не остановил вас, когда вынули вы револьвер, вы, человек, дитя, создание. Нечего больше возражать: я прав. Где вы теперь? Слышите ли вы меня? Где вы? Рамон Ортис, я закрываю глаза, я протягиваю вам руку, туда, в зелено-серое, в дымное, в ледяное ваше пристанище, в теневое, и исчезающее, и тающее, в жемчужно-пепельную непостижимую, в ужасную вашу обитель, куда я еще не хочу, я братски и дружески протягиваю вам руку. Слышите вы меня? Если есть свет, и если где-нибудь есть жизнь, ответьте мне, дайте мне знак. Я во имя братства, и за искупление измен, и за молнию, которая блеснула когда-то над миром и исчезла. За вечное наше согласие, — дайте мне знак.

Ну, вот. Благодарю вас. Иначе быть не могло, не напрасно я с вами говорил. И если даже... это был только мрамор на моем ночном столике, я знаю все-таки, что коснулся холодной вашей, протянутой мне руки. Благодарю вас.

НАЧАЛО ПОВЕСТИ

Из забытой тетради

«Над городом стоял холодный, вялый, лимонно-желтый осенний закат, когда Мария Леопольдовна вышла из дому. До отхода поезда оставалось сорок пять минут. Она решила еще раз взглянуть...»

Впрочем, Бог с ней, с Марией Леопольдовной. Обойдемся без нее. Правду говоря, я хотел рассказать о том, что со мной в последнее время происходит, а заодно и присочинить что-нибудь, так, для поэтического украшения и действия на сердцá. Но сочинять, выдумывать стыдно, да и скучно. Не я первый, не я последний внезапно это почувствовал. Рассказать я хотел о любви, ни к чему не приведшей, по моей вине оборвавшейся. Думал соединить с мыслями о своих писаниях, или как теперь многие сами о себе выражаются, о своем «творчестве», — очевидно не улавливая в этом выражении никакого комизма. «Мое творчество»! Впрочем, теперь постоянно говорят и «создать» вместо «написать»: стихотворение создано Иваном Ивановичем тогда-то. Господь Бог создал вселенную, Иван Иванович тоже что-то создал. Ничего с этим не поделаешь: создал! Мир, может быть, и спасет красота (едва ли, едва ли), но погибнуть-то

мир может от вкрадчивого, неуклонно-усиливающегося торжества... не нахожу нужного слова: торжества чего? Пошлость не совсем то. От постепенного исчезновения чувства, мешающего «созданию» стихотворений, мешающего «моему» творчеству. Как исчезло оно теперь в России, в нестерпимой тамошней печати... Писать мне все труднее и труднее. Сомнения, какие-то посторонние раздумья, перебои, остановки, особенно учащающиеся ко времени соскальзывания жизни в неизвестность, когда «скудеет в жилах кровь». Кто же этого не знал из тех, кто вообще что-нибудь знает?

А все-таки рассказать кое-что надо бы. Но прямо, по прямому проводу и в самом что ни на есть телеграфном стиле. Если бы все согласились писать без глупой дикарской «образности», ничего не затушевывая, не гальванизируя мертвечины, не обольщаясь постылыми беллетристическими воплощениями, литературы бы не было. Но это именно то, чего я хочу. Прямой, короткий удар, и больше не о чем говорить. Короткое объяснение, и разрешите, господа или товарищи-граждане, откланяться и пожелать всего лучшего. К чорту прежде всего две вещи, давно уже меня измучившие: лирику с приглушенными, кокетливо-завуалированными жалобами и иронию с многозначительными намеками, и да здравствует, по Стендалю, наполеоновский кодекс, — друг мой, понимаете ли вы меня? Кодекс не подведет, а «по небу полуночи» рано или поздно долетит до стены или потолка, о который и разобьет себе голову. Где вы? Где вы теперь? Помните Любань, кажется это было перед смертью вашей дочери, дождь за окном, и в суете мы

даже не успели проститься. Утро как будто еще зевало, не совсем проснувшись. Где вы теперь? В сущности вас нет, и это главное мое открытие, отчасти и побудившее меня взяться за повесть с соответствующим сюжетом: открытие, что я один. Иллюзии пора оставить.

* * *

Да, я один, и сейчас я это докажу вам. Вам, не существующей, призрачной. Всем призрачным.

Существенно для меня то, что со мной навсегда, до конца. «Аз с вами...» — помните слова эти, без которых нельзя жить? По крайней мере я не могу жить. Стол не существенен, газета с блестяще-язвительной передовой статьей не существенна, даже музыка, чудная наша музыка, общечеловеческий «патент на благородство», даже она не существенна. Долго я думал, что кто-нибудь или что-нибудь останется со мной навсегда, рука в руке, думал с лениво-успокоительным утешением, не вглядываясь, уклоняясь от внутренней проверки, радуясь обманчивой очевидности предпосылок: все потому, что вдвоем не может нигде быть страшно. Открытие же мое в том, что и одному не страшно: только к мысли этой надо привыкнуть и с ней сжиться. Я вас очень люблю, скорей дружески, чем страстно, значит, по-моему, самой высшей формой любви, говорю это с твердым убеждением, во всех Тристанах и Вертерах улавливая отклик. «Чиста и сильна, как смерть», — писала жениху о своей любви к нему последняя, несчастная русская императрица, одной этой безбрежно-мечтательной,

протестантской фразой как бы отметая будущие сплетни. «Чиста и сильна, как смерть». Я вас очень люблю, до сих пор, и даже иногда удивляюсь сохранению способности любить. Но мысленно представляя себе наши совместные странствования, здесь, здесь, и дальше там, если есть какое-нибудь «там», — но если нет, это ничего не меняет, ибо для реализации моего одиночества достаточно сознания, что это произошло бы, в сослагательном наклонении, если бы «там» существовала для этого возможность, — да, мысленно представляя себе наши странствования, здесь и там, я вдруг опускаю руку за ненадобностью держать ее пустой на весу и с недоумением убеждаюсь, что рядом нет никого, и уже никого быть рядом не может. Дальше, милостивый государь, благоволите идти solo! Даже хуже... однако я кажется продолжаю сочинять, сам не отдавая себе в этом отчета. Что же, по-видимому, я не Тристан и не Вертер. То, как я представляю себе «там», не леденит мне душу и не охватывает ее бесплотным восторгом, нет, нисколько, но опутывает скукой. Не банка с пауками, но что-то в этом роде, безысходное и серое. Выпускаю руку, и мысленно едва-едва «туда» шагнув, никого уже не зову и ни к чему не прислушиваюсь. Точка, и всяким клейким листочкам окончательный конец, даже в метафизическом их преломлении. Там не будет солнца. Это мне хочется повторить: там не будет солнца, не будет солнца, — друг мой, понимаете ли вы меня? Если понимаете, будьте другом настоящим, не пытайтесь возражать, ободрять и лгать.

* * *

Сегодня утром я сидел на скамейке с газетой в руках, на еще тихой в этот час улице. Небо бледноватое, северно-щемящее и вопреки предшествующим размышлениям, как будто даже с надеждой. О чем, на что? Баланс мой был бы безупречно точен, если бы не небо. Небо портит незадачливому бухгалтеру кровь.

Почему-то я вспомнил Рим. Было это довольно давно, но до сих пор я не могу забыть того, что видел. Римский форум, летом, весь в пыли, с жалкой травкой и щебнем под ногами, с редкими туристами, по обязанности забредшими осматривать кладбище, где осматривать уже нечего. По обязанности я бродил тоже, и усталый, даже чуть-чуть раздосадованный, под вечер остановился в правом углу, далеко от входа, у самого подножия Капитолия. Остановился и поднял глаза. На фоне темно-синего неба, — мне почудилось, что в безмолвный укор мне и моей рассеянности, — высился обломок какого-то храма, кажется, в честь Кастора и Поллукса, не знаю точно, всегда был в этих областях невеждой. Эти три или четыре колонны, соединенные наверху полуобрушившейся перекладиной, эта классически-синяя даль, сквозившая за ними... нет, я не забуду этого никогда. Полчаса стоял я молча, не в силах двинуться. Кто-то первый нашел же эти несравненные формы, пусть не в Риме, а в Греции, но здесь кто-то повторил, восстановил их еще, как что-то свое? В согласии с нетленным небом, с землей, с солнцем, без бегства от них «туда»? Обломок, сиротливо возвышавшийся среди окружавшего его разорения, под наглый

гул голосов и моторов с соседней улицы, казался еще красноречивее, еще прекраснее, чем был вероятно самый храм.

А потом, много позже, я так же стоял перед собором в Шартре, с его «непогрешимыми» — по слову Пеги — стрелами. Но в Шартре все было совсем по-другому.

Блажен, кто верует: блажен, кто выбрал (блажен, кто понял, что выбор сделать надо, а не прикрывает свое безразличие утверждением, что мне, видите ли, «одинаково дорого и то, и другое»).

Тут надо бы в будущей повести добавить несколько страниц. Чтобы объяснить, связать начало с отступлением, которое для меня скорей представляет собой продолжение. Но боюсь писать, потому, что боюсь дописаться.

* * *

«Мария Леопольдовна вышла из дому...»

Нет ничего парадоксального в предположении, что литература придумана для того, чтобы развлечь и отвлечь. Отвлечь. Причем придумал ее, вероятно, заведомый плут, впрочем лично невинного, наивно-педагогического, горьковского типа, с чистосердечным усердием нашептывающий «горячо, горячо!» как раз тогда, когда ни до чего доискаться уже невозможно. И потом, по исполнении общественного долга, благоухающий сединами и передающий младшим современникам свой идеологический факел.

Читатель, ты мне говоришь,
Что в день моего юбилея

Ты с чашей заздравной стоишь,
Гражданским огнем пламенея.

Испей же, читатель, испей
Из этой страдальческой чаши,
Свидетельствуй, шествуй и сей
По ниве словесности нашей!

Только по этому странному благоуханию и приходится кое о чем догадываться. «Простите, не Убиган-с», как говорит где-то Фердыщенко, Лядащенко или другой такой же персонаж. Однако Мария Леопольдовна, несколько рано вышедшая из дому, оказывается под привычным беллетристическим пером тут как тут и улыбается настолько предупредительной улыбкой, что догадку и забудешь. Пожалуй, даже отправишься на юбилей засвидетельствовать почтение и пройтись раза два-три перед газетным репортером, чтобы не забыл он о тебе упомянуть в завтрашнем отчете. «Среди присутствующих мы заметили...»

Так и тянется жизнь, тише воды.

* * *

Конечно, все это может показаться просто глупым. Какие-то открытия, гамлетизм, «рефлексия», глухая боль в левом боку, пятьдесят семь лет с хвостиком, самолюбование, излишек доверия к мимолетным своим впечатлениям и все прочее. Я, беллетрист и поэт, Николай Никифорович Лариков, выпустивший в эмиграции несколько книг, о которых, — позволю себе напомнить, — наш известный критик А. и другой, не менее известный, и

при том враг и присяжный оппонент первого, критик Б., оба высказались в самом благожелательном духе, отметив и смелую, яркую образность, и новизну повествовательных приемов, и прекрасный русский язык (Б. кроме того дважды отметил «отличную, плотную бумагу и четкий шрифт») — я, Лариков, собрался писать повесть о Марии Леопольдовне, вышедшей из дому к пятичасовому пригородному поезду, сел за стол, написал три строки и остановился. Глупо делать выводы и придавать какое-то значение моему замешательству, несомненно случайному, преходящему. Надо раньше ложиться, крепче спать, без предрассветных томлений, когда вертишься с боку на бок и чорт знает что лезет в голову. Врачи недаром утверждают, что хотя снотворные и вредны, однако бессонница еще вреднее. Во всех смыслах вреднее.

Но еще несколько слов: об одиночестве в странствованиях.

Перед тем, как сказать что-нибудь, кажущееся тебе важным, уместно бывает кашлянуть или, будто внезапно задумавшись, усмехнуться: «Да, вот, кстати...» Кстати: я не боюсь смерти. Много раз мысленно проверял себя и должен признать, что это так. Не боюсь и удивляюсь тем, кто боится. В Толстом это то, чего я не понимаю и даже не принимаю. «Qui craint la mort?» — и за яснополянским семейным столом он и Тургенев подняли руки. Никто другой не поднял.

Что же, у меня, как у них, не достает воображения? Или недостаточно я привязан ко всякого рода земным, здешним удовольствиям и прелестям? По совести, очень привязан, и на исходе

шестого десятка привязан мучительнее, чем когда бы то ни было прежде. Однако очевидно одарен и способностью отвязаться. Не понимаю протеста и воплей, и даже решаюсь думать, что это наследственный самогипноз, а не естественное, неискоренимое чувство. Во всяком случае — не проблема. «Проблема смерти»: с какой силой, будто внезапно вскипев, отскакивают эти два слова одно от другого, как нестерпимо стилистическое их сочетание! Проблема, пожалуй, только в том, как смерть могла стать проблемой.

Не к чему говорить о природе, о подчинении ее «ритму» или о растворении в стихиях. При общем городском нашем складе ссылки на лес и море могут оказаться как раз самыми книжными, надуманными. Для меня дело проще. Страшно может быть только то, что похоже на азартную игру, с удачами и катастрофами. Или то, что исключительно. Не может быть страшно то, что суждено всем. А в особенности не может быть для меня страшно то, что случилось с теми, кого я любил или еще люблю больше себя. Скорей было бы для меня страшно уклониться от одинаковой с ними участи.

Поняли ли вы, дорогой друг мой, что Мария Леопольдовна — это вы? Не в том двоящемся, литераторском смысле, как «мадам Бовари — это я», а совсем точно, дословно. Это ведь о вас я собрался писать, и с вами я говорю, когда отступаю в сторону. О Любани рано утром, когда вы вдруг по-детски сказали, что вам страшно, — да, помню точно, вы сказали именно «страшно», — хочется горячего кофе. А я смотрел на вашу старомодно-смешную, скомканную вуалетку над заплаканны-

ми глазами и про себя повторил строчки, будто о нас с вами и написанные: «Господи, я и не знал до чего она...» Но вы эти строчки едва ли знаете и мысленно их не докончите. Пожалуй, это и лучше. Впрочем, не имеет большого значения, прочтете ли вы когда-нибудь то, что я пишу.

Отчего все это так нелепо оборвалось? Отчего за тридцать лет вы мне ни разу не написали? Отчего только теперь я понял, что никого, кроме вас, в жизни и не любил? Где вы теперь? В Москве? Или...

* * *

Пройдут миллионы лет. Все здешнее, наше оледенеет и потухнет, и нигде, ни в каких планах, нигде не останется ни пылинки, ни луча, которые могли бы мы узнать, как свои. Да и узнавать было бы нечем: ни памяти, ни жалости, ни следа, ничего. И вот над какой-нибудь голубой, остывающей, еще влажной планетой пройдет первое облако, и в каких-нибудь темных пучинах потянутся одна к другой две клеточки, и откуда-то подует ветерок, и снова, как было у нас, да, да, так же, на невероятном языке, или без всякого языка, Бог весть, не знаю как, впервые кто-нибудь произнесет первое слово, со свежестью и волнением, которые и нам до сих пор еще смутно доступны каждый день, утром, если на рассвете распахнуть окно.

Какое мне дело? Не знаю, как вам, а мне есть дело. У меня кружится голова не от моего личного бессмертия, а от мысли, что жизнь не может кончиться. Это буду не я, но это буду и я. Для

моего удовлетворения, для моего неудержимого счастья на земле гораздо нужнее верить, что когда-нибудь на теплом Юпитере проквакает лягушка, чем надеяться, что я, именно я где-нибудь погляжусь в воображаемое потустороннее зеркало.

* * *

Ну, от повести моей мало что осталось. Болтовня, и притом довольно «нервическая», как сказал бы Тургенев, даже не без сходства с новейшим дневником лишнего человека. Но если бы между отрывками провести соединительные линии, должно бы получиться как в известной, когда-то распространенной игре: вдруг обрисовывается профиль маркизы в седых буклях или карта Европы.

Надо занять позицию, а с остальным можно и повременить. Боюсь только, что случайное, проталкиваясь вперед, отвлекает внимание, и у маркизы может не оказаться носа, или Италия, скажем, исчезнет в море. Повесть написать необходимо, однако предварительно следовало бы растолковать, что и другое, — например этот эпизодик на римском форуме, — тоже по-своему оправдано. По широкой дороге проехать нельзя, попробуем, значит, пробраться по окольной, на крайность даже по соседним тропинкам.

«Мария Леопольдовна вышла из дому...» Нет, я не оставлю ее, вздор. Надо написать именно о ней, о вас. Отделю то, что набросано второпях, чертой и помечу: глава вторая. Будет во второй главе и последовательное развитие фабулы, будут и яркие метафоры, обещаю. Помилуйте, как же в

наше время без метафор! Но голова изнемогает от стихов, которые тоже надо бы написать и которых не напишу я уже никогда. Да и никто не напишет. Стихи, те, что мне мерещатся, тоже вроде бы ошибки в бухгалтерском счету: откуда лишняя копеечка, куда прикажете ее отнести? Пишу и почему-то повторяю: «Пошли, Господь, свою отраду тому, кто жизненной тропой, как бедный нищий мимо саду бредет по знойной мостовой». Браво, браво, да здравствует литература и поднимем бокал за седины ее служителей. Но очевидно я не случайно начал фразой о том, что Маруся — вышла из дому, именно вышла. Жизнь, вечность, небо, люди, помогите ей в пути. Она ведь тоже бредет одна.

Обо мне не беспокойтесь.

ИГЛА НА КОВРЕ

Н. Рейзини

Поверят ли мне? Едва ли, едва ли. Если и поверят, то немногие, а большинство решит, что все выдумано, пожалуй, даже добавив «и очень плохо выдумано», как добавлял Бунин, когда говорил о Достоевском. Убеждать я никого не стану, да и чем мог бы я кого-нибудь убедить? Все записанное здесь — правда. Выдумки нет. Может быть, найдется несколько человек, которым случалось испытывать что-нибудь схожее, в том же роде. Они поймут, поверят, узнают сразу. А другие? В отношении других я бессилен.

Началось с того, что мне пришла в голову мысль о коротком рассказе. Названия не помню, можно было бы назвать его по-разному, например: «Встречи Ивана Ивановича». Лучше бы, однако, без встреч, чтобы не было по названию ясно, что именно в них дело. Идет Иван Иванович по улице, — почему-то мне с совершенной отчетливостью представилась рю де Ренн в Париже, самый конец ее, около старого, приземистого, теперь уже разрушенного монпарнасского вокзала, — идет, значит, Иван Иванович по улице и встречает знакомого, который ему не то улыбнулся, не то подмигнул. Иван Иванович взялся было за шляпу,

как вдруг вспомнил: «Да ведь на прошлой неделе я был на его похоронах. Какое сходство! Совсем покойник Б.». И остановившись купить вечернюю газету, забыл о странном происшествии.

Дня через три происшествие повторилось. Но улыбнулся Ивану Ивановичу не покойник Б., а покойник Ш., и не на темноватой рю де Ренн, а на Елисейских Полях, в яркий солнечный день.

«Что это, в самом деле, стала мне мерещиться какая-то чепуха», — сказал себе Иван Иванович, однако домой вернулся слегка смущенный. Потом встречи стали все учащаться, а какой-то потусторонний ловчила и смельчак, к тому же мало Ивану Ивановичу и знакомый, — так, раз или два, на публичных собраниях ему возражавший, и притом довольно запальчиво, — какой-то смельчак даже остановился, осклабился, взял Ивана Ивановича за пуговицу пальто и сказал: «Очень, очень рад. Дискуссию нашу мы, надеюсь, продолжим».

А на другой день Ивана Ивановича нашли на его диване мертвым. Значит, по моему авторскому замыслу, он мало-помалу втягивался в иной мир, не сразу, не внезапно, как всем нам предстоит, после какой угодно болезни, а именно мало-помалу, отчего и начались соответствующие встречи.

Рассказа я так и не написал. Но мысль о нем долго не оставляла меня и даже как будто надломила что-то в моем сознании. Будто я опрометчиво проник в тайны, которые должны бы остаться скрытыми. Будто взломал какой-то замок. Иваном Ивановичем я ничуть себя не чувствовал, но и совсем таким, как прежде, стать не мог. Иногда я

видел то, чего передо мной не было, в течение нескольких секунд, не дольше, однако ясно и отчетливо. Иногда вспоминал что-нибудь из моей прежней жизни, нет, не вспоминал, а возвращался в прошлое, неодолимо втянутый туда и сейчас же вытолкнутый обратно, в настоящее, в то, что меня действительно в этот момент окружало, на улице, за письменным столом, в вагоне метро. Мне стало казаться, что хотя содействовать возникновению перебросок я не в состоянии, хотя происходят они помимо моей воли, — очевидно, по каким-то неведомым мне законам, — все же я могу их продлить. Не надо уступать, надо вызвать задержку в знакомом или забытом мире, какого бы напряжения всего моего существа задержка мне ни стоила. И это увлекало меня как опыт, с каждым днем все сильнее. Бывало, правда, и разочарование, и не раз я говорил себе, что придаю значение пустым иллюзиям. Часами я сидел в кресле, глядя в одну точку, стараясь ни о чем не думать, и большей частью вставал раздраженный своей наивностью и доверчивостью. Но природой дано человеку больше, чем он допускает. Во всяком случае позволено больше. Слово «дано» предполагает обогащение, а никаких богатств мне не открывалось. Обнаруживалась только возможность, прежде представлявшаяся мне невероятной, и притом имеющая мало общего с предсмертными встречами моего Ивана Ивановича. И случалось это не после никчемных, изнурительных сидений в кресле, а большей частью тогда, когда ничего я и не ждал.

Какие тусклые фонари, от таких я в Париже отвык. Падает легкий снежок, узкая улица светится, как сквозь кисею, полупрозрачной белесой мглой. Бассейная, я сразу ее узнал. Немного дальше, налево, Эртелев переулок, где дом Суворина и редакция «Нового Времени». Дребезжит конка, которую с трудом тащат две тощих клячи. На углу Знаменской посыльный в башлыке, и мне вспомнилось одно из любимых моих стихотворений, именно о посыльном, «что орхидеи нам несет, дыша в башлык обледенелый». Но вспоминая, узнавая, я ничуть ничему не удивлялся. Я снова был там, где провел детство и молодость, где ночами бродил под таким же снежком, какой падает сейчас, бродил и бредил стихами, и о посыльном в башлыке, и в особенности Блоком. «В блеске зимней ночи тающая...» Теперь я, может быть, вспоминаю неверно, ошибаюсь, но тогда не ошибся бы. «Ты, снегами тихо веющая, обрати ко мне свой лик...» Было счастье в этих строчках, было блаженное головокружение, была связь с необъятной вселенной, ко мне тогда благосклонной, с бесконечно далекими Млечными Путями, не знаю, с чем еще. Так мне тогда представлялось, а теперь я лишь перебираю обрывки прежнего, развеявшегося. Прошел молодцеватый офицер, кажется, измайловец. Два встречных юнкера небрежно взяли под козырек. Немецкая булочная, та самая, куда бывало робко входили продрогшие уличные мальчишки. «На копейку крошек!» — «Крошек не осталось. Отойди от прилавка, мальчик». Та самая булочная, нет я не сплю. Против булочной парикмахер «Дмитрий», с какими-

то судорожно поблескивающими лампочками над стенными зеркалами. Как они назывались? Кажется, керосино-калильные. Не помню точно, может быть иначе, но что-то «калильное» было. Сквозь стекла чувствуется, что внутри пахнет дешевым одеколоном и «вежеталем», как мы тогда говорили. Но все ускользает, бледнеет. Надо сделать усилие, задержаться, — только какое усилие? Войти в парикмахерскую, заговорить с посыльным? Нет, это не поможет. Наоборот, это, пожалуй, ускорит исчезновение видения, — или вернувшейся из небытия реальности? — со всеми ее декорациями. А мне здесь что-то нужно, это я чувствую, только не знаю, что. Не надо тратить энергии на пустяки, на попытки вспомнить, как назывались лампочки. Я безотчетно сопротивляюсь чуждым силам, отвлекающим меня от цели, использующим мою рассеянность. А в чем цель? Кто подскажет? Однако дверей моей парижской комнаты, уже было мелькнувших передо мной, нет. Опять улица, снег, булочная, башлык посыльного на углу.

В двух шагах Виленский переулок. Виленский, 4. Мое детство. Как странно, как страшно войти в дом, где полвека тому назад я бывал по воскресеньям, скучая, если сказать правду, и все же привычно ожидая этих воскресных семейных сборищ, будто просвета в моей сероватой детской жизни. Пойти, позвонить? Странно и страшно.

Дверь отворила Ириша, со своей всегдашней застывшей улыбкой, высокая, бледная, в веснушках. Дома мой дед? — я назвал имя. «Они кушают, сейчас уезжают». — «Ириша, скажите, пожа-

луйста, что я по делу... я из Парижа». Она не заметила или не обратила внимания на то, что я назвал ее по имени, ушла и почти сейчас же вернулась, предложив мне «пройти в кабинет». Да, в кабинет, где я знал каждое кресло, стол с какой-то огромной двойной чернильницей, длинный костяной разрезной нож, мною же к какому-то празднику деду подаренный, портреты Бетховена и Листа на стене, книжный шкаф с рядами цветных коленкоровых переплетов, почти никогда не раскрывавшийся, каждую вещицу, каждую мелочь.

Он вошел легко, торопливо, неслышно, в смокинге. Гораздо моложе, чем я ждал: но это и не удивительно, теперь я ведь был старше, чем он. «Чем могу служить?», или что-то в этом роде, с очевидным намерением поскорее отделаться от посетителя. Я долго молчал, пристально глядя на него, не в силах произнести ни слова. Но уловив его нетерпение, задыхаясь от волнения, все-таки сказал: «Неужели вы меня не узнаете? Я — ваш внук... Сережа». Он едва заметно пожал плечами, нетерпение его явно усилилось. Молчать нельзя было. Я начал бормотать, что теперь вовсе не 1913 год, как вот указано на его отрывном календаре, возле книжного шкафа, а 196... год, что я пришел к нему из Парижа, что он давно умер, что Сиротинин ошибся, лечив его от нефрита, что у него был рак, что он должен, должен меня понять, что будет война, будет революция, а никто этого не знает, не предвидит... Глядя в сторону, он постучал пальцами по столу и встал. За дверью послышался недовольный голос:

— Папа́, — с ударением на втором слоге, — папа́, Никиш ждать не будет.

Тетя Ася. «Выше Шестой симфонии Чайковского нет ничего на свете». Я и тогда пытался ее убедить, что многое в музыке гораздо «выше». Но главный свой довод она считала неотразимым: «в каждой ноте — слезы». Никиш. Сегодня, значит, концерт под управлением Никиша. Она была в него влюблена, не пропускала ни одного его выступления, ходила к нему в артистическую с какими-то особыми бледными чайными розами, которые он однажды, — по ее рассказу, слышанному мной десятки раз, — прижал к сердцу и поцеловал.

Я быстро вышел в переднюю. Темно-зеленая ротонда до полу, поднятый меховой воротник, что-то легкое, воздушное на голове. Она считалась, и действительно была, самой хорошенькой в семье, но так, бедная, и не вышла замуж в ожидании сказочного принца. Принца не нашлось. И как она мучительно умирала в Ницце, еще не старая, но больная, нищая, вставала на рассвете, вязала дрожащими, «паркинсоновыми» руками узорчатые, разноцветные шали и шарфы на продажу. А потом уже не могла и вязать... Но мимо, мимо.

Я не удержался. «А где же розы?» — «Какие розы?» — «Чайные розы от Эйлерса?» — «Ничего не понимаю». Ответ был сухой, но в глазах недоумение, даже испуг. Дед, уже надевая шубу, обернулся ко мне:

— Теперь многим трудно... поверьте, я понимаю... Простите, вот, чем могу.

И в руках у меня оказалась бумажка, три рубля.

Вероятно, именно эта трехрублевка, это мое огорчение, что вместо ожидаемых и казавшихся мне вполне естественными родственных рыданий и объятий, все получилось так нелепо, да, именно этот толчок, эта растерянность сразу же вернули меня в Париж. Я лег на кровать, принял две или три снотворных лепешки, решив, что надо бы со всей этой чертовщиной покончить, а то можно и на одиннадцатую версту попасть. Но сна не было. Достал с полки книгу, не очередную, постылую, глупую «новинку», а одну из моих любимых книг, одну из тех, которые обмануть и ни с чем оставить не могут. Но ни спать, ни читать я не был в силах. Больше того: не мог жить. Дело ведь было не в том, что меня не приняли, не узнали, что тетя Ася сидит сейчас на красном диване, около памятника Екатерине, в зале Дворянского собрания, и не отрываясь смотрит в бинокль на Никиша, вероятно, все-таки недоумевая, откуда это пожилому господину, в потертом, легком, не по сезону, пальто, стало известно про чайные розы от Эйлерса. Нет, мелькнула и заставила меня содрогнуться совсем другая мысль. Надо что-то сделать. Надо предупредить, надо сделать, чтобы не было того, что будет. История одна? У меня возникла вдруг твердая уверенность, что это не так, не совсем так, и что от одного центра могут разойтись в истории почти бесконечные возможности. От одного центра по бесчисленным радиусам. Был я сейчас, пять минут тому назад, в Петербурге, Виленский, 4? Был. Я не бредил, не спал. Я был. Был. Очнувшись в Париже, я оказался не в постели, не в кресле, а на лестнице, у моей входной две-

ри, с ключом в руках. Куда-то я перед тем вышел, поблизости, ненадолго, а каким образом в эти несколько минут уместилось мое пребывание в Петербурге, не знаю. Не знаю и не понимаю. Но там я вспоминал Блока и, любуясь самим собой, восстанавливал какие-то свои возвышенно-сентиментальные юношеские эмоции, цитировал удержавшиеся в моей памяти строчки. До чего ничтожно все это по сравнению с тем, что открылось мне теперь! На календарном листке было помечено 1913. Значит, есть еще время остановить, изменить. Они не знают того, что будет, не знают, что будет война, революция, они не знают, что всех их ждет, что Россию ждет, а я знаю и обязан сделать так, чтобы того, что будет, не было. Или по крайней мере, чтобы было и другое будущее, вызвать другое будущее из беспредельного небытия. Нет, это не абсурд, хотя я не в состоянии и сейчас объяснить, почему это представляется мне возможным, даже и сейчас, кода я сижу над этими своими записками, после провала, после постыдной моей неудачи. Неудачи, которую я не прощу себе никогда, до самой смерти, потому, что виновен в ней я, никто другой, и если бы хватило у меня тогда, в нужный, долгожданный момент самообладания и силы договорить все, что надо было сказать, история, может быть, надо мной не посмеялась бы. Но об этом дальше, я сбиваюсь, путаюсь, волнуясь от рокового воспоминания.

Чего бы я добился, если бы даже удалось мне убедить деда, кто я и откуда, что я могу как по книжке прочесть ему все, что произойдет в ближайшие десятилетия? Чем он помог бы мне? Какие-то

связи у него, кажется, были, но мелкие, второстепенные. Человек он был легкомысленный, добрый, веселый, общительный, дилетант, прирожденный дилетант во всем, и, по моим детским догадкам, даже и друзья вполне всерьез его не принимали. Куда пойти? В Государственную Думу? К какому-нибудь министру? Но, во-первых, министр меня не примет, а если и примет, то сочтет за умалишенного и оборвет разговор на полуслове. Да в сущности и министр оказался бы бессилен. Надо было добиться приема «там», на самых верхах. Но как? Предположение, что только «там» я предстану нужным, спасительным вестником из будущего, несмотря на слабость и уклончивость того, что, по общему мнению, по всем доходившим до меня сведениям, представляло собой это «там», уверенность, что мой рассказ о будущем, со всеми ужасами, которые я перечислю, с изображением всего, что еще призрачно держится, но уже обречено, с кровавым туманом, над всеми нами нависшим, самый тон мой, моя горячность, моя страстная, неотвязная настойчивость... не знаю, как кончить фразу. Да и ни к чему кончать: все и так ясно. Надо, надо что-то сделать, а если оказалось, что сделать это должен я, мало подходящий для исторических и метафизических подвигов человек, то значит, такова моя судьба. В многомиллиардной мировой лотерее вышел мой номер. Но, признаюсь, я был измучен, и даже соседка моя по площадке на лестнице, русская, из Таганрога, встретив меня в лавке, участливо сказала: «Что это, вас как будто подтянуло», — впрочем, тут же добавив, что при такой несносной погоде она и сама прескверно себя чувствует.

Измучен был я тем, что переброски мои в Петербург прервались, как я ни старался вымышленными мной, но, очевидно, вздорными способами их возобновить. Прервались как раз тогда, когда я вспомнил о Маргарите Францевне, последней моей надежде на содействие и помощь. Вспомнил и вздрогнул от радости, от уверенности, что добьюсь цели.

«Знаете ли вы украинскую ночь? Нет, вы не знаете украинской ночи», — писал Гоголь. Знаете ли вы Маргариту Францевну? — хочется мне спросить. Когда-то имя ее знала вся Россия, а теперь эта знаменитая артистка доживала свой долгий век в Париже, где я не раз у нее бывал и, сидя у ее глубокого кресла, слушал рассказы о далеком прошлом. Удивительная женщина, сохранившая до девяноста лет живой, быстрый ум и способность каким-то чутьем догадываться о том, что понять было бы ей, пожалуй, трудновато. Ну, а по части связей она могла бы дать сто очков вперед любому министру. Я вспомнил о ней и сразу решил, что при новом своем пребывании в Петербурге, — если оно повторится, если опять будет 1913 год, — отправлюсь прямо к ней.

Да, после долгого перерыва, и именно тогда, когда я всего менее этого ждал, я снова побывал в родном городе. Но побывал напрасно. Швейцар всем петербуржцам знакомого особняка хмуро, даже подозрительно оглядел меня и заявил, что барыня никого не принимает. «Но мне очень нужно... по очень важному делу», — повторял я. Из-за вторых, внутренних дверей выглянула нарядная молодая горничная. Она оказалась приветливее,

но подтвердила, что без предупреждения никого принимать не велено. Тут я сделал глупость, спросил: «Скажите, здесь у вас в Петербурге... какой здесь год? 1913, да?» Швейцар усмехнулся, покачал головой и, осторожно взяв меня за плечи, вывел на улицу. Я уныло поплелся к Троицкому мосту: почему-то мне захотелось взглянуть на Неву, такая ли она широкая, как мне по воспоминаниям казалось. Но моста не было. Была зажженная лампа на моем парижском письменном столе. Под лампой письмо в узком, длинном американском конверте, наполовину надорванном. Очевидно, я не успел его распечатать.

Письмо я отложил и взялся за телефон. Слабый, теперь уже всегда хриплый голос Маргариты Францевны. «Нет, сегодня нельзя, дорогой. Поздно, к вечеру я совсем без сил. Завтра? Что-нибудь спешное? Хорошо, завтра, часам к пяти».

Завтра. Пять часов. Я опять сделал оплошность, принявшись рассказывать, что был у нее в Петербурге и что меня не приняли. Она беспомощно, два или три раза, провела рукой по лбу. «О чем вы говорите?» Мне стало ясно, что надо найти какую-нибудь уловку, иначе ничего не получится. Сон, сон! Я знал, что она верит в сны, и решил сослаться на необыкновенное сновидение. Будто мне привиделось, с совершенно чудесной, небывалой отчетливостью, что я был у нее, что мне непременно, по важнейшему делу, надо было с ней поговорить, а меня даже не впустили. Она заинтересовалась, оживилась. «Да ведь я действительно никого так, с улицы, не принимала. Как же я

могла, сами понимаете! Моему Матвею было раз навсегда приказано никого не впускать». Матвей: не забыть бы! Сон мой мало-помалу стал расцвечиваться яркими красками, прилив лживой изобретательности не оставлял меня. Она слушала внимательно, как, впрочем, всегда со вниманием и удовольствием слушала все относящееся к былой ее жизни, к сценической карьере, к славе. Мне показалось даже, что в ее старческом, усталом мозгу произошла путаница и что иногда она отвечала на мои расспросы так, будто верила, что вчера я действительно был у нее в Петербурге, где Матвей не совсем вежливо взял меня за плечи. «Не может быть, — со смехом повторяла она, — не может быть, этого он никогда не позволил бы себе». Потом, помолчав и задумавшись, спросила:

— Вы говорите, 1913 год... да? Значит, незадолго до войны, да? Вот если бы вы тогда сказали, что вы от Подснежника, я приняла бы вас ночью, днем, утром, когда хотите.

И вместе с какой-то странной улыбкой, молодое, счастливое лукавство мелькнуло в ее глазах.

(Эта ее улыбка, ее короткий смешок оживил в моей памяти одну давнюю встречу. Никакого отношения к тому, о чем я сейчас пишу, встреча эта не имеет, но не раз уже мне хотелось о ней рассказать, для «потомства», для «истории». Мелочь, конечно, но похожая на пылинку, которая начинает светиться, попав в солнечный луч.

Мне было лет тринадцать-четырнадцать, не больше. С матерью мы обедали у Карцовых, наших петербургских знакомых. После обеда собра-

лось довольно много гостей. Я почти никого не знал, скучал, стеснялся, молчал. Хозяин дома, Георгий Павлович, зная о моем интересе к литературе, участливо наклонился ко мне:

— Видите, там сидит и дремлет старушка в седых букольках. Она когда-то танцевала с Пушкиным. Поговорите с ней, она будет рада.

Упустить такой случай нельзя было. Я расхрабрился, подошел, поклонился, назвал имя Пушкина. Старуха вздрогнула, очнулась.

— Что, Пушкин?.. — совсем, как Ларина, мать Татьяны, в Москве: «Как, Грандисон?.. а, Грандисон».

— Ах, да, Пушкин! Большой, большой был надсмешник!

И сказав это, она хихикнула. Кроме этого «надсмешника», почему-то с «д» в середине слова, я ничего не добился. Но тогда же подумал, что, вероятно, Пушкин, если он действительно танцевал с ней, сказал хорошенькой девочке на ухо что-нибудь двусмысленное, и это ей запомнилось. Однако еще раз: об этом мимоходом, только потому, что было в ее старческом хихикании что-то общее с улыбкой Маргариты Францевны, вспомнившей о Подснежнике. Кто он был, этот Подснежник? Не знаю. Моряк? Офицер?)

Я едва не вскочил, хотел уйти. Больше ничего мне не было нужно, ключ был у меня в руках: сказать, что я от Подснежника. Но Маргарита Францевна держала меня за руку. «Простите, я не собираюсь посвящать вас в свои сердечные тайны... да ведь и столько лет прошло! Бедный, бед-

ный Подснежник. Мне передавали, что в Севастополе, перед расстрелом, он громко и твердо сказал: «Да будет воля Твоя».

Голос ее дрожал, в глазах стояли слезы. Что было потом? Едва ли стоит рассказывать. Было в сущности только одно: нетерпеливое ожидание, что вот-вот я опять окажусь в Петербурге, боязнь, что этого не будет, именно теперь не будет, когда дело как будто налаживается. Временами были приступы отчаяния. А вдруг в загадочной, непонятной мне машине какое-нибудь колесико даст перебой, и перенесусь я не туда, где мне надо побывать. Нет, в другой век, в другую страну. Но я сам себя убеждал, что не случайно же я переношусь в Петербург, а не в Китай или в Египет при Рамзесе Втором. Есть в этом смысл, не может быть, чтобы смысла не было. Из дому я почти не выходил, сидел, смотрел в одну точку, смутно надеясь, что это способствует тому, чему я не находил названия, — переброскам, переносам? — хотя должен был по опыту знать, что ничто их не облегчает, ничто им не препятствует. В Париже еще осень, сыро, дождь льет с утра до вечера. Надо бы вскипятить воды, выпить чаю. Я встал...

Матвея на подъезде не было, мне представилось, что это хороший знак. Отворила дверь горничная, не та, которая была в первый раз, а другая, постарше, не такая вертлявая. С подчеркнутой деловитостью, будто чем-то озабоченный, я сказал: «Передайте барыне, что я от Подснежника». Она как-то сообщнически улыбнулась, быстро, на ходу указала мне дверь направо, в гости-

ную, и скрылась. Наверху, за маленькой полувинтовой лестницей, устланной голубой бархатной дорожкой, послышался возбужденный голос. Маргарита Францевна сбежала в легком халатике, в туфлях на босу ногу, худенькая, стройная: никогда бы я ее не узнал, если бы не помнил по давним портретам. Она схватила меня за обе руки:

— Где он? Почему он не пишет?

Я сел, она продолжала стоять. У меня стоять не было сил.

— Где он? Что-нибудь случилось?

Я молчал.

— Ради Бога, скажите же что-нибудь... только ничего не скрывайте, ничего! Где он? Она опять с ним? Опять?

Наконец я совладал с собой.

— Маргарита Францевна, сядьте, мне нужно с вами поговорить. Это очень важно. Я не знаю Подснежника, я никогда не видел его...

— Как, даже никогда не видели? Значит, это вранье? Как вы смеете...

И убежав в переднюю, она принялась бранить горничную. «Да ведь они сказали, что они от Подснежника», — оправдывалась та. «Вранье, вранье, тысячу раз я говорила всем вам, никого с улицы не принимать. Где Матвей?»

Вернувшись в гостиную, она резко остановилась на первой ступеньке лестницы и с негодованием взглянула на меня. «Как, вы еще здесь?» Я близко подошел к ней и тихо, отчеканивая каждое слово, проговорил: «Да, я еще здесь. Я пришел сказать вам, что Подснежник будет расстре-

лян. В Севастополе». Она побледнела, взялась дрожащей рукой за перила. Я продолжал: «Да, он будет расстрелян в Севастополе, а вы будете жить очень долго, умрете в Париже, и умрете в бедности, все потеряв, все».

На пороге показался Матвей с каким-то человеком в зеленом фартуке. Она молча, кивком головы велела им уйти и уже иначе, спокойнее, как будто даже задумчиво, сказала: «Странно, Чинский предсказал мне то же самое. Что я умру в Париже, в глубокой старости, без копейки денег. Вы знаете Чинского? Необыкновенный человек. Он даже улицу мне назвал, не помню какую». — «Рю Буало?» — «Да, да, кажется, Буало. Откуда вы знаете? Да, Буало. У меня есть план Парижа. Где эта улица?»

Мне хотелось ответить, что я у нее на улице Буало довольно часто бываю, что ей теперь девяносто лет, или даже больше, что все близкое ей, все окружающее ее исчезло, погибло... но я почувствовал, что надо поступить иначе. Она ничего не поняла бы, не могла бы понять и, вероятно, приняла бы меня за сумасшедшего, несмотря на совпадение с предсказанием Чинского, полувизионера, полувыдумщика, в те времена в Петербурге очень популярного. Она сказала бы мне то же самое, что я сам себе говорил, до сих пор иногда говорю: если это, — т. е. то, что я знаю, видел, пережил, — если это уже было, как же сделать, чтобы это не было? Или как построить рядом с одним будущим и другое? Она бы меня не поняла, разговор оказался бы бесцельным. Надо было, зна-

чит, притвориться провидцем, чувствующим опасность, но допускающим возможность ее предотвращения. Что было для меня важно? Что? Только то, чтобы меня приняли «там», на верхах, где я изложу все ужасы, всю правду. Не может быть, чтобы «там» мне не поверили, не поняли, не сделали всего, что нужно, не может быть, чтобы продолжала царить та же слепота и впереди была та же пропасть. Я никогда не подозревал в себе актерского дарования, но, по-видимому, меня осенило вдохновение, думаю, посланное свыше. Я говорил Маргарите Францевне о Подснежнике, признался еще раз, что никогда имени его не слышал, но что будто бы здесь, в этом доме, уловил то, что ему угрожает. Говорил о России, не помню еще о чем, с лихорадочной настойчивостью прося устроить нужное мне свидание, убеждая ее, что ей, при ее связях, известных всей стране, это ничего не стоит. Каждую минуту, с каждым словом я боялся проговориться, испортить дело, сказать, что все это уже произошло. Она слушала внимательно, в ее умных, блестящих черных глазах было любопытство, был и страх. По-видимому, она мне верила, как вообще верила колдовству и предсказаниям. Это я знал по парижским с ней разговорам. Когда наконец я в изнеможении умолк, она сказала: «Хорошо, я постараюсь устроить то, что вам нужно. Это не так легко, как вы думаете, но я попробую. Только будьте там тверды, будьте настойчивы. А то он вас выслушает, поблагодарит и ничего не сделает. Вот ведь в чем беда! Дайте мне ваш адрес или номер телефона».

Адрес, номер телефона... От неожиданности я растерялся. Она смотрела на меня с удивлением и внезапно возвратившимся к ней недоверием. Я пробормотал: «Знаете, сегодня мне надо уехать... в Москву... нет, может быть, в Киев. Если разрешите, я зайду к вам позже». Недоверие в ее глазах усилилось. «Как хотите», — холодно, слегка пожав плечами, сказала она, но руку на прощание все-таки мне подала. Я и тому был рад, хотя вышел смущенный и подавленный: а вдруг она раздумает, вдруг решит, что не стоит придавать значение болтовне какого-то проходимца? Я-то отлично отдавал себе отчет в смысле этого моего «позже», — как же мне, в самом деле, знать, когда я опять попаду в Петербург? — но ей оно должно было показаться подозрительным: спешил, умолял, а теперь, видите ли, «позже»! Как внушить ей, что дело мое бесконечно важнее всех ее несчастных Подснежников, важнее всего на свете? Вернуться, объяснить причину моего замешательства? Значит, сказать всю правду? Я в растерянности стоял на улице и чуть было не дотронулся до звонка в бронзовой оправе, изображавшей раскрытую львиную пасть. Теперь-то, год или два спустя, я знаю, что дело мое сорвалось из-за мимолетной утраты волевого напряжения, из-за исчезновения сосредоточенности на одной мысли, на одном желании. Сорвалось «там». Ту же оплошность допустил я и в доме Маргариты Францевны. Может быть, это было предостережением, уроком. Особняк улетучился, низкого неба с клочьями будто вперегонки летевших облаков не было. Я сидел за своим столом в Париже, перелистывая словарь Ушакова.

Словарь я с раздражением отбросил. Тяжелый том распластался на полу. Я лег и стал думать: что делать? Не знаю, не могу вспомнить, сколько часов я так лежал, но мало-помалу волевое напряжение опять овладело мною, хотя я и говорил себе, что теперь оно бесцельно. Бесцельно? Может быть, не совсем, как выяснилось потом. Опять, на какую-то десятую или сотую долю секунды я оказывался в маленькой нарядной гостиной с голубым ковром, темные, блестящие глаза опять вглядывались в меня с пытливым страхом. Но только на сотую долю секунды, и едва я вставал, как снова полуразодранный том Ушакова был передо мной на полу. Не позвонить ли Маргарите Францевне, здешней, девяностолетней, парижской? Но зачем? Что я ей скажу? Стало уже светать, а я все лежал и думал, и не в силах был ничего придумать. Было, однако, у меня чувство, что придумывать и не к чему и что этой ночью я наверстал упущенное, может быть не все, но какую-то его частицу, наверно. Передача мыслей? Из настоящего в прошлое? Не знаю, не знаю, я с ума схожу, когда пытаюсь что-нибудь понять в этой неразберихе, и, вероятно, даже на том свете, когда умру, не пойму и не узнаю ничего. Однако, на четвертый или пятый день моих сомнений, ожиданий, упреков, надежд, видений, раздался телефонный звонок. Маргарита Францевна. Она уже давно перестала мне звонить, звонил всегда я ей, да и то редко, к праздникам, ко дню ее рождения. Знакомый дребезжащий голос, который я узнал бы из тысячи. «Скажите, я что-то… обещала вам? Что-то я должна сделать. Не могу никак вспомнить, но

это меня мучит... я всю ночь не спала». От изумления я ответил не сразу. «Нет, нет, ничего. Спасибо. Нет, я ни о чем вас не просил», — и справившись о ее здоровьи, повесил трубку. Значит, что-то дошло. Не туда, куда надо, но дошло. А может быть и туда. Не напрасно я чувствовал прилив бодрости и даже уверенности, что цели достигну. Но когда достигну? Прошла неделя, прошла другая. Еще несколько дней, и я, пожалуй, заболел бы от тоски и недоумения.

Прием состоялся. Обманут я самим собой не был. Да в сущности и сомневался лишь в том, удастся ли Маргарите Францевне помочь мне, проявит ли она достаточно настойчивости. Я вспоминал ее слова: «Это не так легко, как вы думаете», — и боялся, что утруждать себя она не станет. Но нет, прием наконец состоялся. Все произошло гораздо проще, чем я предполагал, без всяких предварительных процедур, переговоров, проверок. А я считал, что без них обойтись не может. Где я был? В Царском Селе? Вероятно. Впрочем, что мог я знать? Было еще довольно светло, но горела небольшая люстра, какого-то кабинетного, скромно-добротного английского типа; такую я видел где-то в Лондоне. Он принял меня стоя, подал руку и, отойдя за свой письменный стол, молча указал на кресло напротив. Почему-то я ждал, что он улыбнется. Но нет, была привычная безразличная приветливость, улыбки не было. Отложив какие-то бумаги и на секунду-другую задержавшись на одной из них, он откинулся, пристально взглянул на меня и сказал:

— Я вас слушаю.

В голосе чувствовалось привычное ожидание доклада. Невольно я подчинился этой его манере держаться, хотя в прежних своих раздумиях готовился ко всему, что угодно, кроме делового, спокойного тона, который здесь был, по-видимому, единственно уместен. Превозмогая себя, я начал говорить именно так, как он мне безотчетно внушил: я именно «докладывал», как по заранее составленному тексту, старательно округляя придаточные предложения, только изредка сбиваясь и путаясь. Начал с того, что здесь, у него, сейчас 1913 год, но в действительности сейчас 196... год. На лице его не отразилось ни малейшего удивления. Он продолжал внимательно смотреть на меня, однако, не прямо в глаза, а как-то мимо, будто одновременно и на меня, и в какую-то пустоту за мной. Да, теперь 196... год, — повторил я, — и пришел я к нему из будущего, пришел сказать, что в ближайшее время предстоят грозные, гибельные события. Надо принять меры, чтобы предотвратить их. Сейчас, вспоминая, я лишь вкратце передаю то, что говорил, но изложение мое было обстоятельно и, по-моему, даже довольно красноречиво, как мог бы докладывать почтительный, полный достоинства, знающий в своем деле толк министр. Он оставался невозмутим и только один раз перебил меня, спросив, о каких же мерах может идти речь, если все то, о чем я рассказываю, уже произошло.

— По радиусам, — отвечал я, краснея, чувствуя, что говорю не то, что надо, что сбиваюсь с

роли министра. — От одного центра расходится бесчисленное количество линий. Так и во времени. Есть одно будущее. Может возникнуть и другое. По другому радиусу.

— Да, если по другому радиусу, — невозмутимо повторил он, будто поняв и соглашаясь. И оглянулся.

В глубине комнаты шелохнулась портьера и вошла она, царица, с какой-то работой в руках. Он весь посветлел и улыбнулся в первый и единственный раз. Я встал. Но она еще на ходу сделала мне торопливый знак рукой, означавший «продолжайте, не обращайте на меня внимания», и, сев в кресло, опустила голову и склонилась над своим вышиванием, как показалось мне, для того, чтобы присутствием своим меня не стеснять. Он сказал несколько слов по-английски. Она ответила так же коротко, вполголоса. Я плохо знаю английский язык, да и говорили они еле слышно, невнятно, как говорят давно и близко сжившиеся люди, понимающие друг друга еще до того, как смысл сказанного становится вполне ясен посторонним. Но слово «crazy» я уловил. Значит, опять то же самое, то, чего я больше всего опасался: он считает меня сумасшедшим.

— Нет, я в своем уме... я не болен... я не сумасшедший, — тихо, прерывисто, уже не в состоянии сдерживать волнения, сказал я. Министерская роль была мне больше не под силу. Я нервничал, да и сознавал, что лучше оставить деловой тон, что не стоило и добиваться приема, если так, до конца, с тем же вежливым равнодушием он и

будет слушать меня, как слушает, вероятно, сообщение о желательности какой-нибудь мелкой реформы. Помню, я вдруг вскочил и чуть не взял его за руку. Руку он отвел. Я говорил:

— Надо, надо что-то сделать. Поезжайте к Вильгельму, предупредите его...

Он нахмурился и довольно резко перебил меня:

— При чем тут император Вильгельм?

Я почувствовал, что недовольство его вызвано преимущественно тем, что сказал я просто «Вильгельм», без «императора». Надо было соблюдать установленные формы, не стоило из-за пустяков раздражать его. Но что — пустяки, а что — не пустяки? В предвидении всего, о чем я пришел известить его? В сравнении с тем, что впереди? Не все ли равно, пусть я говорю не так, как положено, не все ли равно, что он удивится, рассердится, опять перебьет меня, только бы выслушал, понял, что я говорю правду, что я не болен, что надо, надо что-то сделать, предупредить, остановить, спасти.

— При чем тут Вильгельм? — переспросил я, опять, но даю слово, без всякого умысла, исключительно от волнения, от рассеянности, опять пропустив «императора», — при чем тут Вильгельм? При многом, очень многом, как же вы не понимаете? Будет война с Германией, нельзя допустить войны, сговоритесь, уступите, согласитесь на какие угодно условия, это не имеет значения, да и не будет условий, вы плохо окружены, вас обманут, заставят, Россия не выдержит войны, последствия будут ужасны, вы не знаете, что будет потом, нельзя

допустить войны, это безумие, самоубийство, все погибнет, все, государь, сделайте что-нибудь, вы не знаете, до чего это важно, для вас самого, для всех, умоляю вас, я готов на колени стать, сделайте что-нибудь, кровь, кровь зальет Россию, море крови, океан крови, сколько жертв, сколько благородной, чистой, самоотверженной молодежи, не только во время войны, а и после, после, ваше величество, после будет еще хуже, тюрьмы, лагеря, казни, слезы, муки, поезжайте к нему, сговоритесь, сделайте что-нибудь, назначьте диктатуру, отрекитесь от престола, позовите Витте, позовите Милюкова, позовите какого-нибудь умного генерала, устройте совещание мудрейших русских людей, всех профессий, всех взглядов, всех толков, объясните им, предупредите, сделайте что-нибудь, не теряйте времени, не играйте с огнем, вы мне не верите, но я говорю о том, что видел, пережил, государь, верьте мне, я знаю, что ждет Россию, я один говорю вам правду, я ночами не сплю, я должен, должен был придти к вам, решитесь, найдите в себе силы, на вас ответственность, вы можете...

Существует ли на свете дьявол? Прежде я, как водится, сомневался и только за рулеткой или за покером смутно чувствовал присутствие каких-то подвластных ему бесенят. Но пусть теперь не говорят мне, что дьявола на свете нет. Дьявол есть, и это он следил, наблюдал, в нужный момент вмешался и с чисто дьявольской вкрадчивой виртуозностью сорвал мое дело.

Все, казалось, шло как следует. Я сбивался, волновался, но видел, что внезапный переход от

доклада к мольбе некоторое впечатление производит. Даже то, что я вторично пренебрег императорским титулом произвело впечатление, и скорей в мою пользу. Он сидел бледный, с каким-то беспомощно-горестным выражением в глазах. Я колебался, сказать ли то, что приберегал к концу: о Екатеринбурге, о подвале ипатьевского дома. Что-то удерживало меня, вероятно, жалость. Но обойтись без этого довода было невозможно, в нем была главная сила, и я решил обратиться к ней, или к нему и к ней вместе, но именно ей, женщине, сказать о судьбе сына, мужа, дочерей, ее самой. Мне представлялось, что с ее стороны отклик будет глубже, решительнее, длительнее, да ведь и настроена она была так, что путаница с годами и эпохами озадачить ее нисколько не могла. Для нее все невероятное было вероятным, и наоборот. «Делай то, что нужно, возьми себя в руки, скажи все, со всеми ужасными подробностями, делай то, для чего ты здесь оказался, иначе не стоило ничего и затевать», — внушал я себе. Помолчав и не без труда переведя дыхание, я обернулся к ней.

Она стояла, насколько помню, с лорнетом в руках и, наклонившись, оглядывала сидение кресла. По-видимому, она не очень внимательно слушала то, что я говорил. Может быть ей, иностранке, и трудно было следить за моей торопливой, бессвязной русской речью. Поводив рукой по креслу, приподняв и опять прислонив к спинке большую бархатную подушку, она нагнулась ниже и стала осторожно шарить рукой по ковру, все с тем же приставленным к глазам лорнетом. Я мол-

ча смотрел на нее. Будет война, будет революция, будут неслыханные бедствия, а она ищет выскользнувшую из рук иголку. Зачем ей иголка? С величайшей услужливостью, с раболепием ей принесли бы миллионы иголок, нашли бы ту, которая упала: нет, она встала, нагнулась и с тяжелым усилием ищет сама. Извечный, вековечный женский жест, из поколения в поколение. Будут новые войны, землетрясения, пожары, восстания, казни, а где-нибудь, после того, как все мы исчезнем, всех нас забудут, опять встанет женщина и примется искать на полу иголку. Она стоит над пропастью: ищет иголку, Смерть смотрит ей в глаза: она ищет иголку. «Поверят ли мне?» — спросил я, кажется, в начале этих своих записок. — «Поймут ли меня?» — хочется спросить мне сейчас. Я смотрел на нее, как зачарованный, онемев, обессилев от заполнившего меня сознания, что была жизнь и всегда будет жизнь. Единая, загадочная жизнь. Да, это подстроил дьявол, сомнения у меня нет. Он выдернул из ее рук иголку, он побудил меня именно в нужный момент оглянуться, он исподтишка загипнотизировал меня неожиданно нахлынувшими, впервые испытанными чувствами, он заставил меня молчать и смотреть, оборвав на полуслове речь. А главное, он не дал, он не позволил мне сказать то, что должно было потрясти ее и, может быть, привело бы к долгожданной, желанной цели: предупредить, образумить, ужаснуть, остановить, спасти. Я продолжал молчать.

И, вероятно, оттого, что я продолжал молчать, все вокруг меня начало тускнеть и бледнеть. Это я заметил не сразу, а заметив, вздрогнул, понял, что по своей же вине выпускаю дело из рук, что нельзя терять и секунды. Но было уже поздно. Срок был упущен. Я хотел схватиться рукой за край стола, рука не слушалась. Хотел вскрикнуть, не мог. Была тишина, туман, пустота, как всегда в таких случаях. А потом был Париж, знакомые трубы и крыши за моим окном. Точка: больше в сущности не было ничего. Разве только мой стыд, да еще горечь от уверенности, что дело проиграно начисто, что исправить ничего нельзя.

Да, я чувствовал безошибочно, что больше в Петербург не вернусь. Прошло с тех пор почти два года: возвращения не было. Наоборот, передо мной была стена. Даже ожидания мои прекратились, настолько ясно было, что они никчемны. Очевидно, «кто-то знающий», как сказал бы Леонид Андреев, понял, что со мной дела иметь не стоит, может быть, подыскал себе другого, более подходящего. Но меня долго мучил вопрос: что же произошло там, когда я внезапно и бесследно исчез? Еще раз скажу, сто раз повторю то, что уже говорил: я был там, был. Не было ни забытья, ни сна. Но может быть, все это представилось сном там, для него? Или все-таки то, что успел я сказать, какие-то последствия имело? Брешь была пробита? Не брешь, так какая-нибудь трещинка? И другое будущее возникло? «По другому радиусу», как тогда повторил он за мной со своей неподражаемой, устало-безразличной,

безучастно-вежливой интонацией, которая до сих пор звенит у меня в ушах? Не знаю, ничего не знаю, никогда не узнаю. И никогда оплошности своей не прощу себе.

Есть еще факт, о котором мне хочется упомянуть. Сначала я был даже взволнован, но потом решил, что придавать значение случайным мелочам не стоит. Совпадение, только и всего. Если бы я сочинял рассказ, то, пожалуй, использовал бы эту мелочь для вящего, пусть и грубоватого эффекта. Но и рассказ это испортило бы, рассказ уподобился бы чему-то вроде балетного либретто, только с пожилой краснощекой француженкой, кассиршей соседней красильни, вместо полувоздушной нимфы. Да я ведь и не пишу рассказа.

Нет, конечно, совпадение. Этой весной, собираясь на каникулы и перебирая вещи, я отнес старый, залежавшийся пиджак в чистку. Неделю спустя пришел взять его. На стойке, за которой кассирша что-то подсчитывала, лежала зеленая трехрублевая бумажка с двуглавым орлом. Кассирша заметила, что я не отрываясь смотрю на нее.

— Это иностранный кредитный билет. Кто-то из клиентов забыл в кармане. Может быть, вы? Но, говорят, никакой ценности он не имеет.

Я надел очки. «Три рубля. Государственный банк разменивает без ограничения на золотую монету... Управляющий А. Коншин. Кассир Наумов. 1905».

— Это русские царские деньги. Нет, не мои.

— Да, русские, мне так и сказали. Не удивляюсь, все русские такие рассеянные. Вечно что-нибудь теряют или забывают.

Нет, это была не моя трехрублевка. Я теперь все допускаю, решительно все, но нет, это было бы слишком неправдоподобно. Виленский, 4. «Простите, вот, чем могу...» Нет я не в силах верить. Но жаль все-таки, что я отказался взять никому ненужный билет: надо было бы спрятать его, сохранить. Одна стомиллиардная, одна квадриллионная вероятия... все-таки надо было бы сохранить его. Не как вещественное доказательство, а на вечную память: о том, что бывает, о том, что не сбылось.



ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящий том собрания сочинений вошла практически вся известная ныне беллетристика Адамовича. В основе тома — составленная самим Адамовичем итоговая книга стихотворений «Единство» (1967), в дополнениях — стихотворения ранних сборников «Облака» (1916), «Чистилище» (1922), «На Западе» (1939), попытки прозы, а также переводы (за исключением произведений большого объема).

Поэтическое наследие Адамовича сравнительно невелико. Нам известно 159 текстов, опубликованных им при жизни. Два стихотворения были опубликованы посмертно, еще четыре текста (преимущественно шуточные стихи на случай) оставались неопубликованными. Итого — 165 текстов, но в архивах могут еще быть находки. Ю. Иваск пишет, что Адамович «дал в печать не более ста стихотворений, хотя как-то мне признался, что писал их часто, но "не предавал тиснению"» (НЖ. 1972. № 106. С. 286). Вероятно, с легкой руки Иваска число «сто» фигурирует во всех справочниках.

Редактором собственных стихов Адамович был невероятно строгим. В «Единстве» перед нами своеобразный тройной отбор — во-первых, он, по справедливому выражению Николая Вадвича, «всегда охотнее промолчит, чем скажет лишнее», пишет только когда не писать не может. Во-вторых, в печать отдает после многих размышлений и скрепя сердце, поскольку по большей части все, что вышло из-под его пера, «не вполне устраивало и его самого». В-третьих, на склоне лет он

просмотрел все опубликованное и отобрал стихи, выдержавшие, по его мнению, проверку временем. В сознании потомков он намеревался остаться именно этим тщательно отобранным корпусом стихотворений. И в общем-то нет никаких оснований нарушать его авторскую волю. То, что ко многим своим стихам он был незаслуженно строг, легко убедиться, обратившись к ранним сборникам, помещенным в дополнения.

Даты под стихами (в тех немногочисленных случаях, когда Адамович их проставлял) воспроизводятся и в настоящем издании. Если стихотворение было датировано в ранней редакции, а в книжном издании дата была снята, она приводится в примечаниях курсивом в скобках. В большинстве же случаев нам известна только дата первой публикации. В примечаниях учтены наиболее значительные разночтения в ранних вариантах стихов. Многочисленные пунктуационные разночтения особо не оговариваются.

Список условных сокращений

АППЭА — Антология петербургской поэзии эпохи акмеизма. Мюнхен, 1973.

ВП — Воздушные пути. Нью-Йорк, 1960–1967. №№ 1–5.

200 поэтов — Вернуться в Россию стихами... 200 поэтов эмиграции: Антология / Сост. Вадим Крейд. М.: Республика, 1995.

Е — *Адамович Г.* Единство: Стихи разных лет. Нью-Йорк: Русская книга, 1967.

ЕШ — Русская поэзия XX века: Антология русской лирики от символизма до наших дней / Под ред. И. С. Ежова и Е. И. Шамурина. М., 1925.

ЖРП — Жемчужины русского поэтического творчества / Ред. Т. А. Березний. Нью-Йорк: Изд-во Общества Друзей Русской Культуры, 1964.

Звено — Звено. Париж, 1923–1928. (5 февраля 1923 — 19 июня 1927. №№ 1–229; 1 июля — 1 декабря 1927. №№ 1–6; 1 января — 1 июня 1928. №№ 1–6).

ИНП — Из новых поэтов: Сборник стихов / Сост. Борис Бродский. Берлин: Мысль, 1923.

ИР — Иллюстрированная Россия. Париж, 1924–1939.

Ковчег — Ковчег: Поэзия первой эмиграции / Сост. Вадим Крейд. М.: Республика, 1991.

Муза диаспоры — Муза диаспоры: Избранные стихи зарубежных поэтов. 1920–1960 / Сост. Ю. Терапиано. Франкфурт: Посев, 1960.

НЖ — Новый журнал. Нью-Йорк, 1942.

НЗ — *Адамович Г.* На Западе. Париж: Дом книги, 1939.

НРС — Новое русское слово. Нью-Йорк, 1910.

О — *Адамович Г.* Облака: Стихи. М.; Пг.: Альциона, 1916.

Опыты — Опыты. Нью-Йорк, 1953–1958. №№ 1–9.
ПН — Последние новости. Париж, 1920, 27 апреля — 1940, 11 июня. №№ 1–7015.
РЗ — Русские записки. Париж; Шанхай, 1937–1939. №№ 1–20/21.
РМ — Русская мысль. Париж, 1947-.
РН — Русские новости. Париж, 1945–1970. №№ 1–1288.
РПСВ — Русская поэзия «серебряного века», 1890–1917: Антология / Под ред. М. Л. Гаспарова, И. В. Корецкой. М.: Наука, 1993.
СЗ — Современные записки. Париж, 1920–1940. №№ 1–70.
ЦП-1. — Дракон.: Альманах стихов. Вып.1. Пг., 1921.
ЦП-2. — Альманах цеха поэтов. Кн. 2. Пг., 1921.
ЦП-3 — Цех поэтов. 3. Пг., 1922.
ЦП-4 — Цех поэтов. Альманах. № 4. Берлин, 1923.
Ч — *Адамович Г.* Чистилище: Стихи. Книга вторая. Пб.: Петрополис, 1922.
Числа — Числа. Сборники. Париж, 1930–1934. №№ 1–10.
ЭРП — Эротика в русской поэзии: Сборник стихов / Под ред. Бориса Бродского. Берлин: Русское универсальное изд-во, 1922.
Якорь — Якорь: Антология зарубежной поэзии / Под ред. Г. В. Адамовича и М. Л. Кантора. Берлин: Петрополис, 1936.

ЕДИНСТВО (1967)

Сборник «Единство. Стихи разных лет» (Нью-Йорк: Русская книга, 1967) Адамович рассматривал как свое поэтическое завещание. Книга включала тщательно отобранные автором 45 лучших стихотворений, написанных на протяжении полувека (из них 28 входили в сборник «На Западе», в том числе 4 стихотворения, публиковавшихся прежде и в «Чистилище»). Почти все стихи были впервые опубликованы в эмигрантской периодике — в «Звене», «Современных записках», «Числах», «Опытах», «Новом журнале» и др.

Подготовка книги началась задолго до выхода ее в свет. В письме Александру Бахраху 14 декабря 1964 года Адамович писал: «Сидел все эти дни над эвентуальным сборником своих стихов, который собирается издать Раннит из Yale (т. е. университета). Сегодня послал ему рукопись, но с чувством, что все не то и не так, кроме 2–3 "пьес", как выразился Ходасевич» (Bakhmeteff Archives. Columbia University. New York). Спустя год, в письме Игорю Чиннову 16 декабря 1965 г. Адамович писал: «Сборник стихов должен был выйти к концу года. Но Раннит (Yale), который за это дело взялся и хочет написать предисловие (или, кажется, послесловие), медлит, тянет и до сих пор ничего не написал. Я его не тороплю, т. к. торопить и нет причин. Вероятно, к лету книжка все-таки выйдет» (НЖ. 1989. № 175. С. 260–261).

Итоговый сборник патриарха эмигрантской поэзии был встречен с соответствующим пиететом. «Тема смерти — во всей ткани поэзии Адамовича, — писал в своей рецензии Роман Гуль. — Поэзия "Единства" идет в высокой русской лирической традиции — пушкинско-тютчевско-баратынской. Эта небольшая книжка — одна из ее подлинных "нот". Под конец жизни Адамович выговорил какие-то слова высокой значимости для каждого человека <...> эта книга, думаю, останется в большой русской лирике» (НЖ. 1967. № 89. С. 279).

Юрий Иваск выводил существенно иную и гораздо более убедительную родословную стихов «Единства». По его мнению, Георгий Адамович «на свой особый лад допел Лермонтова, Блока, Анненского <...> “Единство” Адамовича — книга о немодном теперь “самом главном” и, может быть, тем самым, она оправдывает и поощряет такие беседы о многом, даже обо всем... Это не только книга хороших стихов, имеющих несомненные формальные достоинства и неуловимую прелесть, неподдающуюся анализу. Стихи Адамовича будят мысль, незаметно очаровывают и глухо звенят где-то на самом “дне сознанья”, за что-то укоряя или же что-то обещая» (*Иваск Ю.* Эпоха Блока и Мандельштама // Мосты. 1968. № 13/14. С. 234, 235).

«Адамович — мастер срывающегося голоса, мастер обреченного шепота, — по определению Ольги Анстей, — мало кто умеет так обреченно шептать о смерти, как Адамович» (*Анстей О.* Разговор под дождь // НРС. 1967. 27 августа).

Юрий Терапиано находил, что «“Единство” — это очень русские стихи, органически связанные с большой линией нашей поэзии, но Георгий Адамович не только русский, но еще и европеец. В его стихах нет и тени постоянно врывающегося в произведения большинства современных русских поэтов какого-то неистребимого провинциализма. В “Единстве” и вкус, и тон, и уровень, и трезвый, ясный, порой даже несколько картезианский ум безупречны. И в то же время чувству дана полная свобода, а уменье вовремя остановиться, “сдержать опьянение и протрезвиться”, показывает, какой огромный путь поэтического опыта и внутреннего искуса необходимо пройти поэту, чтобы так говорить о самом для него значительном и важном <...> “Единство”, в своей самой сокровенной сущности, глубоко христианская книга, мотивы греха, раскаянья и смирения, в высшем смысле, то есть в сознании ограниченности человеческого “я”, мы встречаем повсюду, — и не в виде “выс-

тавленного напоказ", а без всякого "нажимания на педаль", в простом, трезвом и ясном утверждении того, что есть самого подлинного в человеке» (Русская мысль. 1967. 28 сентября).

Игорь Чиннов в статье «Смотрите — стихи» отмечал «тяготение к евангельской простоте, к сосредоточенности на самом важном, на единственно серьезном <...> По глубине чувства, по силе жажды слов незаменимых, освобожденных от случайности, "предельных" — эта книга, действительно, томов премногих тяжелей» (*Чиннов И.* Смотрите — стихи // НЖ. 1968. № 92. С. 138).

Тираж книги за рубежом расходился на протяжении четверти века, остатки его были ввезены в Россию и в течение нескольких недель 1992 года распроданы книжными магазинами Москвы и Новосибирска.

В России стихи из книги начиная с 1987 года широко печатались во многих журналах, газетах и альманахах, а также практически во всех антологиях, посвященных литературе русского зарубежья, но целиком в авторском составе сборник переиздается впервые.

«Стихам своим я знаю цену...» Встреча. [Париж], 1945. Сб. 2. С. 13. С разночтением в 5 строке: «Сквозь умаленья, повторенья».

А. Бахрах, рецензируя второй сборник «Встреч», отозвался о его стихотворном отделе в целом негативно, сделав одно исключение: «только стихи Адамовича с некоторым деланным смирением, что не лишает их пронзительности, говорят о беспомощности языка и о чем-то, чего не выскажешь словами. Но при этом Адамович поэт слишком умный и опытный, чтобы впадать в умничанье. Стихи его просты при всей их двупланности. Зато как эта простота (хотя бы и нарочитая) оттеняется соседствованием иных строф, в которых "мудрость" желает быть высказана любой ценой» (РН. 1945. 14 декабря. № 31. С. 3. Подп.: А. Б.).

В своем отзыве на «Единство» Юрий Иваск писал об этом стихотворении Адамовича: «“Иных поэзий торжество” для него — измена музыке, небу» (*Иваск Ю*. Эпоха Блока и Мандельштама // Мосты. 1968. № 13/14. С. 233).

«Тихим, темным, бесконечно звездным...» СЗ. 1929. № 40. С. 238. Под названием «Голос» и с разночтениями — 9–12 строки: «Я не слушаю, не отвечаю, / Я дышу, гляжу на белый свет... / Только понемногу умираю / голосу любимому в ответ». В НЗ воспроизведен первый вариант с разночтением в 10 строке: «Я живу, гляжу на белый свет».

«Ни с кем не говори. Не пей вина...» Звено. 1923. 19 ноября. № 42. С.2. С разночтением во 2 строке: «Оставь сестру и брата».

«Ты здесь, опять... Неверная, что надо...» НЖ. 1960. № 58. С. 93–94. Под названием «Отрывок» с разночтением в 20 строке: «Нет, я не болен, не схожу с ума» и дополнительной четвертой строфой:

Пообтрепалась ты в чужой столице,
Был даже слух, что по рукам пошла,
А петь не Бог весть что за мастерицей,
По совести, и прежде ты была.

«Без отдыха дни и недели...» *(1922)* Звено. 1923. 17 сентября. № 33. С. 2.

Георгий Иванов взял это стихотворение в качестве эпиграфа к своей книге «Петербургские зимы» (Париж, 1928).

«По широким мостам... Но ведь мы все равно не успеем...» *(1921)* ЦП-3. С.6. С разночтениями — 2 строка: «Эта вьюга мешает, ведь мы заблудились в пути...», 6 строка: «Рестораны распахнуты, стынет дыханье в груди...», 10 строка: «Но как скошены ноги, я больше бежать не могу...», 12 строка: «Все погибло, все кончено... Видишь ты, кровь на снегу...»

Обстоятельный разбор блоковских реминисценций в этом стихотворении см. в статье: *Фетисенко О. Л.* А. Блок и Г. Адамович (о возможном прочтении одного стихотворения Г. Адамовича) // Российский литературоведческий журнал. 1997. № 9. С. 78–89.

«О, если правда, что в ночи...» *(1922)* СЗ. 1937. № 64. С. 151. С разночтением в 15 строке: «Тогда конец, бессмер... победа».

«О, если правда, что в ночи...» — из пушкинского «Заклинания» (1830).

«...может быть, залог» — из пушкинского «Пира во время чумы» (1830).

«За слово, что помнил когда-то...» Числа. 1930. № 1. С. 12.

В книге «На Западе» опубликован вариант стихотворения с разночтением в первой строке: «За все, что ты помнил когда-то». Позже Адамович вернулся к первоначальному варианту.

«О, если где-нибудь, в струящемся эфире...» Там же. В НЗ с разночтением в 3 строке: «В невероятной тьме, в невероятном мире».

«Слушай, и в смутных догадках не лги...» НЖ. 1967. № 86. С. 21.

«Тише воды, ниже травы...» — из стихотворения Блока «Голос из хора» (1910–1914).

«Был дом, как пещера. О, дай же мне вспомнить...» *(1931)* СЗ. 1931. № 46. С. 163. Под названием «Баллада» и с разночтениями — строка 6: «И перекликались прощально рога», строки 9–12: «Лазурью дышу я — не сумраком дымным. / Скрипели веревки и голос могил, / И верность, как лебедь, над озером-миром / взлетала и падала тут же, без сил». В НЗ с разночтением в строках 9–12: «Лазурью дышу я, не воздухом дымным! / Скрипели веревки и голос молил, / И верность, как лебедь, над призрачным миром / Взлетала и падала тут же без сил».

Цветаева перед отъездом в Советскую Россию переписала это стихотворение в свою тетрадь: «— Себе на память — (2 июня 1939 г., пятница)», приписав под ним: «Чужие стихи, но к<отор>ые местами могли быть моими — МЦ)» (Звезда. 1992. № 10. С. 44). Под впечатлением от этого стихотворения Цветаева находилась по крайней мере неделю и цитировала строки из него в письме А. И. Андреевой от 8 июня 1939 года (*Цветаева М.* Собрание сочинений в семи томах. Т. 7. Письма. М.: Эллис Лак, 1995. С. 657). Ариадна Эфрон, разбирая позже записи матери, посчитала, что это стихотворение Ходасевича.

«Твоих озер, Норвегия, твоих лесов...» *(1924)* Числа. 1930/1931. № 4. С. 5–6. С разночтениями в 5–6 строках: «О горе, о любви, / О сбившихся с дороги и усталых». В НЗ разночтения в 5–6 строках: «О верности, о дружбе, о любви, / О сбившихся с пути, о всех усталых...»

Строку «О всех оставленных, о всех усталых...» Юрий Иваск выводил из блоковской: «О всех усталых в чужом краю...». По мнению Иваска, «в “Единстве” немало реминисценций из Блока», поскольку «поэзия Георгия Адамовича, как и поэзия Георгия Иванова, родилась в блоковском мире, в его музыке. Понятие это или — вернее — образ, точному определению не поддается. Это не инструментальная музыка. Это — музыка сфер — та романтическая динамика, о которой писал Ницше в философских комментариях к Вагнеру» (*Иваск Ю.* Эпоха Блока и Мандельштама // Мосты. 1968. № 13/14. С. 231–232).

«Светало. Сиделка вздохнула. Потом...» Встреча. [Париж], 1945. Сб. 2. С. 13. С разночтениями — без 4 строки, после 8 строки другой текст: «И не задохнулся, и в смутном волненьи / Не встал как с ударом землетрясенья, / И над морями, над тысячью рек / На голос беспомощно звавший не вышел. / И не почувствовал, не услышал, / Что все обрывается, гибнет навек... / А вот, еще говорят — человек!»

«Да, да... я презираю нервы...» Там же. С разночтением в 14 строке: «Все говори, как есть... да, да...».

«Ну, вот и кончено теперь. Конец...» Числа. 1930. № 1. С. 13. С разночтением во 2 строке: «Легко и просто, грубо и уныло».

«За все, за все спасибо. За войну...» Новый корабль. 1928. № 4. С. 3. С иной разбивкой строк и разночтениями — 5 строка: «Нет блага большего — все потерять», 7 строка: «И никогда ты не был к небу ближе». В НЗ с разночтениями в 7 строке: «И никогда ты не был к Богу ближе».

3 декабря 1928 года З. Н. Гиппиус писала Адамовичу об этом стихотворении: «Мы (и Дмитрий Сергеевич) вновь остановились в... (не знаю, как сказать: не в восхищении, и не в почтении, ну словом что-то очень хорошее и серьезное) — перед вашим стихотворением, начинающим Корабль. Да, оно **есть**, да еще как! Можете быть спокойны: это одно из лучших (если не лучшее) стихотворений, написанных за последние годы. Не вами, а вообще» (Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida Hippius. München, 1972. P. 384–385).

Позже, рецензируя эмигрантский сборник Адамовича, Гиппиус опять вспоминала «За все, за все спасибо. За войну...», выражая сожаление, что «не им начинается книжка “На Западе” <...> так просто, с таким словесным целомудрием оно написано (кто-то назвал его даже “гениальным”)» (ПН. 1939. 9 марта. № 6555. С. 3).

Игорь Чиннов приводил это стихотворение как наиболее характерное для зрелой поэзии Адамовича. По его мнению, у «Георгия Викторовича все лучшие стихи к этой предельной простоте стремятся, ядро адамовичевской поэзии, в принципе, аскетическое, сознательно обедненное и, принципиально, уже незаменимое в своей окончательной, как бы подвижнической очищенности от всего “неокончательного”, необязательного, декоративного» (*Чиннов Игорь*. Вспоминая Адамовича // НЖ. 1972. № 109. С. 139).

«Когда мы в Россию вернемся... о, Гамлет восточный, когда?..» Круг. 1936. № 1. С. 111.

...Гамлет восточный... — Вертинский, приводя отрывок из стихотворения в своих воспоминаниях, без всяких на то оснований заявил об Адамовиче, что «Гамлетом он называл Сталина» (*Вертинский А.* Дорогой длинною. М., 1990. С. 206).

«Коль славен...» — первые слова масонского гимна М. М. Хераскова (1733–1807), положенного на музыку Д. С. Бортнянским (1751–1825).

«Что там было? Ширь закатов блеклых...» СЗ. 1928. № 37. С. 231.

«Всю ночь слова перебираю...» СЗ. 1928. № 35. С. 239.

Георгий Иванов, рецензируя тридцать пятую книгу «Современных записок», писал: «Георгия Адамовича в эмиграции все знают как критика. Знают и то, что он поэт, но в глазах многих поэзия его заслоняется критической работой. Как это несправедливо, просто нелепо, поймет каждый, кто прочтет хотя бы стихи, напечатанные в этой книжке “Современных записок”. Говорю хотя бы потому, что любое стихотворение Адамовича свидетельствует, что он один из самых подлинных и своеобразных современных поэтов, и никакая “критическая деятельность”, как бы умна и талантлива она ни была, с его поэзией ни в какой уровень не может идти. Как и все стихи Адамовича, и эти три безошибочны на слух, полны лиризма (оттого, что лиризм Адамовича всегда сдержанный, — он только выигрывает в очаровании) и, как всегда, они чуть “тронуты” воспоминанием о родственной Адамовичу поэзии двух великих поэтов: Анненского и Лермонтова» (ПН. 1928. 31 мая. № 2626. С. 3).

Александр Бахрах, рецензируя тот же номер «Современных записок», отметил: «Очень приятны стихи Адамовича, который из стоячей воды акмеизма переплыл в русло пушкинской поэтики» (Дни. 1928. 10 июня. № 1445. С. 4).

«Когда успокоится город...» *(1922)* Звено. 1923. 17 сентября. № 33. С. 2.

В НЗ разночтение в 5 строке: «Под черным, безоблачным небом».

Навеяно стихотворением В. Жуковского «Ночной смотр» (1836):

В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает барабанщик...

«Я не тебя любил, но солнце, свет...» Опыты. 1955. № 4. С. 3–4. Под названием «Посвящение».

Г. Аронсон, рецензируя четвертую книгу «Опытов», счел, что «стихотворение Г. Адамовича, умелое и искреннее, сорвано к концу реторическим восклицанием: “Чрез миллионы лет я вскрикну: да!”» (НРС. 1955. 1 мая. № 15709. С. 8).

Игоря Чиннова также насторожил тон стихотворения, о чем он и написал Адамовичу. Тот ответил в письме из Манчестера в январе 1954 года: «О моем стихотворении в “Опытах”. Я почти не сомневался, что оно Вам не понравится. Мне хотелось написать стихи pour ainsi dire “в полный голос” и, проверяя его на слух, мне казалось, что оно звучит верно. Может быть, я и ошибся, со стороны виднее. Кое-что сдерживающее, притухающее я в него ввел, например, короткие строчки, обрывающие размер. Или “близость моря” вместо какого-нибудь роскошного эпитета о море. Но, может быть, оно вышло все-таки чересчур громким и пышным без поддержки изнутри. Мне казалось, что поддержка есть, и соответствие внешнего внутреннему тоже, значит, есть. И я был рад одобрению Иваска, который к пышностям пустым склонности не имеет. Но я вполне допускаю, что Вы правы» (НЖ. 1989. № 175. С. 248).

Говоря о сборнике «Единство», Игорь Чиннов писал об этом стихотворении Адамовича: «порой уступал он и желанию выйти за пределы аскетической поэзии. Тогда...

тогда, нарушая свой догмат: “делать стихи из самых простых вещей, из стола и стула” — он допускал в свою поэзию такие, сказал бы зоил, “предметы роскоши”, как “розовый идол, персидский фазан”, как “арфы, сирены, соловьи, прибой”. Больше того: он вводил патетические сравнения: “как голос из-за океана”, вводил декламационные, риторические интонации. И он, апостол аскетизма, включил в свою книгу даже такой, как будто заимствованный у осуждаемого им Фета, почти романс:

И даже ночь с Чайковским заодно
В своем безмолвии предвечном пела
О том, что все обречено,
О том, что нет ни для чего предела.

Это очень талантливо, но это не Адамович. Это совершенно чужеродно в книге, основной тон которой аскетичен. И все же книга названа (с необычной для него и к нему мало идущей подчеркнутостью) — “Единство”» (*Чиннов Игорь*. Вспоминая Адамовича // НЖ. 1972. № 109. С. 139–140).

«Наперекор бессмысленным законам...» ЦП-4. С. 10. С разночтениями — 2 строка: «Наперекор бессмысленной судьбе», 3 строка: «Передаю теперь я всем влюбленным», 6 строка: «Оно опутает их всех, как нить», 8 строка: «Воскреснет в нем и будет снова жить», 10 строка: «Простую жалость, о звезда моя».

В рецензии на четвертый альманах «Цеха поэтов» Нина Берберова писала: «Отличительная черта Георгия Адамовича — его тщательность. В учебник стихосложения его стихи могли бы войти образцами. Не раз было говорено, что у Ахматовой много подражательниц среди поэтесс; гораздо тоньше, но и сильней, подражает Ахматовой Адамович. Строение стихотворений, темы и особенно интонации, которыми Ахматова так богата, поразительно точно переданы им, но часто звучат искусственно» (СЗ. 1924. № 19. С. 432. Подп.: Ивелич).

«Он милостыни просит у тебя...» Орион. Париж, 1947. С. 8. С разночтениями в 6–7 строках: «Поймешь ли ты? — блаженство униженья, / Блаженство слез, речей, ночей, Бог весть».

«Ни срезанных цветов, ни дыма панихиды...» *(1922)* Жизнь искусства. 1922. 3 января. № 1. С. 12. С разночтением в 10 строке: «Коснуться губ твоих, безмолвно и устало».

«Ночь... и к чему говорить о любви?..» Орион. Париж, 1947. С. 8–9. С разночтением в последней строке: «Жизнь или смерть — все равно одному».

«В последний раз... Не может быть сомненья...» Орион. Париж, 1947. С. 9. С разночтениями — 1 строка: «В последний раз... О, сердце, нет сомненья...», 6 строка: «Небо синело всею синевой», 11 строка: «Чтоб если спросят, что такое счастье».

«Ночью он плакал. О чем, все равно...» НЖ. 1967. № 86. С. 22.

Николай (Наум) Георгиевич Рейзини (1905–1979?) — в начале 1930-х годов завсегдатай русского литературного Монпарнаса, вдохновитель журнала «Числа», после войны — американский миллионер. Имеющиеся о нем сведения весьма противоречивы. См., в частности, ряд заметок в «Новом русском слове» под общим названием «Дело Николая Рейзини», посвященных выяснению подробностей его биографии: «Рейзини уверяет, что он родился в Салониках, в Греции, в 1905 году. Учился в Париже и в Данциге, жил в Харбине с 1934 до 1946 года, когда он вернулся к себе на родину в Грецию. Греческое правительствю Цалдариса командировало Рейзини в С. Штаты в 1946 году в качестве экономического наблюдателя. Рейзини занялся в Нью-Йорке экспортными делами и быстро разбогател. Между прочим, ему принадлежит лицензия на кинематографический новый процесс “Синерама” <...> Иммиграционный департамент утверждает, что Рейзини родился не в Греции, что он

русский еврей, родом из Харбина. Настоящее его имя либо Николай, либо Борис Рейзин» (НРС. 1955. 20 сентября. № 15451. С. 1; 2 октября. № 15436. С. 2, 5). После войны Рейзини нередко помогал своим бывшим приятелям (см. об этом у В. Яновского, Ю. Терапиано и др.). 19 октября 1957 года Адамович писал Л. Д. Червинской: «Кстати, о Рейзини: я не уверен совсем, что он так богат. При миллиардерном train'е жизни, он скорей запутан и может завтра оказаться без гроша. В каждом его слове это чувствуется. М. б. и сейчас 10 т. для него — “сумма”, хотя он и делает вид, что это пустяк. В смысле блеффа он забьет Германова» (Coll. Adamovich. Bakhmeteff Archives. Columbia University. New York). Спустя несколько лет Адамович писал Бахраху 27 декабря 1964 года: «Рейзини у меня в больнице действительно был <...> он разорен <...> Это все-таки мой настоящий друг, коих не много на свете» (Coll. Bacherac. Bakhmeteff Archives. Columbia University. New York).

«Один сказал: “Нам этой жизни мало”...» Звено. 1924. 9 июня. № 71. С. 2.

П. М. Бицилли, рецензируя сборник «На Западе», подробнее всего остановился именно на этом стихотворении, трактуя его так: «Это выход не из жизни, а из того, что мы привычно отожествляем с жизнью, из “истории”, с ее неизбежными злодеяниями, насилиями ради “достижений”; это — способность понять, что кроме этого плана жизни, в котором “нам этой жизни мало”, есть **другой**, но все же **жизненный**, а не «метафизический», тот, в котором пребывает **Мать** — воплощение начала Вечно-женственного, начала ничего не требующей, никакой награды не ждущей Любви. Показательно для этого стихотворения, что в нем нет ни одной “цитаты”, ни одной реминисценции; а также, что оно построено, в отличие от других вещей Адамовича, для которых характерно пользование современным синтаксисом поэтического языка (“придаточные” предложения без “глав-

ных" и т. п.), в соответствии со строем обычной, повседневной речи. Это не случайно, и опять-таки эстетически осмысленно: это усугубляет впечатление освобождения от усилия, от тревоги, впечатление "выхода", "катарсиса", обретения того, в поисках чего металась душа» (СЗ. 1939. № 69. С. 384).

Незадолго до смерти, 14 февраля 1972 года Адамович писал Ю. Иваску: «"Один сказал..." написано в Париже, но давно. Почему этому стишку повезло среди других моих, для меня загадка. Кстати, я люблю у себя "Светало. Сиделка вздохнула..."» (*Иваск Ю.* Собеседник: Памяти Георгия Викторовича Адамовича // НЖ. 1972. № 106. С. 287).

«Но смерть была смертью. А ночь над холмом...» НЖ. 1967. № 86. С. 21.

«Патрон за стойкою глядит привычно, сонно..» СЗ. 1929. № 40. С. 239. Под названием «Рассвет» и с разночтениями — 9 строка: «За непришедшую... И за конец разлуки!», 16 строка: «День начинается в полоске ледяной...»

В своей некрологической статье Игорь Чиннов привел это стихотворение целиком, заметив: «Пусть это, может быть, не просто, не тихо, несколько декламационно — все равно. Зато это пронзительно, незабываемо» (*Чиннов Игорь*. Вспоминая Адамовича // НЖ. 1972. № 109. С. 141).

«Под ветками сирени сгнившей...» СЗ. 1928. № 35. С. 239.

В НЗ с разночтением в 6 строке: «Просторен белый небосклон».

В архиве Вейдле (ныне — Bakhmeteff Archives) сохранился автограф этого стихотворения с разночтением во второй строке: «Уйдя от лести и обид». В некрологической статье Вейдле привел это стихотворение целиком, сокрушаясь и недоумевая: «Старики стесняются друг друга. А то я бы его спросил о последней строфе, отчего там о кощунстве говорится <...> Где кощунство?

В чем самообман? И цветы, заботливая рука — разве главное не это? Спросил бы... С цветами пришел бы и спросил. Да поздно спрашивать» (*Вейдле В*. Памяти Г. В. Адамовича // РМ. 1972. 2 марта. № 2884. С. 4).

«Осенним вечером, в гостинице, вдвоем...» СЗ. 1928. № 37. С. 232.

Первые строки стихотворения — парафраз на тему стихотворения Бодлера «Туманы и дожди»: «Разве только вдвоем, под рыданья метели / Усыпить свою боль на случайной постели...» (Пер. В. Левика).

Вариант этого стихотворения Адамович прислал Гиппиус 20 августа 1928 года в составе подборки из девяти своих стихотворений (оригинал письма вместе с автографами стихов ныне хранится в архиве Амхерст-колледжа, США):

Безлунным вечером, в гостинице, вдвоем,
На грубых простынях устало засыпая...
Мечтатель, где твой мир? Скиталец, где твой дом?
Не поздно ли искать искусственного рая?

Осенний крупный дождь стучится у окна,
Обои движутся под неподвижным взглядом...
Кто эта женщина? Зачем молчит она?
Зачем лежит она сейчас со мною рядом?

Осенним вечером, Бог знает где, вдвоем,
В печальном запахе простых духов и дыма,
О том, что мы умрем, о том, что мы живем,
О том, как страшно все и как непоправимо.

З. Гиппиус отозвалась в ответном письме: «Ну а вот "Безлунной ночью..." немножко самоподражание, и "Монмартр" был резче и проще. Тут есть, конечно, маленькая прибавочка, чуть-чуть... но она вне стихов как "стихов"» (Письмо З. Гиппиус Г. Адамовичу от 5 сентября 1928 г. // Intellect and Ideas in Action. Selected Correspondence of Zinaida Hippius. München, 1972. P. 384).

В. Набоков, рецензируя 37 номер «Современных записок», язвительно заметил: «о двух стихотворениях Адамовича — лучше умолчать. Этот тонкий, подчас блестящий критик пишет стихи совершенно никчемные. Что бы сказал сам автор, если ему пришлось бы, как критику, оценить такие, например, строки: “кто эта женщина? Зачем молчит она? Зачем лежит она сейчас со мною рядом?..”» (Руль. 1929. 30 января. № 2486. С. 2). Адамович чуть изменил одну строку, но включал это стихотворение в оба своих последующих сборника.

Владимир Вейдле в своей рецензии на этот номер «Современных записок» заметил: «Георгий Адамович в лучшем из двух своих стихотворений меланхолически перепевает дивные и страшные стихи Бодлера» (Возрождение. 1929. 10 января. № 1318. С. 3).

В статье «Смотрите — стихи» Игорь Чиннов сравнивал его со стихотворением Евгения Винокурова «Когда мы просыпались на постели» (НЖ. 1968. № 92. С. 136).

Александр Бахрах склонен был поставить строки этого стихотворения эпиграфом не только к поэзии Адамовича, но и ко всему его творчеству: «Ведь, в конечном счете, все, о чем писал Адамович, так сказать, “для души”, для себя, не выполняя роли присяжного критика, может быть выражено двумя его собственными строчками. Ведь во всех своих писаниях он — порой с оттенком скептицизма и не без внутренней иронии — комментировал ту же вечную тему:

О том, что мы умрем. О том, что мы живем.
О том, как страшно все. И как непоправимо...»

(*Бахрах А*. Памяти Адамовича (К 10-летию со дня смерти) // РМ. 1982. 28 февраля).

«Тянет сыростью от островов...» ЦП-4. С. 7.

В НЗ с разночтением в 5 строке: «Друг единственный, ведь все обман».

«Где ты теперь? За утесами плещет море...» *(1920)* ЦП-2. С. 9. С разночтениями — 4 строка: «На шестом этаже, у дрожащего телефона...», 12 строка: «Озаряемая, в лесу, века и века...».

Рецензируя второй альманах Цеха поэтов, А. Свентицкий отметил: «Хорошо также первое стихотворение Г. Адамовича, хотя он и эклектичен в значительной дозе (тут и Эренбург, и Гумилев, и др.)» (*Свентицкий А.* Болезнь русской поэзии // Вестник литературы. 1921. № 11 (35). С. 8).

«Пора печали, юность — вечный бред...» *(1924)* Числа. 1930/1931. № 4. С. 5–6.

«Нет, ты не говори: поэзия — мечта...» *(1919)* ЦП-1. С. 3. С разночтением в 9 строке: «И, может, к старости, без сил, ты встретишь срок».

В НЗ 12 строка: «Растерянно твердил на казнь приговоренный».

Тема стихотворения навеяна строками Рильке: «Надо всю жизнь собирать смысл и сладость, и лучше долгую жизнь, и тогда, быть может, разрешишься под конец десятью строками удачными» (*Рильке Р. М.* Записки Мальте Лауридса Брюгге / Пер. Е. Суриц. М., 1988. С. 29).

По свидетельству Ю. Иваска, Адамович рассказывал ему, что написал эти стихи в 1919 году в Новоржеве, где работал учителем: «Наступил Девятнадцатый год. Выпал первый снег в Новоржеве, и я долго ходил по полю, что-то бормотал и получились стихи, которые почему-то цитируются: “Нет, ты не говори: поэзия — мечта...”» (*Иваск Ю.* Недавно: Памяти Георгия Викторовича Адамовича // РМ. 1972. 16 марта. № 2886. С. 8).

Михаил Слонимский, рецензируя альманах «Дракон», где впервые было опубликовано это стихотворение, писал: «В стихотворении Г. Адамовича, которым открывается сборник, слишком слышно дыхание Пушкина» (Жизнь искусства. 1921. 9–11 марта. № 688–690. С. 2. Подп.: М. Сл.). Почти дословно повторил эту мысль в

своей рецензии на «Дракон» А. Терк: «В овеянных грустью, хрустально чистых и музыкальных строках Г. Адамовича слишком ясно слышатся перепевы из Пушкина» (Начала. Журнал истории литературы и истории общественности. 1922. № 2. С. 294). А. Свентицкий в своем отзыве заявил: «Никто из “драконцев” не создал тех “пяти-шести случайных строк”, о которых пишет Адамович, таких строк, чтобы их “в полубреду потом твердил влюбленный...”» (*Свентицкий А.* Стихомания наших дней // Вестник литературы. 1921. № 6–7 (30–31). С. 7–8.

«Как холодно в поле, как голо...» *(1919)* Ч. С. 54.

В НЗ 11 строка: «Чтоб выучиться у природы».

«Там, где-нибудь, когда-нибудь...» СЗ. 1927. № 32. С. 146.

В стихотворении использованы рисунок и интонация стихотворения З. Н. Гиппиус «Прогулки», опубликованного годом раньше в журнале «Звено» (1926. 21 февраля. № 160. С. 3):

«Вы помните?..
О, если бы опять
По жесткому щетинистому полю
Идти вдвоем, неведомо куда,
Смотреть на рожь, высокую, как вы,
О чем-то говорить, полуслучайном,
Легко и весело, чуть-чуть запретно...
И вдруг — под розовою цепью гор,
Под белой незажегшейся луною,
Увидеть моря синий полукруг,
Небесных волн сияющее пламя...»

З. Н. Гиппиус в письмах к Адамовичу не раз обращала внимание на их поэтическое сходство: «А ваши стихи — самые лучшие. Не оттого ли говорю, что они мне так родственны? Нет, это a part, говорю объективно. Если б мне вздумалось кого-нибудь “в гроб сходя, благословлять” — то именно вас» (Письмо З. Н. Гиппиус Адамовичу от 31 марта 1927 // Intellect and Ideas in Action.

Selected Correspondence of Zinaida Hippius. München, 1972. P. 345); «Ваши стихи мне близки, некоторые даже завидны» (Письмо от 5 сентября 1928. Там же. С. 383).

По мнению Гиппиус, в этом стихотворении Адамовича наиболее ярко, «всего совершеннее дана эта ясность несказанного, магия недоговоренного», вообще очень характерная для его поэзии (ПН. 1939. 9 марта. № 6555. С. 3).

Игорь Чиннов также считал это стихотворение «одним из самых прекрасных» у Адамовича (*Чиннов Игорь*. Вспоминая Адамовича // НЖ. 1972. № 109. С. 145).

Еще позже, в юбилейной статье к столетию Адамовича, именно это стихотворение приводил Андрей Вознесенский как характерный и лучший образчик его творчества: «Адамович писал уже не словом почти, а дыханием, осязанием <...> Так акварелист порой берет темную, цветную от мытья кистей воду непонятного, смутного уже цвета, который нельзя ни разглядеть, ни повторить, и пишет ею тени — этим странным, уже не цветом, а темным перламутровым тоном. Это на жаргоне живописцев называется "писать грязью", то есть не чистым цветом, а тенью от всех цветов. Так поэт писал уже душою, преодолев плоть стиха» (*Вознесенский Андрей*. А. Г. В. // Литературная газета. 1994. 20 апреля. № 16. С. 6).

«Есть, несомненно, странные слова...» Звено. 1923. 17 сентября. № 33. С. 2.

«Ничего не забываю...» НЗ. С. 58–59.

С разночтениями — 3–4 строки: «Те же звуки. То же "к раю" / И к "иному бытию"»; 6 строка: «Голос легкий услыхать»; 9 строка: «Будто там, над ширью дымной»; 15 строка: «Возникает образ милый».

«Тень несозданных созданий...» — первая строка стихотворения-манифеста Брюсова «Творчество» (1895). Ср. отзыв Адамовича о Брюсове из письма С. К. Маковскому от 17 февраля 1953: «Я все читаю Брюсова, которого Вы мне дали, и давно собираюсь написать Вам о

нем. Конечно, в общем это ужасно. Но ужасен выбор стихов в этой книжечке, где Брюсов представлен самой нелепой своей стороной “вождя”, “законодателя”, “мастера” и т. п. Я отыскал в здешней библиотеке другое, старое его издание и, признаюсь, обрадовался и успокоился, убедившись, что прежнее мое впечатление от него не было все же ошибочным. Есть стихи прелестные — и именно те, где он ходули свои бросает. С самого начала есть что-то свое и острое в соединении Замоскворечья со всякими утонченностями, в “москвиче в верленовом плаще”. Есть сразу голос, которого нет и не было у Бальмонта, есть музыка. “Тень несозданных созданий...” Как могли люди только хохотать над этими строками, не слыша звуков? <...> В сущности, Брюсов погиб, как поэт, оттого же, отчего погибла лягушка у Крылова. У него было небольшое настоящее дарование, и он лучше всего там, где вдруг сознает правду. Ему по его литературной attitude не полагается быть грустным и растерянным, но иногда это на него находит, он и становится самим собой <...> Остаюсь все-таки при своем старом мнении, что он больше поэт, чем Гумилев. Даже если вся его поэзия — в развалинах, и как-то вся с треском обрушилась, есть и в этом больше “поэтической темы”, драматизма, — не знаю, как сказать правильнее — чем в гумилевских гладких и детских стихах. О Бальмонте я и не говорю...» (РГАЛИ. Ф. 2512. Оп. 1. Ед. хр. 134).

«Он говорил: “Я не люблю природы...”» Звено. 1924. 15 сентября. № 85. С. 2.

В НЗ 7 строка: «Один лишь раз, когда-то в ноябре».

«Нам Tristia — давно родное слово...» Е. С. 49.

Tristia — написанные в ссылке «Скорбные элегии» (8–12 гг. н. э.) Публия Овидия Назона (43 г. до н. э. — 18 г. н. э.).

Sulmo mihi patria est... — Город родной мой — Сульмон (*Овидий.* Скорбные элегии. Книга IV. Элегия 10. Строка 3. Перевод с лат. С. Ошерова). Сульмон — город

в области пелигнов в Апеннинах (в 133 км от Рима); он до сих пор имеет в городском гербе первые буквы начальных слов этой строки Овидия.

«Из голубого океана...» Числа. 1934. № 10. С. 5.

«Приглядываясь осторожно...» *(1952)* Опыты. 1953. № 2. С. 7–8. С разночтением в 10 строке: «Сбиваться, возвышая тон».

«Ни музыки, ни мысли, ничего...» НЖ. 1967. № 86. С. 22. С разночтением в 3 строке: «Тебе давно игрой постылой стало».

Рецензируя номер «Нового журнала», Ю. Терапиано цитировал это стихотворение и писал: «Четыре стихотворения Георгия Адамовича с полным правом стоят во главе стихотворного отдела, столько в них глубины и своеобразного ощущения волнующих и неразрешимых мировых вопросов. Мы видим сейчас какой-то новый, преображенный лик поэта. Над этими стихами действительно сияет "немеркнущий свет"» (РМ. 1967. 27 мая. № 2626. С. 6–7).

Ю. Я. Больпухин определил эти стихи как «аскетически простые — до бедности, но не переступающие ее порога, богатые, однако, внутреннею углубленной жизнью души» (*Большухин Ю.* Новый журнал-86 // НРС. 1967. 21 мая. № 19795. С. 8).

ДОПОЛНЕНИЯ

«ОБЛАКА» (1916)

Первый сборник стихов Адамовича «Облака» был подготовлен в самом конце 1915 г. и вышел в свет под маркой издательства «Альциона», помеченный 1916 г. Сорокастраничный сборник насчитывал 25 стихотворений и стоил 1 рубль. Стихотворения печатаются по тексту этого издания.

В 1914–1918 гг. несколько книг участников Цеха поэтов вышли в издательстве «Альциона», а не под привычной маркой «Гиперборея». С. Городецкий в статье «Поэзия как искусство» заявил, что «по недостатку организованности, по странному недомыслию авторов книжки эти попали в руки юркого предпринимателя и вышли не под маркой Цеха поэтов или “Гиперборея”, но, в конце концов, это не важно, ибо книжки объединены внутренне» (Лукоморье. 1916. № 18. С. 19).

П. Лукницкий записал в дневнике рассказ Ахматовой о том, как владелец «Альционы» (1910–1923) Александр Мелетьевич Кожебаткин (1884–1942) «приехал в Царское Село к ней просить у нее сборник. Это было зимой 15–16 (вернее, осенью 15 г.). В это время выходило третье или четвертое (кажется, третье) издание “Четок”. АА сказала ему, что всегда предпочитает издавать сама и, кроме того, у нее нет материала на сборник. (“Белая стая” еще не была готова). Во время разговора Н. С. спустился из своей находившейся во втором этаже комнаты к ней. Кожебаткин предложил взять у него “Колчан” (об издании которого Николай Степанович начал уже хлопотать). Н. С. согласился и предложил ему издать также “Горный ключ” Лозинского, “Облака” Г. Адамовича и книгу Г. Иванова (АА, кажется, назвала — “Горница”. Не помню). Кожебаткин для видимости согласился. А потом рассказывал всюду, что Гумилев подсовывает ему разных, не известных в Москве, авторов...» (*Лукницкий П. Н.* Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1. 1924–25 гг. Париж, 1991. С. 252).

Все эти книги были выпущены «Альционой», и в архиве М. Л. Лозинского сохранилось стихотворное послание С. Городецкого от 24 декабря 1915: «Лишь кожебаткинского знака тебе простить я не могу» (Цит. по: *Тименчик Р.* Заметки об акмеизме // Russian Literature. 1974. № 7–8. P. 26). На части тиража «Облаков» издательский знак «Альционы» был вручную заклеен мар-

кой издательства «Гиперборей», что внесло некоторую путаницу в большинство библиографий, тем более что Адамович и сам впоследствии обычно упоминал «Облака» как книгу, выпущенную «Гипербореем».

Книга была хорошо встречена в печати. Н. Гумилев в очередном «Письме о русской поэзии» назвал Адамовича «поэтом неустановившимся», но тут же прозорливо добавил: «Однако везде чувствуется хорошая школа и проверенный вкус, а иногда проглядывает своеобразие мышления, которое может вырасти в особый стиль и даже мировоззрение» (Аполлон. 1916. № 1. С. 27). В. Ходасевич отметил «целый ряд влияний»: Ахматовой, Анненского, Блока, Белого, но счел нужным сказать, что «ученик г. Адамович хороший: у него есть вкус, есть желание быть самостоятельным, хотя до оригинальничания он не опускается» (Утро России. 1916. 5 марта. № 65. С. 7). Те же влияния отметили в своих рецензиях К. Липскеров (Русские ведомости. 1916. 10 августа. № 184. С. 5), И. Оксенов (Новый журнал для всех. 1916. № 2–3. С. 74), и В. Еникальский (Журнал журналов. 1916. № 30. С. 9), причем каждый счел необходимым оговориться. В. Еникальский: «Можно составить генеалогию почти каждого образа», и вместе с тем «у него есть свое лицо». И. Оксенов: «Пока он слишком подчинен Ахматовой и Анненскому», но «у этого поэта есть своя, невыдуманная боль». В. Жирмунский отнес Адамовича к «тесной группе поэтов “Гиперборея”», «преодолевшей символизм», и добавил, что он «может развиться в самостоятельного и своеобразного представителя нового направления», ибо у него есть «подлинный вкус и хорошая школа», а также «подлинное художественное дарование» (Биржевые ведомости. 1916. 14 октября. № 15861. С. 5). Другой рецензент выделил «Облака» из ряда современных сборников за «поэтическую искренность» и признал «книгой истинного поэта, совершенства владения стихом еще не достигнувшего» (Северные записки. 1916. № 2.

С. 229–230. Подп.: Р. Д.). Дважды откликнулся на «Облака» С. Городецкий. В статье «Поэзия для себя» он написал про Адамовича, что «стихи делать и он мастер. Только не на чем мастерство свое показать ему» (Лукоморье. 1916. № 6. С. 15). А чуть позже, в статье «Поэзия как искусство», написал, что Адамович «поторопился выпустить свои “Облака”», хотя и «не чужд поэзии как искусства» (Лукоморье. 1916. № 18. С. 20).

Адамовичу важнее всего было узнать мнение Блока о стихах. Блоку стихи не понравились. Он написал на письме Адамовича от 23 января 1916: «очень плохие его стихи» (РГАЛИ. Ф.55. Оп. 2. Ед. хр. 20). Впоследствии Адамович в свои книги стихи из «Облаков» никогда не включал, признавшись: «за исключением трех или четырех строчек не нравились они и мне самому» (*Адамович Г.* Комментарии. Вашингтон, 1967. С. 115).

Более полувека спустя после выхода книги, в годовщину со дня смерти Адамовича, А. Туроверов посвятил «Облакам» статью в «Русской мысли»: *Туроверов А.* Далекое и близкое // РМ. 1973. 15 марта. № 2938. С. 8.

«Вот так всегда, — скучаю и смотрю...» О. С. 3–4.

«Скоро день. И как упрямо...» О. С. 5.

В. Жирмунский в своей рецензии приводил это стихотворение как доказательство того, что у Адамовича «подлинное художественное дарование <...> не похожий на Ахматову по основному душевному тону, Адамович может развиться в самостоятельного и своеобразного представителя нового направления, если он пойдет по пути душевного и художественного углубления и не впадет в соблазн слишком легко дающейся современному поэту внешней завершенности» (Биржевые ведомости (утренний выпуск). 1916. 14 (27) октября. № 15861. С. 5).

Валаам — имеется в виду Валаамский (Спасо-Преображенский) мужской монастырь на острове Валаам (Ладожское озеро). По свидетельству Ю. Иваска, Ада-

мович «еще студентом ездил на Валаам. Не то что хотел постричься, а так — присматривался» (*Иваск Ю.* Разговоры с Адамовичем // НЖ. 1979. № 134. С. 97).

На траве медведь лежит... — с прирученным медведем изображается обычно св.Серафим Саровский или Сергий Радонежский.

«В зоологических садах орлы...» О. С. 6.

«Так тихо поезд подошел...» О. С. 7–8.

Отмечая склонность Адамовича к перепевам Ахматовой и Анненского, Гумилев писал в рецензии на «Облака»: «Для одного стихотворения пришлось даже взять эпиграф из “Баллады” Иннокентия Анненского, настолько они совпадают по образам» (*Гумилев Н.* Письмо о русской поэзии // Аполлон. 1916. № 1. С. 27). Это же отмечал в своей рецензии и В. Жирмунский, также приводя стихотворение почти целиком и добавляя от себя: «Здесь непосредственное повествование о душевном настроении заключено только в словах: “Так грустно сердце вспоминало...”, остальное — тонко и точно переданные восприятия внешнего мира» (Биржевые ведомости (утренний выпуск). 1916. 14 (27) октября. № 15861. С. 5).

«Так беспощаден вечный договор!..» Новый журнал для всех. 1915. № 8. С. 4. С разночтением в 3–4 строках: «Но слезы, — слезы не туманят взор / И непорочен образ Эвридики».

Ночи

I. «Как трудно вечером дышать...» О. С. 10–11.

II. «Ведь только тюльпана упал цветок...» О. С. 12.

«Не знал и не верил в Бога...» О. С. 13.

«Под глухой, подавленный гул...» О. С. 14.

«Сухую позолоту клена...» О. С. 15–16.

В. Еникальский в своей рецензии на «Облака» привел это стихотворение как доказательство того, что у Адамовича «есть свое лицо. Настоящий пафос и особенная зоркость к обыденной жизни, тоску которой он умеет

передавать в своих, почти всегда неуязвимых со стороны формы, стихах, — наиболее характерны для него» (Журнал журналов. 1916. № 30. С. 9).

Аяксы — в «Илиаде» два греческих героя, неразлучных друга, сражавшиеся под Троей.

«Стоцветными крутыми кораблями...» О. С. 17.

Летом («Опять брожу. Поля и травы...») О. С. 18–19.

По мнению Вадима Крейда, это стихотворение Адамовича явилось поэтическим откликом на стихотворение Георгия Иванова «Я не любим никем. Пустая осень...», чему свидетельство — параллелизм строк Иванова «Я ненавижу полумглу сырую / Осенних чувств и бред гоню, как сон» и строк Адамовича «Я ненавижу тьму глухую / Томительных июльских дней». Крейд считает частыми и значимыми для творчества членов Цеха поэтов «параллелизм между стихами акмеистов, совпадения, скрытые и явные цитаты, намеки на известное стихотворение, иногда пародия или диалог с другим поэтом-акмеистом» (*Крейд В.* Петербургский период Георгия Иванова. Tenafly: Эрмитаж, 1989. С. 41–42).

Всадник со скалы поскачет — аллюзия с пушкинским «Медным всадником».

Зигфрид («Я не знаю, я все забыл...») О. С. 20.

«Выходи, царица, из шатра...» О. С. 21–22.

«Опять, опять лишь реки дождевые...» О. С. 23.

Иннокентий Оксенов, в целом считавший «творчество Г. Адамовича вполне приемлемым», по поводу этого стихотворения патетически воскликнул в своей рецензии на «Облака»: «Но есть у него стихотворение, за которое да будет поэту стыдно» (Новый журнал для всех. 1916. № 2–3. С. 74).

Элегии

I. **«Бегут, как волны, быстрые года...»** Зеленый цветок. Пг., 1915. С. 11.

II. **«Когда с улыбкой собеседник...»** О. С. 28.

«Вот все, что помню: мосты и камни...» Новый журнал для всех. 1915. № 6. С. 3. С разночтениями — 4–6 строки: «Дожди, спокойствие и заря. / Брожу, не знаю, не верю, шатаюсь, / А мысли, — а мысли всегда одни».

«Вот жизнь, — пелена снеговая...» О. С. 30–31.

«И жизнь свою, и ветры рая...» О. С. 32–33.

Последняя любовь («Вот, под окном идут солдаты...») О. С. 34.

Последний нонешний денечек... — Первая строка популярной в начале века песни. Пелась от лица мобилизованного в солдаты.

«Мы так устали от слов и дела...» О. С. 36.

«Летят и дни, и тревоги...» О. С. 37.

«Но, правда, жить и помнить скучно!..» О. С. 38.

«Вышел я на гору высокую...» О. С. 39.

Из сборника «ЧИСТИЛИЩЕ» (1922)

Сборник «Чистилище. Стихи. Книга вторая» был выпущен издательством «Петрополис» в начале 1922 г. тиражом 2000 экземпляров и посвящен «Памяти Андрея Шенье» (намек на расстрелянного Гумилева и одновременно знак принадлежности к «неоклассицизму», куда Адамович себя в то время относил).

Стихотворения печатаются по тексту этого издания. На 96 страницах книги были опубликованы 47 стихотворений и поэма «Вологодский ангел». Адамович готовил сборник с 1918 года, причем название постоянно менялось. Первоначально он хотел назвать книгу «Венера» (см. афишу первого собрания общества «Арзамас» 13 мая 1918 в кн.: *Гумилев Н.* Стихотворения и поэмы. Л., 1988. С. 128–129), потом «Возвращение Орфея» (см. анонс на обложке третьего альманаха Цеха поэтов. Пг., 1922). Сохранилось недатированное письмо Адамовича владельцу «Петрополиса» Якову Ноевичу Блоху (1892–1968) об издании книги (РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. Ед. хр. 509).

В новой, преимущественно революционной, прессе книга Адамовича была встречена холодно. Марк Аверин в статье «Поэтический лимонад» заявил, что хоть в некоторых стихах и «чувствуется верная, тонкая, но цепкая хватка поэта», в целом это «только барахтанье в луже эстетства» (Новая жизнь. [Псков], 1922. № 9. С. 95). Илья Груздев счел, что «образы и темы Георгия Адамовича насквозь литературны» (Книга и революция. 1922. № 7 (19). С. 59–60).

Валерий Брюсов, в статье «Среди стихов» укоряя Гумилева, Ахматову и Сологуба за то, что они «находятся в очарованном сне и повторяют прошлое», включил в этот «синодик поэтов-окаменелостей» и Адамовича «с его “второй книгой”, где сонет посвящен, например, Воробьевым горам». Последнее обстоятельство особенно не понравилось мэтру, заставив его язвительно пробурчать: «Это, кажется, называется акмеизм» (*Брюсов В.* Среди стихов // Печать и революция. 1922. Кн. 2. С. 145).

Более внимательно отнесся к сборнику К. Мочульский. В статье «Классицизм в современной русской поэзии» он сравнивал Адамовича с Г. Ивановым и отмечал такой же «отчетливый и простой язык <...> Но его дарование более гибко и динамично, чистый парнассизм Г. Иванова ему чужд. Фактура его нервна, угловата, порывиста, он эмоционален и даже патетичен» (Современные записки. 1922. № 11. С. 379).

Делая обзор современной поэзии, М. Кузмин в статье «Парнасские заросли» заметил, что «из десятков книг лирическое содержание можно найти в книге Г. Адамовича “Чистилище”» (Завтра. Литературно-критический сборник. I. Берлин, 1923. С. 119). Еще одна рецензия, написанная Л. В. Горнунгом, появилась в первом номере машинописного журнала «Гермес» (М., июль 1922), выпущенном в свет в количестве 12 экз. (Сообщено Л. В. Горнунгом).

В эмиграции, по свидетельству Юрия Трубецкого, стихи «Чистилища» были хорошо известны в литера-

турной среде: «“Сады” Георгия Иванова, “Чистилище” Адамовича, о них говорилось и тогда, и теперь, в зарубежьи, много. Это ценности несомненные» (*Трубецкой Ю*. Литературный НЭП // НРС. 1955. 30 января. № 15618. С. 8).

«Звенели, пели. Грязное сукно...» Ч. С. 9.

Воробьевы горы («Звенит гармоника. Летят качели...») Ч. С. 13.

«Тогда от Балтийского моря...» ЦП-2. С. 10–11.

«О мертвом царевиче Дмитрии...» Ч. С. 16–17.

Лузитания — английский пассажирский пароход, потопленный 7 мая 1915 г. германской подводной лодкой недалеко от берегов Ирландии. Погибло 1154 человека.

Марна — на реке Марне, между Парижем и Верденом, англо-французские войска под командованием генерала Ж. Жоффра 5–12 сентября 1914 г. остановили наступавшие германские армии, а затем вынудили их отойти, сорвав германский стратегический план быстрого разгрома Франции.

«О, жизнь моя! Не надо суеты...» Ч. С. 18.

В НЗ с разночтениями — 1–2 строки: «О, жизнь моя, довольно суеты, / Довольно жалоб, — это всё пустое»; 6 строка: «И чтобы вечно чувствовать я мог».

«Когда, в предсмертной нежности слабея...» Ч. С. 19.

«По темно-голубому небу мчались...» Ч. С. 20–22.

«За миллионы долгих лет...» ЦП-3. С. 5. С посвящением Андрею Цур-Милену и разночтением в 5 строке: «Нам голос прозвучит с кормы...».

Вагнер. I. («Падает снег, звенят телефоны...») Тринадцать поэтов. Пг.: типография В. Ф. Киршбаума, 1917. С. 4. С разночтением в 16 строке: «Дружок, останься со мною».

«Опять гитара. Иль не суждено...» Ч. С. 26.

«Еще и жаворонков хор...» Ч. С. 28–29.

«На окраине райской рощи...» Ч. С. 30–32.

«Тридцатые годы, и тени в Версали...» Ч. С. 33.

«Печально-желтая луна. Рассвет...» Ч. С. 34–35.

«Там вождь непобедимый и жестокий...» Тринадцать поэтов. Пг.: типография В. Ф. Киршбаума, 1917. С посвящением В. Х. Футлину, под названием «Отступление из Польши» и с разночтениями — 1 строка: «Там страшный вождь, коварный и жестокий...», 18 строка: «А ты вскочил на легкого коня», 26 строка: «По рее, по траве, по зеленым морским берегам».

Цветаева в письме В. Ф. Булгакову от 12 августа 1925 года, говоря об Адамовиче, припомнила, что он «издал в начале революции в Петербурге “Сборник тринадцати”, там были его контрреволюционные стихи» (*Цветаева М.* Собрание сочинений в семи томах. Т. 7. Письма. М.: Эллис Лак, 1995. С. 9). В сборнике «Тринадцать поэтов» были опубликованы и стихи самой Цветаевой: «Над церковкой — голубые облака...» и «Чуть светает...».

Росмерсгольм («Темнеют окна. Уголь почернел...») Северные записки. 1916. № 4–5. С. 49. С разночтениями — 1 строка: «Темнеет, вот и уголь почернел», 5 строка: «Кипит неукротимый водопад», 13–16 строки: «Но в этом доме будет тишина / Такая, как над фьордами бывает, / Когда смолкает ветер, и луна / Полярные долины озаряет». В НЗ датировано 1920 годом.

«Холодно. Низкие кручи...» Ч. С. 39.

Вагнер. II. («Туман, туман... Пастух поет устало...») Ч. С. 40.

«Проходит жизнь. И тишина пройдет...» Ч. С. 41.

В фонде Г. Шенгели (РГАЛИ. Ф. 2861. Оп. 1. Ед. хр. 225) сохранился автограф этого стихотворения с разночтением в восьмой строке: «В шелку *багряном* — Гончарова».

«Гуляй по безбрежной пустыне...» Ч. С. 42.

«Качается фонарь. Белеет книга...» Ч. С. 43.

По Марсову полю («Сияла ночь. Не будем вспоминать...») Ч. С. 44–45.

В. Ф.

I. «О, сердце, не бейся, не пой...» Ч. С. 46.

II. «Все понимаю, все — одно сиянье...» Ч. С. 47.

III. «Четвертый раз над этой жизнью...» Ч. С. 47–48.

«За стенами летят, ревут моторы...» Ч. С. 49.

«Еще, еще немного краски синей...» Ч. С. 50.

1801 («— Вы знаете, — это измена!...») Северные записки. 1916. № 4–5. С. 46. Под названием «12 марта 1801 г.» и с разночтением в 22 строке: «Как страшно лететь, как темно!..»

«Жизнь! Что мне надо от тебя, — не знаю...» Ч. С. 53.

«Едва расслышу я два-три последних слова...» Ч. С. 55.

«Еще, еще минуточку...» Ч. С. 56–57.

Графиня Дюбарри, Мари-Жанна — фаворитка Людовика XV, казненная за помощь французским эмигрантам.

Песня («Ах, весна, ах, прекрасное лето...») Северные записки. 1916. № 4–5. С. 48. Под названием «Забытая», с эпиграфом из С. Городецкого: «Где, милый, лобызаный, / Где ты, мой ласковый такой?» и разночтением в 7 строке: «Поселяют в широкой Сибири».

«Им счастие даже не снится...» Ч. С. 60.

Болезнь («В столовой бьют часы. И пахнет камфарой...») Северные записки. 1916. № 4–5. С. 47. С разночтениями — 2 строка: «И под глазами к утру все яснее зелень», 7–8 строки: «А разлучиться, значит, было суждено / И неизбежно было, поздно или рано».

«Как дымный парус, жизнь моя...» Ч. С. 62.

«— Поскучай, дружок, поскучай...» Ч. С. 63.

«Тихо, мирно, мы теперь живем...» Ч. С. 64.

«Девятый век у северской земли...» Аполлон. 1916. № 3. С. 46.

«Я думал: вся земля до края...» Ч. С. 66.

«Проходил под лесами. Кирпич...» Ч. С. 67.

«Не в книге прочесть и не в песнях узнать...» Ч. С. 68.

«Нам в юности докучно постоянство...» Ч. С. 69.

«Когда...» Ч. С. 70–71.

«Устали мы. И я хочу покоя...» Ч. С.72.

Зеленый дуб склонялся и шумел — перифраз строк стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» (1841).

«Заходит наше солнце... Где века...» Ч. С. 73.

Вологодский ангел. Поэма. («Царь Христос, побудь с нами, Царь Христос, ты нам помоги...») Северные записки. 1917. № 1. С. 87–94. Со множеством незначительных разночтений.

Отзывы критики на единственную поэму Адамовича были заслуженно отрицательными. Марк Аверин в рецензии на «Чистилище» охарактеризовал ее как «раннюю, нудную, тягучую как клейстер, усыпительную вещь» (Новая жизнь [Псков]. 1922. № 9/10. С. 95). Один только К. Мочульский усмотрел в ней «стремление к широкому масштабу и простору эпоса» (*Мочульский К*. Классицизм в современной русской поэзии // СЗ. 1922. № 11. С. 374).

Анализируя метрику поэмы, М. Л. Гаспаров сравнивал ее с метрикой стихотворения М. Волошина «Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный Коктебель...» (1907) и пришел к выводу, что «скудный опыт русского галлиямба был предварительной школой русского тактовика <...> оговоримся сразу: никаких свидетельств о том, что Адамович сознательно опирался на традицию античного галлиямба, нет. Но что он держал в сознании или подсознании образец Волошина, можно не сомневаться» (*Гаспаров М. Л.* Русские стихи 1890-х–1925-го годов в комментариях. — М.: Высшая школа, 1993. С. 132–134).

Из сборника «НА ЗАПАДЕ» (1939)

Подготовку сборника Адамович начал еще в середине 20-х годов и намеревался выпустить его осенью 1927 года, о чем летом 1927 писал З. Н. Гиппиус. См. ее ответ 4 августа 1927: «Я жалею, что вы раньше не выпустили ваших стихов. Они своеструнны, и как-то хочется их "в особину"» (Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida Hippius. München, 1972. P. 359). В то время, однако, издание не осуществилось. В шутливом предсказании на 1930 год В. Л. Корвин-Пиотровский назвал будущую книгу «Парижское чистилище» (Предсказание m-me Тэб на 1930-й год // Руль. 1930. 19 января. № 2781. С. 8. Без подп.).

Сборник «На Западе» был выпущен парижским издательством «Дом книги» в феврале 1939 года тиражом 200 экземпляров в серии «Русские поэты» (5-я книга серии). Стихотворения печатаются по тексту этого издания.

Основные периодические издания эмиграции отозвались на выход сборника рецензиями, оценивая его довольно высоко. Зинаида Гиппиус в качестве своеобразной черты стихов отметила их «недосказанность» и назвала Адамовича единственным поэтом из всего «западного полупоколения» близким Блоку «необыкнсвенной правдивостью, связанным с ней чувством ответственности». «Простота в этих стихах прямо, просто (и сознательно) проста» (*Антон Крайний.* Почти без слов // Последние новости. 1939. 9 марта. № 6555. С. 3). «Простоту и удивительную цельность» подчеркнул также Вадим Андреев, заметив, что Адамович «пишет только в тех случаях, когда решительно чувствует, что не писать не может» (Русские записки. 1939. № 16. С. 199–200. Подп.: С. Осокин).

П. Бицилли, напротив, нашел в стихах «философский диалог — беседу души со сродственными душами», когда «в одном стихотворении осуществляется согласие двух или нескольких голосов» (Современные записки. 1939. № 69. С. 383–384).

Николай Вадвич назвал сборник «книгой исключительной по своей напряженности и лаконической выразительности» и заметил, что «некоторые стихотворения напоминают химические формулы — названы и дозированы элементы, реакция должна произойти уже в сознании читателя» (Русский временник. Париж, 1939. № 3. С. 123–127).

Позже, в письме Игорю Чиннову от 16 декабря 1965, Адамович заметил, что в сборнике «очень много дряни» (НЖ. 1989. № 175. С. 261), и в свой итоговый сборник «Единство» включил лишь 28 стихотворений из 47, составивших книгу «На Западе».

«У дремлющей парки в руках...» СЗ. 1928. № 35. С. 239.

Парки — в римской мифологии богини судьбы, прядущие и обрезающие нить жизни.

«Навеки блаженство нам Бог обещает...» *(1921)* Звено. 1924. 9 июня. № 71. С. 2.

«Летит паровоз, клубится дым...» Благонамеренный. 1926. № 1. С. 13–14.

«Рассвет и дождь. В саду густой туман...» Благонамеренный. 1926. № 1. С. 14. С разночтениями — 2–3 строки: «Оплывшие на окнах свечи, / Газеты. На полу раскрытый чемодан»; 9 строка: «Седую прядь позолотило».

«За все, что в нашем горестном быту...» *(1922)* Звено. 1923. 17 сентября. № 33. С. 2.

«Ложится на рассвете легкий снег...» Петербургский сборник. Поэты и беллетристы. Пг., 1922. С. 7. Под названием «Посвящение» и с разночтением в 1 строке: «Уносит в реку белый снег, — увы!..»

«Чрез миллионы лет — о, хоть в эфирных волнах...» ЦП-4. С. 8.

«Куртку потертую с беличьим мехом...» Петербургский сборник. Поэты и беллетристы. Пг., 1922. С. 8.

Последнюю строфу этого стихотворения Георгий Иванов взял эпиграфом к своему стихотворению «Как вы когда-то разборчивы были...», составляя свой последний сборник «Стихи 1943–1958 гг.» (Нью-Йорк, 1958). Обстоятельства этого см. в письме Адамовича Одоевцевой от 16 ноября 1957 года (Минувшее: Исторический альманах. 21. СПб.: Atheneum: Феникс, 1997. С. 458).

«Еще переменится все в этой жизни, — о да!..» Впервые — Перезвоны. [Рига], 1926. № 19. С. 589. С разночтением в 7 строке: «И где-то, за гранью почти уж раскрытых ворот».

«Если дни мои милостью Бога...» Числа. 1930. № 1. С. 12–13.

20 сентября 1928 года Адамович прислал З. Н. Гиппиус автограф этого стихотворения с разночтениями — 2 строка: «Могут быть на земле продлены», 5 строка: «Я оставить хочу завещанье». К строке «Брат мой, друг мой, не бойся страданья» он сделал смущенную пометку: «Il est temps de lancer Надсона».

«На Монмартре, в сумерки, в отеле...» Новый дом. 1926. № 1. С. 4. С дополнительной первой строфой:

Дон-Жуан, патрон и покровитель
Всех, кто не находит забытья,
Первомученик, первоучитель
Дон-Жуан, — тебя ль не вспомню я?

На соседней странице журнала было опубликовано стихотворение З. Н. Гиппиус «Ответ Дон-Жуана (Дон-Жуан, конечно, вас не судит...)». В своем отзыве на первый номер «Нового дома» М. Цетлин отметил: «Интересна стихотворная полемика на тему о любви между Г. Адамовичем и Гиппиус» (ПН. 1926. 11 ноября. № 2059. С. 3).

«Он еле слышно пальцем постучал...» Звено. 1924. 15 сентября. № 85. С. 2.

«Граф фон-дер Пален! Руки на плечах...» Числа. 1930. № 1. С. 11.

Пален Петр Алексеевич (1745–1826) — граф, генерал от кавалерии, петербургский военный губернатор. Один из организаторов дворцового переворота 1801 года.

«Невыносимы становятся сумерки...» Числа. 1930. № 1. С. 11.

Стихотворения, не включавшиеся в сборники

Анне Ахматовой («По утрам свободный и верный...») Литературное обозрение. 1989. № 5. С. 39.

Стихотворение из альбома Ахматовой, хранящегося в РГАЛИ, впервые опубликовано Н. А. Богомоловым.

Балтийский ветер («Был светлый и холодный день...») Голос жизни. 1915. 18 марта. № 12. С. 12.

«Тяжкий гул принесли издалека...» Голос жизни. 1915. 18 марта. № 12. С. 12.

Оставленная («Мы все томимся и скучаем...») Огонек. 1915. 26 апреля (9 мая). № 17. С. 12.

«Когда Россия, улыбаясь...» Публикуется впервые. РГАЛИ. Ф. 341. Оп. 1. Ед. хр. 298.

«Железный мост откинут...» Вечер «Триремы». Пг., 1916. С. 3.

«О том, что смерти нет, и что разлуки нет...» ЦП-4. С. 13.

«Жил когда-то в Петербурге...» Звено. 1923. 29 октября. № 39. С. 2.

Лубок («Есть на свете тяжелые грешники...») Звено. 1924. 3 марта. № 57. С. 2.

«Единственное, что люблю я — сон...» Перезвоны. 1926. № 19. С. 589.

«Сердце мое пополам разрывается...» ЦП-4. С. 12.

«О, сердце разрывается на части...» СЗ. 1927. № 32. С. 145.

«Со всею искренностью говорю...» Публикуется впервые.

Прислано Адамовичем Гиппиус 2 сентября 1928. Письмо находится в коллекции Томаса Уитни (ныне — в архиве Амхерст-колледжа).

«Нам суждено бездомничать и лгать...» Новый корабль. 1928. № 4. С. 3.

«Кутырина просит...» — «Послать ее к черту...» (*1930?*) Публикуется впервые. Шуточное стихотворение к десятилетнему юбилею газеты «Последние новости». Автограф с пометами Адамовича сохранился в архиве А. А. Полякова в Bakhmeteff Archives. Вместо первых строф приписка рукой Адамовича: «Здесь должно быть было описание редакционной комнаты, — но я не помню его и не могу восстановить».

«...негодует Эразмус. / С "коровой", с капустой лежат пирожки...» — На полях приписка Адамовича: «С коровой: он не говорил "с мясом"».

Стихи в альбом («Я верности тебе не обещаю...») Инвалид: Литературный сборник. Париж, 1934. С. 16.

«Сегодня был обед у Бахраха...» Публикуется впервые.

Шуточное стихотворение из архива Бахраха в Bakhmeteff Archives.

«Остров был дальше, чем нам показалось...» Опыты. 1953. № 2. С. 6.

10 мая 1953 года Адамович прислал в письме Л. Д. Червинской (ныне — в Bakhmeteff Archives) автограф этого стихотворения с разночтениями — 1–2 строки: «Остров-то дальше, чем нам показалось. / Осень пришла и развеяла снег», 4 строка: «Лишь очертаньем обещанных нег», 8 строка: «Воспоминание — к ниточке нить», 10 строка: «В памяти только, совсем далеко», 15 строка: «С неба снежинки... как острая жалость».

«Был вечер на пятой неделе...» Опыты. 1953. № 2. С. 6–7.

«Как легкие барашки-облака...» Литературный современник. Мюнхен, 1954. <№ 4>. С. 48.

Публикация стихотворения удивила И.Одоевцеву, сообщившую об этом автору. 3 августа 1955 года Адамович отвечал ей: «Что это Вы, Мадам, пишете мне о своем удивлении по поводу моего стишка в “Лит. совр.”? Этому стишку почти столько же лет, сколько мне, и стоит ли о нем говорить? Я его послал, чтобы отделаться, а впрочем — жалею» (Эпизод сорокапятилетней дружбы-вражды: Письма Г. Адамовича И. Одоевцевой и Г. Иванову (1955–1958) / Публ. О. А. Коростелева // Минувшее: Исторический альманах. 21. СПб.: Athene-um: Феникс, 1997. С. 412–413).

Из забытой тетради

«Социализм — последняя мечта...» НЖ. 1965. № 80. С. 30.

«Крушение русской державы...» НЖ. 1965. № 80. С. 30.

Вспоминая акмеизм («После того, как были ясными...») Содружество. Вашингтон, 1966. С. 13.

В старинный альбом («Милый, дальний друг, простите...») Содружество. Вашингтон, 1966. С. 14.

«Ночь... в первый раз сказал же кто-то — ночь...» НЖ. 1969. № 94. С. 42.

«Нет, в юности не все ты разгадал...» НЖ. 1969. № 94. С. 42.

«Пора, мой друг, пора...» — заглавная строка стихотворения Пушкина (1834).

«Окно, рассвет... Едва видны, как тени...» НЖ. 1969. № 94. С. 43.

«Что за жизнь! Никчемные затеи...» НЖ. 1969. № 94. С. 43.

«“Понять—простить”. Есть недоступность чуда...» НЖ. 1969. № 94. С. 44.

«Там солнца не будет... Мерцанье...» НЖ. 1969. № 96. С. 74.

«“Пора смириться, сэр”. Чем дольше мы живем...» РМ. 1970. 26 февраля. № 2779. Приложение. С. II.

«Пора смириться, сэр...» — из стихотворения Блока «Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный...» (1912).

На чужую тему («Так бывает: ни сна, ни забвения...») НЖ. 1971. № 102. С. 6.

«Смерть и время царят на земле» — из стихотворения Вл. Соловьева «Бедный друг, истомил тебя путь...» (1887).

Памяти М. Ц. («Поговорить бы хоть теперь, Марина!..») НЖ. 1971. № 102. С. 6.

14 сентября 1976 года И.Одоевцева писала Г. Струве: «А это Вам, в виде литературоведческого подарка — Адамович написал "Поговорить бы хоть теперь, Марина!.." в конце 1970 года и тогда же прочел мне. Я, со своей непреодолимой страстью к исправлению чужих и своих стихов, посоветовала ему заменить "голос соловьиный", как у него было, "голосом лебединым", с чем он согласился. Но вторую мою поправку: вместо "Откуда никому — путей назад" — "Откуда нет путей назад", он отверг. Об этом он мне тогда же "для будущего" написал из Ниццы, куда уезжал на Рождество: "Соловьиный голос" принадлежит Ирине Одоевцевой, а "Откуда никому — путей назад" остается, как было» (Gleb Struve Papers. Box 111-3. Hoover Institution Archives. Stanford University. Palo Alto. USA).

Мадригал Ирине Одоевцевой («Ночами молодость мне помнится...») НЖ. 1972. № 108. С. 158.

По словам Одоевцевой, Адамович сопроводил «Мадригал...» букетом роз и комментарием: «Это, конечно, не Бог весть что, но от лучших чувств. И правда, я ночью в Ницце думал о Вас, как все у Вас случилось в прошлом и настоящем <...> обнимаю Вас, шлю всякие пожелания и очень хотел бы знать, что все у Вас хорошо. Как Несчастливцев говорит Счастливцеву: "Ты, да я, кто же еще?" Это во всех смыслах» (Там же).

ПЕРЕВОДЫ

Переводческая деятельность Адамовича началась еще в Петербурге, он принимал участие в коллективном переводе Эредиа, над которым работала студия М. Л. Лозинского, много переводил для издательства «Всемирная литература» (часто вместе с Георгием Ивановым и Гумилевым). Продолжал заниматься переводами и в эмиграции, особенно часто в первые годы после отъезда. Самым замеченным оказался совместный их с Георгием Ивановым перевод «Анабазиса» Сен-Жон Перса (этому переводу повезло больше других — он несколько раз переиздавался как в эмиграции, так и недавно в России).

Французский язык для Адамовича был практически родным (в семье говорили равно на русском и французском). Английский он знал гораздо хуже. Георгий Иванов, завидуя умению своего бывшего друга, писал В. Маркову, что «ведь вот и тут устроился профессором в Манчестере <...> а по-английски едва-едва плетет лапти» (Georgij Ivanov / Irina Odojevceva. Briefe an Vladimir Markov 1955–1958 / Mit einer Einleitung herausgegeben von Hans Rothe. Köln; Weimar; Wien: Bohlau Verlag, 1994. B. 46). Адамович и впрямь нередко испытывал затруднения, пытаясь объяснить своим студентам какие-либо высокие материи, и когда ему не хватало слов, переходил на французский. Сам Георгий Иванов, по свидетельству Одоевцевой, тоже «конечно, английского не знал, все по подстрочнику делал» (*Одоевцева И.* Избранное. М.: Согласие, 1998. С.20). У акмеистов вообще английский большим успехом не пользовался. Ни Гумилев, ни Мандельштам толком его так и не выучили, а Ахматова, взявшись как-то на склоне лет прочитать что-то по-английски сэру Исайе Берлину, привела его в изумление своим произношением. Переводили тем не менее с подстрочника все, а Адамовичу в послевоенные годы случалось и публиковать статьи на английском языке.

17 Зак. 3423

Несмотря на приличные первоисточники, свидетельствующие об отменном вкусе, Адамовича нельзя назвать безукоризненным и даже значительным переводчиком. Хотя Одоевцева и считала, что «Адамович хорошо переводил» (*Одоевцева И.* Избранное. М.: Согласие, 1998. С. 20), лишь отдельные строчки его переводов удачны, в остальном — это откровенная халтура. Да он и сам не скрывал этого. Из воспоминаний и переписки хорошо видно, что Адамович, как и большинство его приятелей, ни в России, ни в эмиграции не считали этот вид литературной деятельности имеющим самостоятельное значение. «Переводами в те голодные годы кормились решительно все поэты» (*Иванов Г.* Ответ гг. Струве и Филиппову // НЖ. 1956. № 45. С. 302). При этом «к переводам никто не относился серьезно; это халтура, легкий способ заработать деньги» (*Одоевцева И.* На берегах Невы. Вашингтон: изд. Камкина, 1967. С. 261). Тем не менее, это тоже страница истории русской литературы.

В настоящий том вошли лишь некоторые из переводов Адамовича. За пределами издания остались большие по объему работы:

Томас Мур. Огнепоклонники (поэма) — Константа: Российская газета свободной творческой ассоциации. 1996. № 9-13. С. 1-6.

Перевод третьей из четырех вставных поэм, включенных Томасом Муром (1779-1852) в роман в стихах и прозе «Лалла Рук» (1812-1817), выполнен Адамовичем для издательства «Всемирная литература» в 1918-1920 годах и отредактирован Н. Гумилевым, но в то время напечатан не был. (РГАЛИ. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 1226). Машинопись с рукописной правкой Адамовича и Гумилева впервые опубликована Е. Витковским в 1996 году.

Байрон. Странствования Чайльд-Гарольда. В РГАЛИ, в фонде издательства «Академия» (Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 342) хранится рукопись перевода с редакционной правкой Н. Гумилева.

Байрон. Дон-Жуан. В РГАЛИ, в фонде издательства «Академия» (Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 327) хранится рукопись перевода 1–3 песни с редакционной правкой Н. Гумилева.

М. Л. Гаспаров опубликовал фрагменты рукописи и, разбирая особенности переводов «Дон Жуана», выполненных Гумилевым, Кузминым и Адамовичем, пришел к выводу, что «перевод Адамовича глаже и легче, хотя за счет многих потерянных образов и мотивов» (*Гаспаров М. Л.* Неизвестные русские переводы байроновского «Дон Жуана» // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1988. Т. 47. № 4. С. 364).

Вольтер. Орлеанская девственница. Поэма в двадцати одной песне / Пер. Г. Адамовича, Н. Гумилева, Г. Иванова под ред. М. Лозинского. — М.; Л.: Всемирная литература, Госиздат, 1924.

Георгий Иванов в письме Маркову в декабре 1955 года писал, что когда Гумилев «отдавал мне и Адамовичу перевод “Девственницы”, он говорил: “От сердца отрываю эту душку, никогда бы не отдал, все бы сам перевел, да времени нет”. Перевод этот требовался Горьким срочно — мы и перевели его в два месяца и довольно блестяще» (Georgij Ivanov / Irina Odojevceva. Briefe an Vladimir Markov 1955–1958 / Mit einer Einleitung herausgegeben von Hans Rothe. Köln; Weimar; Wien: Bohlau Verlag, 1994. B. 7).

Перевод высоко оценил Б. Томашевский: «Перевод “Девственницы” запоздал на 150 лет, но в данном случае — лучше поздно, чем никогда <...> Выполнен он чрезвычайно тщательно, с попыткой соблюсти детали подлинника, напр., его рифмовку» (Русский современник. 1924. № 4. С. 266–267. Подп.: Б. Т.), а также В. Вейдле (Звено. 1925. 20 апреля. № 116. С. 4. Подп.: W).

Сен-Жон Перс. Анабазис / Пер. Г. Адамовича и Г. Иванова. Париж: Изд-во Поволоцкого, 1926. 63 с.

После войны Николай Татищев писал: «Вспоминаю появившийся в начале эмиграции перевод Г. В. Адамовичем и Г. В. Ивановым “Анабазиса” <...> С того года, кажется, 1925-го, в нашей поэзии зазвучала новая му-

зыка, щемящая и сладостная, между небытием и жалостью» (*Татищев Н.* Среди книг // Опыты. 1956. № 6. С. 70). Прочитав это, Адамович язвительно написал Одоевцевой 17 июня 1956 года: «Самое лучшее — скажите Жоржу! — что Татищев написал, что русская поэзия началась с нашего перевода С.-Ж. Перса! А мы и не знали!» (Эпизод сорокапятилетней дружбы-вражды: Письма Г. Адамовича И. Одоевцевой и Г. Иванову (1955–1958) / Публ. О. А. Коростелева // Минувшее: Исторический альманах. 21. СПб.: Atheneum: Феникс, 1997. С. 429).

Через несколько лет фрагменты «Анабазиса» были републикованы в эмигрантской печати (Мосты. 1961. № 8. С.113–119). 29 января 1962 года Адамович писал Александру Бахраху по поводу переиздания собственного перевода: «Бербериха настаивала будто бы, чтобы печатали Перса полностью, а я хотел бы знать, кто этот опус прочел, и в силах был прочесть хотя бы в отрывках! Вот тема: “о жульничестве новой поэзии”» (Bakhmeteff Archives. Columbia University. New York).

Альбер Камю. Незнакомец / Пер. и пред. Г. Адамовича. — Paris: Editions Victor, [1966]. — 133 с.

Ю. Терапиано в своей рецензии на это издание счел, что «перевод сделан превосходно: роман от начала до конца читается как будто он был написан по-русски, перевода, как это бывает обыкновенно, нигде не чувствуется, настолько адекватны слова с содержанием каждой фразы — случай редчайший» (*Терапиано Ю.* «Незнакомец» Альбера Камю // РМ. 1966. 18 июня. № 2479. С. 6–7). Б. Зайцев также отметил в своем литературном дневнике по поводу книги Камю: «Перевел ее Г. В. Адамович — очень хорошо» (*Зайцев Б.* Дни // РМ. 1966. 4 августа. № 2499. С. 2–3). Несколько лет спустя Ю. Яхнина, проанализировав три перевода книги Камю — Адамовича, Н. Галь и Н. Немчиновой, — пришла к иному мнению и, попеняв Адамовичу за старомодность языка, отдала предпочтение переводу Н. Галь (*Яхнина Ю.* Три Камю. — В кн.: Мастерство перевода. Сб. 8. — М.: Советский писатель, 1971. С. 255–286).

Жозе Мариа де Эредиа. Раб. В кн.: *Эредиа Жозе Мариа де.* Трофеи. — М.: Наука, 1973. С. 41. (Литературные памятники).

Коллективный перевод «Трофеев» Эредиа осуществлялся семинарием под руководством М. Л. Лозинского. Членами семинария по стихотворному переводу при Литературной студии (1919–1923) были Галина Васильевна Рубцова (1898–1976), Татьяна Михайловна Владимирова, Мария Никитична Рыжкина (1898 — после 1942), Раиса Ноевна Блох (1899–1943), Екатерина Романовна Малкина (1899–1945), Ада Ивановна Оношкович-Яцына (1896–1935) и Михаил Дмитриевич Бронников (1896–1941/1942). Помимо студийцев, в коллективном переводе принимали участие также Н. Гумилев, Г. Иванов, Г. Адамович, К. Липскеров, А. Пиотровский, О. Брошниовская, А. Курошева, В. Лейкина и Н. Сурина. Перевод в то время не увидел света, будучи «запрещен, так как уже вышел в Госиздате в переводе Глушкова» (*Оношкович-Яцына А. И.* Дневник 1919–1927 / Публ. Н. К. Телетовой // Минувшее: Исторический альманах. 13. М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1993. С. 429).

Узнав об этом, Адамович писал в «Откликах»: «Из России получены в Париже “Трофеи” Эредиа в русском переводе. Мы почти не сомневались, что перевод этот принадлежит М. Лозинскому. С крайним удивлением мы прочли на обложке другое имя. Итак, существует два полных русских перевода “Трофеев”, — редкая в нашей литературе роскошь!

Изданный сейчас в России перевод не может идти ни в какое сравнение с еще мало кому известным переводом М. Лозинского. Почему было дано ему предпочтение — понять трудно. Причины этого предпочтения едва ли литературного порядка.

М. Лозинский перевел многие сонеты Эредиа единолично, другие — в сотрудничестве со своими слушателями в студии петербургского “Дома искусств”. Некоторые его переводы удивительны по точности переда-

чи текста, по звону, пышности, блеску, напоминающим блистательный оригинал. Покойный Н. С. Гумилев считал эти стихотворения лучшими образцами русской переводной литературы. Едва ли он ошибался. Во всяком случае, никогда Брюсов — крупнейший мастер перевода — не достигал подобного совершенства.

Будет ли когда-нибудь издан этот “классический” перевод? На доход с издания его рассчитывать трудно. Придется, вероятно, Лозинскому подождать появления на Руси новых меценатов» (Звено. 1925. 30 ноября. № 148. С. 4. Подп.: Сизиф).

Адамович не вполне точен, издание 1925 года не являлось полным переводом «Трофеев»: *Эредиа Хозе Мария де.* Трофеи / Перевод Д. И. Глушкова (Д. Олерона), предисл. Б. Л<ившица>. Л.: Госиздат, 1925.

Перевод студии М. Л. Лозинского был опубликован лишь спустя полвека в серии «Литературные памятники»: *Эредиа Жозе Мария де.* Трофеи. М.: Наука, 1973.

Роберт Саути. Призрак. Быль. В кн.: *Саути Роберт.* Баллады / Переводы под редакцией и с предисловием Н. Гумилева. — Пб.: Государственное издательство, 1922. С. 72–75. (Всемирная литература. Вып. 50).

Шарль Бодлер. Падаль («Припомните предмет, что видеть, дорогая...») Звено. 1923. 9 июля. № 23. С. 2.

Жан Кокто. «Нет ничего страшней, чем спящих женщин лица...» Звено. 1924. 28 января. № 52. С. 2.

Жан Кокто. «Мне путешествия скучны, я жил в Мадриде...» Звено. 1924. 7 января. № 49. С. 2.

Наполеон I. «Наследник юный мой, далекое виденье...» Звено. 1925. 26 января. № 104. С. 3. Подп.: Г. А.

Рильке. «Я тот, кто спрашивал когда-то...» Звено. 1925. 29 июня. № 126. С. 2. Подп.: Г. А.

Алексис Раннит. Литания («Разлука — пролетает желтая птица») Новый журнал. 1965. № 81. С. 104.

Рецензируя очередную книгу «Нового журнала», Ю. Терапиано счел стихотворения Алексиса Раннита «интересными», а перевод Адамовича «мастерским» (РМ. 1966. 12 февраля. № 2425. С. 6).

Алексис Раннит. Осень («Все, все перемешай: и красный блеск Дамаска...») Новый журнал. 1965. № 81. С. 104.

Алексис Раннит. «О, не ищи игры в напеве...» Новый журнал. 1971. № 102. С. 110.

ПРОЗА

Даром прозаика Адамович не обладал. Его опыты в этом жанре, несмотря на то, что он начинал свою литературную карьеру именно с них, так никогда и не вышли за рамки пробы пера. Комплиментарные отзывы Ю. Терапиано и И. Одоевцевой на поздние прозаические вещи объясняются скорее старой дружбой и снисходительностью к простительным слабостям знаменитого критика. В десятых годах это была проза, ориентированная на тонкие журналы и газеты. В письме к Одоевцевой Адамович с улыбкой вспоминал «те рассказики, которые лет 40 назад мы с Жоржем сочиняли для Бонди» (Эпизод сорокапятилетней дружбы-вражды: Письма Г. Адамовича И. Одоевцевой и Г. Иванову (1955–1958) / Публ. О. А. Коростелева // Минувшее: Исторический альманах. 21. СПб.: Atheneum: Феникс, 1997. С. 426).

Стилистически это ближе всего к прозе Кузмина и его многочисленных в то время подражателей. По опре-

делению Р. Тименчика, в прозе «Кузмин стремился приблизиться к прокламировавшемуся им идеалу “вторичной”, “непретенциозной” литературы» (Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь. Т. 3. М.: Большая российская энциклопедия; Фианит, 1994. С. 206). Адамович явно разделял эти устремления и одобрительно отзывался о прозе Кузмина, который, по его мнению, «ввел несомненное новшество: он додумался записывать человеческую речь не в упорядоченном и сглаженном виде, а во всей ее бессвязности. Оттого его диалоги кажутся необыкновенно живыми» (Звено. 1924. 13 октября. № 89. С. 2). Первые рассказы Адамовича, равно как и Георгия Иванова или Юрия Юркуна, напоминают именно кузминскую бытовую прозу.

Ниже публикуются все известные на сегодняшний день прозаические вещи Адамовича, включая псевдомемуарный очерк «Вечер у Анненского». Тексты печатаются по первым (и единственным) прижизненным публикациям.

Веселые кони. Голос жизни. 1915. № 8. С. 3–8.

Свет на лестнице. Рассказ. Огонек. 1915. № 40. 4 (17) октября. С. 9–15.

gardez-vous, madame — остерегайтесь, мадам (фр.).

Вологодский ангел. Рассказ. Огонек. 1916. № 14. 3 (16) апреля. С. 2–3, 5–6.

Мария-Антуанетта. Петроградский рассказ. Биржевые ведомости (утренний выпуск). 1916. 29 октября–1 ноября. №№ 15892, 15894, 15896, 15898, 15900. С. 5.

«Encore un moment monsieur le bourreau» — «Еще минуточку, господин палач» (фр.).

Равнодушная дама. Повесть. Северные записки. 1916. № 12. С. 7–38.

Жизель. Рассказ. Звено. 1925. 9 февраля. № 106. С. 3.

Окоченевший мальчик. Иллюстрированная Россия. 1930. 20 декабря. № 52. С. 28.

Шевалье Морис (1888–1972) — французский шансонье.

Линдберг Чарлз (1902–1974) — американский летчик, совершивший первый беспосадочный полет через Атлантику в 1927 году.

«Dors, dors, mon enfant!» — «Спи, спи, мой мальчик!» (фр.)

Вечер у Анненского. Отрывок. Числа. 1930/1931. № 4. С. 214–216. Подп.: Г. А.

О том, что эта публикация явно относится к беллетристике, а не к воспоминаниям в полном смысле, уже отмечалось в печати. См., например: *Лавров А. В., Тименчик Р. Д.* Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях // Памятники культуры: Новые открытия. 1981. Л., 1983. С. 117. О том, как юный гимназист Адамович единственный раз в жизни видел Анненского, сидя за школьной партой, он рассказал незадолго до публикации вымышленного «отрывка» (*Адамович Г.* Памяти Ин. Ф. Анненского (К двадцатилетию со дня смерти) // ПН. 1929. 28 ноября. № 3172. С. 3).

Литературная мастерская. Сатирикон. 1931. № 6. С. 4.

Рамон Ортис. Числа. 1931. № 5. С. 32–43.

С. Литовцев в рецензии на пятую книгу «Чисел» отметил: «Адамович дал четко и остро написанный рассказ “Рамон Ортис” — самоубийство игрока-аргентинца на юге Франции, — которому придает значительность неожиданный финал: горечь жизни смягчается каким-то намеком на то, что ею не все кончается» (ПН. 1931. 2 июля. № 3753. С. 3).

На русском Монпарнасе рассказ пользовался известной популярностью. Анатолий Штейгер, защищая Ада-

мовича, именно этот рассказ приводил в качестве аргумента в письме к Цветаевой: «Если вы читали его “Комментарии” в “Числах” и “Совр<еменных> Зап<исках>”, “Рамона Ортиса” в “Числах”, некоторые его стихи, то неужели Вы все же будете обвинять и Адамовича в ничтожестве» (В кн.: *Цветаева М.* «Хотите ко мне в сыновья?» (Двадцать пять писем к Анатолию Штейгеру). М.: Дом Марины Цветаевой, 1994. С. 68).

См. также обстоятельный сравнительный анализ «Рамона Ортиса» и пародийного рассказа Набокова «Уста к устам» в диссертации Сергея Давыдова, который прослеживал «прямую связь между рассказами Адамовича и Набокова <...> целый ряд сюжетных и фабульных перекличек» (*Давыдов С.* Тексты-матрешки Владимира Набокова. München: Verlag Otto Sagner, 1982. С. 37–51, 215–216).

Начало повести. Из забытой тетради. НЖ. 1966. № 85. С. 40–48.

«“Начало повести” Георгия Адамовича бесспорно является украшением этого номера “Нового журнала”, — писала в своем отзыве И. Одоевцева. — Все напечатанное рядом с ней — насколько оно не было хорошо — как бы блекнет. Это действительно “беззаконная комета среди рассчитанных светил”» (РМ. 1967. 4 марта. № 2590. С. 6).

«Qui craint la mort?» — «Кто боится смерти?» (фр.)

Игла на ковре. НЖ. 1970. № 100. С. 39–59.

Ю. Терапиано, рецензируя сотый номер «Нового журнала», писал, что «рассказ Георгия Адамовича “Игла на ковре” одним своим сюжетом уже является необычным в зарубежной литературе, не говоря уже о советской» (РМ. 1970. 24 декабря. № 2822. С. 8–9).

Виленский, 4 — По этому адресу Адамович действительно жил в Петербурге в 1910–1912 гг.

БИБЛИОГРАФИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ Г. В. АДАМОВИЧА (1915–1995)

Библиография не претендует на исчерпывающую полноту, поскольку в настоящее время ни одна библиотека мира не может похвастаться полными комплектами эмигрантских периодических изданий, а Адамович мог публиковать свои стихи почти в любом эмигрантском журнале, альманахе или газете. Но основные его поэтические публикации здесь по возможности учтены. Составитель с благодарностью примет любые дополнения и уточнения.

Часть стихотворений датирована Адамовичем при публикации (в этих случаях дата проставляется курсивом в скобках после названия стихотворения). Остальные стихи можно датировать лишь очень приблизительно, чаще всего известна только первая публикация. Составителем предположительно датируются лишь непубликовавшиеся стихотворения.

1. **12 марта 1801 г. («Вы знаете, это измена...»)** (*1916*)
Северные записки. 1916. № 4–5. С. 46;
Ч. С. 51–52 (под названием «1801»).
2. **Анне Ахматовой («По утрам свободный и верный...»)** (*1914*)
Литературное обозрение. 1989. № 5. С. 39 (стихотворение из альбома Ахматовой, хранящегося в РГАЛИ, впервые опубликовано Н. А. Богомоловым).
Кац Б., Тименчик Р. Анна Ахматова и музыка. Исследовательские очерки. Л., 1989. С. 45.
Посвящается Ахматовой. Tenafly, 1991. С. 62.

Баллада. См. № 9.

3. **Балтийский ветер («Был светлый и холодный день...»)**
Голос жизни. 1915. 18 марта. № 12. С. 12.
4. **«Бегут, как волны, быстрые года...»**
Зеленый цветок. Пг., 1915. С. 11;
О. С. 27 (под названием «Элегия. 1»).
5. **«Без отдыха дни и недели...»** (*1922*)
З. 1923. 17 сентября. № 33. С. 2;
ЦП-4. С. 6;
НЗ. С. 6;
На Западе. 1953;
Е. С. 10;
Лит. Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19;
Звезда. 1988. № 9. С. 127;
Лепта. 1991. № 2. С. 151;
Ковчег. С. 22;
Алтарь. 1994. С. 129.

«Безлунным вечером в гостинице вдвоем...» См. № 111.

6. **Белые ночи («Проспектов озаренных фонари...»)**
Свирель: Третий альманах молодой поэзии. Пг.; Томск: Факел, 1918.
7. **Болезнь («В столовой бьют часы. Как пахнет камфарой...»)** (*1916*)
Северные записки. 1916. № 4–5. С. 47;

Ч. С. 61 (с незначительными разночтениями);
ЕШ. 1925.

8. **«Был вечер на пятой неделе...»**
Опыты. 1953. № 2. С. 6–7;
Ковчег. С. 38.

9. **«Был дом, как пещера. О, дай же мне вспомнить...»**
СЗ. 1931. № 46. С. 163 (под названием «Баллада»);
НЗ. С. 36–37;
Е. С. 16;
Лепта. 1991. № 2. С. 155;
Ковчег. С. 28–29;
Алтарь. 1994. С. 134.

10. **«В зоологических садах орлы...»**
О. С. 6.

11. **«В последний раз... Не может быть сомненья...»**
Орион. 1947. С. 9 («В последний раз... О, сердце, нет сомненья...»);
Е. С. 33 (с разночтениями);
Лепта. 1991. № 2. С. 156;
Ковчег. С. 37.

12. **В старинный альбом («Милый, дальний друг, простите...»)**
Содружество. Вашингтон, 1966. С. 14.

13. **В. Ф. («О, сердце, не бейся, не ной...»)** (*1917*)
Ч. С. 46.

14. **В. Ф. (2). («Все понимаю, все — одно сиянье...»)** (*1917*)
Ч. С. 47.

15. **В. Ф. (3). («Четвертый раз над этой жизнью...»)** (*1917*)
Ч. С. 47–48.

Вагнер. 1. См. № 114.

16. **Вагнер. 2. («Туман, туман... Пастух поет устало...»)** (*1918*)
Ч. С. 40.

17. **Вологодский ангел. Поэма. («Царь Христос, побудь с нами, Царь Христос, ты нам помоги...»)**
Северные записки. 1917. № 1. С. 87–94.
Ч. 77–91 (с разночтениями).

Воробьевы горы. См. № 49.

18. **«Вот все, что помню, мосты и камни...»**
Новый журнал для всех. 1915. № 6. С. 3;
О. С. 29;
РПСВ. С. 490.

19. **«Вот жизнь — пелена снеговая...»**
О. С. 30–31.

20. **«Вот так всегда — скучаю и смотрю...»**
О. С. 3–4;
Волга. 1990. № 12. С. 129.

21. **Вспоминая акмеизм («После того, как были ясными...»)**
Содружество. Вашингтон, 1966. С. 13.

22. **«Всю ночь слова перебираю...»**
СЗ. 1928. № 35. С. 239;
Е. С. 25.
Лепта. 1991. № 2. С. 153;
Человек. 1992. № 6. С. 186;
Ковчег. С. 25.

23. **«Выходи, царица, из шатра...»**
О. С. 21–22.

24. **«Вышел я на гору высокую...»** (*1916*)
О. С. 39.

25. **«Где ты теперь? За утесами плещет море...»** (*1920*)
ЦП. 1921. № 2. С. 9;
Ч. С. 10;
ЦП. Берлин, 1923. № 2–3;
НЗ. С. 9–10;
Е. С. 41;
Алтарь. 1994. С. 130.

Голос. См. № 150.

26. **«Граф фон-дер Пален! Руки на плечах...»**
Числа. 1930. № 1. С. 11;
НЗ. С. 52;
Даугава. 1988. № 1. С. 112;
Ковчег. С. 27;
Алтарь. 1994. С. 136.
27. **«Гуляй по безбрежной пустыне...»** (*1916*)
Ч. С. 42.
28. **«Да, да... я презираю нервы...»**
Встреча. 1945. № 2. С. 13;
Е. С. 19;
Ковчег. С. 35–36.
29. **«Девятый век у северской земли...»**
Аполлон. 1916. № 3. С. 46;
Ч. С. 65.

«Дон-Жуан, патрон и покровитель...» См. № 73.

30. **«Едва расслышу я два-три последних слова...»** (*1921*)
Ч. С. 55.
31. **«Единственное, что люблю я, — сон...»**
Перезвоны. 1926. № 19. С. 589.
32. **«Если дни мои милостью Бога...»**
Числа. 1930. № 1. С. 12–13;
НЗ. С. 41–42;
ЖРП. 1964;
Ковчег. С. 27–28;
Человек. 1992. № 6. С. 187;
Алтарь. 1994. С. 135.
33. **«Есть, несомненно, странные слова...»**
З. 1923. 17 сентября. № 33. С. 2;
ЦП-4;
НЗ. С. 22;
Е. С. 46;
Ковчег. С. 32;
Алтарь. 1994. С. 132.

18 Зак 3423

34. **«Еще и жаворонков хор...»** (*1921*)
Ч. С. 28–29.
35. **«Еще переменится все в этой жизни, — о да!..»**
Перезвоны. 1926. № 19. С. 589;
Новый корабль. 1927. № 2. С. 3;
НЗ. С. 34;
Ковчег. С. 24;
Алтарь. 1994. С. 134;
200 поэтов. С. 24.
36. **«Еще, еще минуточку...»** (*1918*)
Ч. С. 56–57.
37. **«Еще, еще немного краски синей...»** (*1916*)
Ч. С. 50.
38. **«Железный мост откинут...»**
Вечер «Триремы». Пг., 1916. С. 3.
39. **«Жизнь! Что мне надо от тебя, — не знаю...»** (*1920*)
Ч. С. 53;
ЕШ. 1925;
НЗ. С. 35 (с разночтениями);
Алтарь. 1994. С. 134.
40. **«Жил когда-то в Петербурге...»**
З. 1923. 29 октября. № 39. С. 2.
41. **«За все, за все спасибо. За войну...»**
Новый корабль. 1928. № 4. С. 3;
НЗ. С. 50 (изменены два слова);
Е. С. 21;
Лепта. 1991. № 2. С. 154;
Ковчег. С. 32;
Человек. 1992. № 6. С. 187;
Алтарь. 1994. С. 136;
200 поэтов. С. 24.
42. **«За все, что в нашем горестном быту...»** (*1922*)
З. 1923. 17 сентября. № 33. С. 2;
ЦП-4;

НЗ. С. 23;
Алтарь. 1994. С. 132.

«За все, что ты помнил когда-то...» См. № 44.

43. **«За миллионы долгих лет...»**
ЦП-3. С. 5 (с посвящением Андрею Цур-Милену);
Ч. С. 23;
ЦП. Берлин, 1923. № 2–3.

44. **«За слово, что помнил когда-то...»**
Числа. 1930. № 1. С. 12;
Якорь. 1936. С. 62;
НЗ. С. 8 («За все, что ты помнил когда-то...»);
Грани. 1959. № 44. С. 25;
Муза диаспоры. 1960;
Е. С. 13;
Лепта. 1991. № 2. С. 152;
Ковчег. С. 26;
Человек. 1992. № 6. С. 187;
Алтарь. 1994. С. 130 (вариант НЗ);
200 поэтов. С. 25.

45. **«За стенами летят, ревут моторы...»** (*1918*)
Ч. С. 49.

46. **Забытая («Ах, весна, ах, прекрасное лето...»)** (*1916*)
Северные записки. 1916. № 4–5. С. 48 (с эпиграфом из С. Городецкого);
Ч. С. 58–59 (под названием «Песня»).

47. **«Заходит наше солнце... Где века...»** (*1919*)
Ч. С. 73;
Волга. 1990. № 12. С. 130.

48. **«Звенели, пели. Грязное сукно...»**
Ч. С. 9;
ЕШ. 1925;
РПСВ. С. 491.

49. **«Звенит гармоника. Летят качели...»** (*1917*)
Ч. С. 13 (под названием «Воробьевы горы»);
ИНП. С. 7 (–“–);

ЕШ. 1925. (-“-);
НЗ. С. 46;
РПСВ. С. 491–492 (под названием «Воробьевы горы»);
Алтарь. 1994. С. 135.

50. **Зигфрид («Я не знаю, я все забыл...»)**
О. С. 20.

51. **«И жизнь свою, и ветры рая...»**
О. С. 32–33.

52. **«Из голубого океана...»**
Числа. 1934. № 10. С. 5;
НЗ. С. 53;
На Западе. 1953;
Е. С. 50;
Ковчег. С. 29;
Алтарь. 1994. С. 136;
200 поэтов. С. 24.

53. **«Им счастие даже не снится...»** (*1919*)
Ч. С. 60.

54. **«Как дымный парус, жизнь моя...»**
Ч. С. 62.

55. **«Как легкие барашки-облака...»**
Литературный современник. Мюнхен, 1954. <№ 4>. С. 48.

56. **«Как холодно в поле, как голо...»** (*1919*)
Ч. С. 54;
НЗ. С. 47;
Е. С. 44;
Лепта. 1991. № 2. С. 152;
Ковчег. С. 22–23.
Человек. 1992. № 6. С. 186;
Алтарь. 1994. С. 136.

57. **«Качается фонарь. Белеет книга...»** (*1918*)
Ч. С. 43.

58. **«Когда в предсмертной нежности слабея...»** (*1919*)
Ч. С. 19;
РПСВ. С. 493.
59. **«Когда мы в Россию вернемся...»**
Круг. 1936. № 1. С. 111;
НЗ. С. 15–16;
Е. С. 22–23;
Лит. Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19;
Огонек. 1988. 21–28 мая. № 21. С. 9;
Лепта. 1991. № 2. С. 156;
Ковчег. С. 29;
Человек. 1992. № 6. С. 185;
Алтарь. 1994. С. 131.
60. **«Когда Россия, улыбаясь...»** (*1915?*)
РГАЛИ. Ф. 341. Оп. 1. Ед. хр. 298.
61. **«Когда успокоится город...»** (1922)
З. 1923. 17 сентября. № 33. С. 2;
ЦП-4;
НЗ. С. 48–49;
Е. С. 26;
Лит. Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19;
Ковчег. С. 32–33;
Алтарь. 1994. С. 136;
200 поэтов. С. 25–26.
62. **«Когда...»** (*1920*)
Ч. С. 70–71.
63. **«Крушение русской державы...»** (*1920*)
НЖ. 1965. № 80. С. 30.
64. **«Куртку потертую с беличьим мехом...»**
Петербургский сборник. 1922. С. 8;
НЗ. С. 32;
Ковчег. С. 33;
Алтарь. 1994. С. 133.

65. **«Кутырина просит...» — «Послать ее к черту...»** (*1930?*)
(шуточное стихотворение к юбилею «Последних новостей». Начало утрачено. Сохранилось в архиве А. А. Полякова в Bakhmeteff Archives).
66. **«Летит паровоз, клубится дым...»**
Благонамеренный. 1926. № 1. С. 13–14;
НЗ. С. 20–21;
Ковчег. С. 33–34;
Алтарь. 1994. С. 131.
67. **Летом («Опять брожу. Поля и травы...»)**
О. С. 18–19;
ЕШ. 1925.
68. **«Летят и дни, и тревоги...»**
О. С. 37;
Весенний салон поэтов. М., 1918.
69. **«Ложится на рассвете легкий снег...»**
Петербургский сборник. 1922. С. 7 (под названием «Посвящение» и с разночтениями, первая строка: «Уносит в реку белый снег, — увы!..»);
ЦП-4. С. 9;
НЗ. С. 28;
Ковчег. С. 34;
Алтарь. 1994. С. 133.
70. **Лубок («Есть на свете тяжелые грешники...»)**
З. 1924. 3 марта. № 57. С. 2.
71. **Мадригал Ирине Одоевцевой («Ночами молодость мне помнится...»)** (*1971*)
НЖ. 1972. № 108. С. 158;
И. Одоевцева. На берегах Сены. Вашингтон, 1983;
Звезда. 1988. № 9. С. 128;
И. Одоевцева. На берегах Сены. М., 1989. С. 127.

«Мы все томимся и скучаем...» См. № 112.

72. **«Мы так устали от слов и дела...»**
О. С. 36.

73. **«На Монмартре, в сумерки, в отеле...»**
Новый дом. 1926. № 1. С. 4;
НЗ. С. 44 (без первого четверостишия «Дон-Жуан, патрон и покровитель...»);
Алтарь. 1994. С. 135.
74. **«На окраине райской рощи...»**
Ч. С. 30–32;
ЭРП. 1922. С. 183;
АППЭА. 1973. С. 146.
75. **На чужую тему («Так бывает: ни сна, ни забвения...»)**
НЖ. 1971. № 102. С. 6;
Ковчег. С. 43.
76. **«Навеки блаженство нам Бог обещает...»** (*1921*)
З. 1924. 9 июня. № 71. С. 2;
НЗ. С. 18 (три строки изменены);
Ковчег. С. 34;
Алтарь. 1994. С. 131.
77. **«Нам Tristia — давно родное слово...»**
Е. С. 49;
Ковчег. С. 40;
Человек. 1992. № 6. С. 186.
78. **«Нам в юности докучно постоянство...»** (*1921*)
Ч. С. 69.
79. **«Нам суждено бездомничать и лгать...»**
Новый корабль. 1928. № 4. С. 3.
80. **«Наперекор бессмысленным законам...»**
ЦП-4. С. 10;
НЗ. С. 30;
Е. С. 29;
Лепта. 1991. № 2. С. 155;
Ковчег. С. 35;
Алтарь. 1994. С. 133.
81. **«Не в книге прочесть и не в песнях узнать...»** (*1922*)
Ч. С. 68;
ЭРП. 1922. С. 184.

82. **«Не знал и не верил в Бога...»**
О. С. 13.
83. **«Невыносимы становятся сумерки...»**
Числа. 1930. № 1. С. 11;
НЗ. С. 55;
ЖРП. 1964. С. 8;
Ковчег. С. 27;
Алтарь. 1994. С. 137;
200 поэтов. С. 24–25.
84. **«Нет, в юности не все ты разгадал...»**
НЖ. 1969. № 94. С. 42;
Даугава. 1988. № 1. С. 114;
Ковчег. С. 41.
85. **«Нет, ты не говори: поэзия — мечта...»** (*1919*)
ЦП-1. С. 3;
Ч. С. 27;
ЦП. Берлин, 1923. № 1. С. 3;
ЕШ. 1925;
ИР. 1931. 24 января;
НЗ. С. 26;
На Западе.'1953;
Чтец-декламатор. Нью-Йорк, 1961;
Е. С. 43;
АППЭА. 1973. С. 145;
Даугава. 1988. № 1. С. 111;
Волга. 1990. № 12. С. 129;
Лепта. 1991. № 2. С. 151;
Ковчег. С. 23.
Человек. 1992. № 6. С. 187;
Алтарь. 1994. С. 132.
86. **«Ни музыки, ни мысли... ничего...»**
НЖ. 1967. № 86. С. 22;
Е. С. 52;
АППЭА. 1973. С. 148;
Лепта. 1991. № 2. С. 152;

Ковчег. С. 40;
Человек. 1992. № 6. С. 187;

87. **«Ни с кем не говори. Не пей вина...»**
З. 1923. 19 ноября. № 42. С. 2;
СЗ. 1932. № 27. С. 145;
Якорь. 1936. С. 65;
НЗ. С. 5;
Во славу Божию. Нью-Йорк, 1945. С. 31;
ЖРП. 1964. С. 290;
Е. С. 7;
Ковчег. С. 24;
Алтарь. 1994. С. 129.

88. **«Ни срезанных цветов, ни дыма панихиды...»** (*1922*)
Жизнь искусства. 1922. 3 января. № 1. С. 12;
ЦП-4. С. 11;
НЗ. С. 29 (с разночтением);
Е. С. 31;
Ковчег. С. 32;
Алтарь. 1994. С. 133.
(автограф, датированный 1922 г., в фонде Ходасевича в РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 127).

89. **«Ничего не забываю...»**
НЗ. С. 58–59;
Е. С. 47;
Лит. Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19;
Ковчег. С. 31;
Человек. 1992. № 6. С. 186;
Алтарь. 1994. С. 137;
200 поэтов. С. 26–27.

90. **«Но правда, жить и помнить скучно...»**
О. С. 38;
РПСВ. С. 490–491.

91. **«Но смерть была смертью. А ночь над холмом...»**
НЖ. 1967. № 86. С. 21;
Е. С. 36;

Ковчег. С. 40;
200 поэтов. С. 26.

92. **Ночи (1). «Как трудно вечером дышать...»**
О. С. 10–11.

93. **Ночи (2). «Ведь только тюльпана упал цветок...»**
О. С. 12.

94. **«Ночь... в первый раз сказал же кто-то — ночь...»**
НЖ. 1969. № 94. С. 42;
Даугава. 1988. № 1. С. 114;
Ковчег. С. 41.

95. **«Ночь... и к чему говорить о любви?..»**
Орион. 1947. С. 8–9;
На Западе. 1953;
Чтец-декламатор. Нью-Йорк, 1961. С. 9;
Е. С. 32 (с незначительными разночтениями);
Подъем. 1988. № 11. С. 122;
Ковчег. С. 36–37.

96. **«Ночью он плакал. О чем, все равно...»**
НЖ. 1967. № 86. С. 22;
Е. С. 34 (с посвящением Н<иколаю> Р<ейзини>);
Ковчег. С. 41.

97. **«Ну, вот и кончено теперь. Конец...»**
Числа. 1930. № 1. С. 13;
Якорь. 1936. С. 62–63;
НЗ. С. 56;
На Западе. 1953;
Грани. 1959. № 44. С. 25;
Муза диаспоры. 1960;
Е. С. 20;
Подъем. 1988. № 11. С. 122;
Ковчег. С. 26–27;
Человек. 1992. № 6. С. 187;
Алтарь. 1994. С. 137.

98. **«О мертвом царевиче Дмитрии...»** (*1920*)
Ч. С. 16–17;
ИНП. С. 8.

99. **«О том, что смерти нет, и что разлуки нет...»**
ЦП-4. С. 13.
100. **«О, если где-нибудь, в струящемся эфире...»**
Числа. 1930. № 1. С. 12;
НЗ. С. 40;
Е. С. 14;
Ковчег. С. 26;
Алтарь. 1994. С. 135.
101. **«О, если правда, что в ночи...»**
СЗ. 1937. № 64. С. 151;
НЗ. С. 7;
Е. С. 12 (с эпиграфом из Пушкина: «...может быть, залог»);
Ковчег. С. 31;
Алтарь. 1994. С. 129;
Венок Пушкину. М., 1994. С. 169.
102. **«О, жизнь моя! Не надо суеты...»** (*1920*)
Ч. С. 18;
НЗ. С. 57 («О, жизнь моя, довольно суеты...»);
Алтарь. 1994. С. 137.
103. **«О, сердце разрывается на части...»**
СЗ. 1927. № 32. С. 145.
104. **«Один сказал: “Нам этой жизни мало”...»**
З. 1924. 9 июня. № 71. С. 2;
Новый корабль. 1927. № 2. С. 3;
Якорь. 1936. С. 63;
НЗ. С. 11;
На Западе. 1953;
Грани. 1959. № 44. С. 25;
Муза диаспоры. 1960;
Чтец-декламатор. Нью-Йорк, 1961. С. 7;
ЖРП. 1961. С. 290;
Е. С. 35;
АППЭА. 1973. С. 147;
Даугава. 1988. № 1. С. 111;

Лепта. 1991. № 2. С. 154;
Ковчег. С. 31;
Алтарь. 1994. 130.

105. **«Окно, рассвет... Едва видны, как тени...»**
НЖ. 1969. № 94. С. 43;
Ковчег. С. 41–42.

106. **«Он говорил: “Я не люблю природы...”»**
З. 1924. 15 сентября. № 85. С. 2;
Числа. 1934. № 10. С. 5;
НЗ. С. 54;
Е. С. 48;
Ковчег. С. 30;
Алтарь. 1994. С. 137.

107. **«Он еле слышно пальцем постучал...»**
З. 1924. 15 сентября. № 85. С. 2;
НЗ. С. 51;
Алтарь. 1994. С. 136.

108. **«Он милостыни просит у тебя...»**
Орион. 1947. С. 8;
Е. С. 30;
Ковчег. С. 36.

109. **«Опять гитара. Иль не суждено...» (1917)**
Ч. С. 26;
НЗ. С. 43;
Лит. Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19;
РПСВ. С. 492;
Алтарь. 1994. С. 135.

110. **«Опять, опять, лишь реки дождевые...»**
О. С. 23;
Весенний салон поэтов. М., 1918;
РПСВ. С. 490.

111. **«Осенним вечером в гостинице вдвоем...»**
СЗ. 1928. № 37. С. 232;
Якорь. 1936. С. 63–64 («Безлунным вечером, в гостинице, вдвоем...»);

НЗ. С. 39;
Е. С. 39;
Лепта. 1991. № 2. С. 155;
Алтарь. 1994. С. 134.

112. **Оставленная («Мы все томимся и скучаем...»)**
Огонек. 1915. 26 апреля (9 мая). № 17. С. 12.

113. **«Остров был дальше, чем нам показалось...»**
Опыты. 1953. № 2. С. 6;
Ковчег. С. 37–38.

Отрывок. См. № 154.

Отступление из Польши («Там страшный вождь, коварный и жестокий...»). См. № 146.

114. **«Падает снег, звенят телефоны...»**
Тринадцать поэтов. Пг., 1917. С. 4;
Ч. С. 24–25 (под названием «Вагнер. 1» и с разночтением).

115. **Памяти М. Ц. («Поговорить бы хоть теперь, Марина!..»)**
НЖ. 1971. № 102. С. 6;
Даугава. 1988. № 1. С. 113;
Сгоревшая жутко и странно Российского неба звезда... М., 1990. С. 63;
Ковчег. С. 43.

116. **«Патрон за стойкою глядит привычно, сонно...»**
СЗ. 1929. № 40. С. 239 (под названием «Рассвет»);
Якорь. 1936. С. 64;
НЗ. С. 13–14;
Е. С. 37;
Ковчег. С. 25–26;
Алтарь. 1994. С. 130.

Песня. См. № 46.

117. **«Печально-желтая луна. Рассвет...»** (*1921*)
Ч. С. 34–35.

118. **По Марсову полю («Сияла ночь. Не будем вспоминать...»)** (*1918*)
Ч. С. 44–45.

119. **«По темно-голубому небу мчались...»** (*1916*)
Ч. С. 20–22.
120. **«По широким мостам... Но ведь мы все равно не успеем...»** (*1921*)
ЦП-3. С. 6;
Ч. С. 11–12;
ЦП. Берлин, 1923. № 2–3;
З. 1924. 16 июня. № 72. С. 2–3;
НЗ. С. 24–25 (с разночтениями);
На Западе. 1953;
Е. С. 11;
АППЭА. 1973. С. 145;
Лит. Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19;
Волга. 1990. № 12. С. 127;
Ковчег. С. 23;
Человек. 1992. № 6. С. 185;
Алтарь. 1994. С. 132;
Венок Пушкину. М., 1994. С. 37.
121. **«Под ветками сирени сгнившей...»**
СЗ. 1928. № 35. С. 239;
Якорь. 1936. С. 66;
НЗ. С. 33;
ЖРП. 1961. С. 291;
Е. С. 38;
Лит. Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19;
Ковчег. С. 24–25;
Алтарь. 1994. С. 133.
122. **«Под глухой подавленный гул...»**
О. С. 14.
123. **«“Понять—простить”. Есть недоступность чуда...»**
НЖ. 1969. № 94. С. 44;
Ковчег. С. 42.
124. **«Пора печали, юность — вечный бред...»** (*1924*)
Числа. 1930/1931. № 4. С. 5–6;
Грани. 1959. № 44. С. 24;

Муза диаспоры. 1960;
Е. С. 42;
Ковчег. С. 28;
Человек. 1992. № 6. С. 186;
200 поэтов. С. 26.

125. **«Пора смириться, сэр. Чем дольше мы живем...»**
Русская мысль. 1970. 26 февраля. № 2779. Приложение. С. II.

126. **«— Поскучай дружок, поскучай...»** (*1916*)
Ч. С. 63.

Посвящение. См. № 165.

127. **Последняя любовь («Вот, под окном идут солдаты...»)**
О. С. 34;
ЕШ. 1925.

128. **«Приглядываясь осторожно...»** (*1952*)
Опыты. 1953. № 2. С. 7–8;
Е. С. 51;
Ковчег. С. 37;
200 поэтов. С. 27.

129. **«Проходил под лесами. Кирпич...»** (*1916*)
Ч. С. 67.

130. **«Проходит жизнь. И тишина пройдет...»**
Ч. С. 41.

131. **«Рассвет и дождь. В саду густой туман...»**
Благонамеренный. 1926. № 1. С. 14;
НЗ. С. 19;
Лит. Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19;
Ковчег. С. 30;
Алтарь. 1994. С. 131.

132. **Росмерсгольм («Темнеют окна. Уголь почернел...»)** (*1916*)
Северные записки. 1916. № 4–5. С. 49;
Ч. С. 38–39.

133. **«Светало. Сиделка вздохнула. Потом...»**
Встреча. 1945. № 2. С. 13;
Е. С. 18;
Ковчег. С. 39.
134. **«Сегодня был обед у Бахраха...»** (*1953?*)
(шуточное стихотворение из архива Бахраха в Bakhmeteff Archives).
135. **«Сердце мое пополам разрывается...»**
ЦП-4. С. 12.
136. **«Скоро день. И как упрямо...»**
О. С. 5.
137. **«Слушай — и в смутных догадках не лги...»**
НЖ. 1967. № 86. С. 21;
Е. С. 15;
АППЭА. 1973. С. 149;
Даугава. 1988. № 1. С. 113;
Ковчег. С. 40–41.
138. **«Со всею искренностью говорю...»**
Прислано Адамовичем Гиппиус 2 сентября 1928. Письмо находится в коллекции Томаса Уитни (ныне — в Amherst).
139. **«Социализм — последняя мечта...»** (*1920*)
НЖ. 1965. № 80. С. 30.
140. **«Стихам своим я знаю цену...»**
Встреча. 1945. № 2. С. 13;
Е. С. 5;
АППЭА. 1973. С. 147;
Даугава. 1988. № 1. С. 113;
Лепта. 1991. № 2. С. 151–152;
Ковчег. С. 35;
141. **Стихи в альбом («Я верности тебе не обещаю...»)**
Инвалид: Литературный сборник. Париж, 1934. С. 16.
142. **«Стоцветными крутыми кораблями...»**
О. С. 17.

143. **«Сухую позолоту клена...»**
О. С. 15–16;
ЕШ. 1925.
144. **«Так беспощаден вечный договор...»**
Новый журнал для всех. 1915. № 8. С. 4 (с посвящением Анне Ахматовой);
О. С. 9;
Посвящается Ахматовой. Tenafly, 1991. С. 63.
145. **«Так тихо поезд подошел...»**
О. С. 7–8;
ЕШ. 1925;
Волга. 1990. № 12. С. 128;
РПСВ. С. 489.
146. **«Там вождь непобедимый и жестокий...»** (*1916*)
Тринадцать поэтов. Пг., 1917 (с посвящением В. Х. Футлину, под названием «Отступление из Польши» и с разночтениями, первая строка: «Там страшный вождь, коварный и жестокий...»)
Ч. С. 36–37.
147. **«Там солнца не будет... Мерцанье...»**
НЖ. 1969. № 96. С. 74;
Ковчег. С. 42;
Человек. 1992. № 6. С. 187;
148. **«Там, где-нибудь, когда-нибудь...»**
СЗ. 1927. № 32. С. 146;
Якорь. 1936. С. 65;
НЗ. С. 60 (с посвящением З. Н. Гиппиус);
На Западе. 1953;
Е. С. 45 (с посвящением З. Г.);
Даугава. 1988. № 1. С. 112;
Ковчег. С. 24;
Алтарь. 1994. С. 137.
149. **«Твоих озер, Норвегия, твоих лесов...»** (*1924*)
Числа. 1930/1931. № 4;
НЗ. С. 38;

Грани. 1959. № 44. С. 24 (с разночтениями);
Муза диаспоры. 1960;
Е. С. 17;
Ковчег. С. 28;
Алтарь. 1994. С. 134.

150. **«Тихим, темным, бесконечно-звездным...»**
СЗ. 1929. № 40. С. 238 (под названием «Голос»);
НЗ. С. 12;
Е. С. 6;
Ковчег. С. 35;
Алтарь. 1994. С. 130.

151. **«Тихо, мирно мы теперь живем...» (*1918*)**
Ч. С. 64.

152. **«Тогда от Балтийского моря...» (*1919*)**
ЦП. 1921. № 2. С. 10–11;
Ч. С. 14–15.

153. **«Тридцатые годы. И тени в Версали...» (*1921*)**
Ч. С. 33.

154. **«Ты здесь, опять... Неверная, что надо...»**
НЖ. 1960. № 58. С. 93–94 (под названием «Отрывок»);
Е. С. 8–9;
Лепта. 1991. № 2. С. 153–154.

155. **«Тяжкий гул принесли издалека...»**
Голос жизни. 1915. 18 марта. № 12. С. 12.

156. **«Тянет сыростью от островов...»**
ЦП-4. С. 7;
НЗ. С. 27;
Е. С. 40;
Ковчег. С. 30;
Алтарь. 1994. С. 132.

157. **«У дремлющей парки в руках...»**
СЗ. 1928. № 35 С. 239;
НЗ. С. 17;
Лит. Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19;

Ковчег. С. 25;
Алтарь. 1994. С. 131.

158. **«Устали мы. И я хочу покоя...»** (*1917*)
Ч. С. 72;
РПСВ. С. 492.

159. **«Холодно. Низкие кручи...»** (*1920*)
Ч. С. 39;
Числа. 1930–1931. № 4;
НЗ. С. 45;
Грани. 1959. № 44. С. 24;
Муза диаспоры. 1960;
Ковчег. С. 22;
Алтарь. 1994. С. 135.

160. **«Чрез миллионы лет — о, хоть в эфирных волнах...»**
ЦП-4. С. 8;
НЗ. С. 31;
Лит. Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19;
Ковчег. С. 29–30;
Алтарь. 1994. С. 133.

161. **«Что за жизнь! Никчемные затеи...»**
НЖ. 1969. № 94. С. 43;
Ковчег. С. 42.

162. **«Что там было? Ширь закатов блеклых...»**
СЗ. 1928. № 37. С. 231;
Е. С. 24;
Даугава. 1988. № 1. С. 112;
Лепта. 1991. № 2. С. 153;
Ковчег. С. 25;
Человек. 1992. № 6. С. 185–186;
200 поэтов. С. 25.

Элегия. 1. См. № 5.

163. **Элегия. 2 («Когда с улыбкой собеседник...»)**
О. С. 28.

164. **«Я думал: вся земля до края...»** (*1916*)
Ч. С. 66.

165. **«Я не тебя любил, но солнце, свет...»**
Опыты. 1955. № 4. С. 3–4 (под названием «Посвящение»);
Е. С. 27–28;
Подъем. 1988. № 11. С. 121;
Крейд В. Прапамять. 1988;
НЖ. 1989. № 175. С. 248–249;
Ковчег. С. 38–39.

СОДЕРЖАНИЕ

ДОПОЛНЕНИЯ

«Облака» (1916)

Из сборника «Чистилище» (1922)

Из сборника «На Западе» (1939)

Стихотворения, не включавшиеся в сборники

ПЕРЕВОДЫ

ПРОЗА

Директор издательства:
О. Л. Абышко
Главный редактор:
И. А. Савкин

Художественное оформление:
А. Бондаренко
Н. И. Пашковская

Редактор:
Н. М. Баталова
Л. А. Абышко

Оригинал-макет:
А. Б. Левкина

Георгий Викторович Адамович (1892–1972)
Собрание сочинений. Стихи, проза, переводы / Вступ. статья, сост. и прим. О. А. Коростелева. — СПб.: Издательство «Алетейя», 1999. — 560 с.

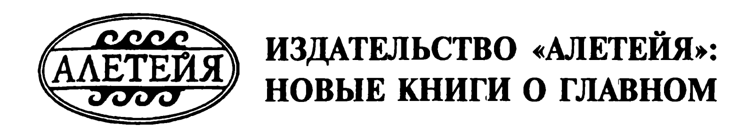
ИЛ № 064366 от 26.12.1995 г.

Издательство «Алетейя»:
193019, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 13
Телефон издательства: (812) 567–2239
Факс: (812) 567–2253
E-mail: aletheia@spb.cityline.ru

Сдано в набор 10.02.1999 г. Подписано в печать 25.07.1999 г.
Формат $70 \times 100/_{32}$. 17,5 п. л. Тираж 1500 экз. Заказ № 3423

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Санкт-Петербургской типографии «Наука» РАН:
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

Printed in Russia



ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЛЕТЕЙЯ»: НОВЫЕ КНИГИ О ГЛАВНОМ

Санкт-Петербургское издательство «Алетейя» существует с 1992 г. (первоначально как редакционно-издательская группа, с марта 1993 г. как самостоятельное предприятие). Его создатели — молодые философы, два выпускника философского факультета С.-Петербургского Университета. Это обстоятельство предопределило выбор названия для издательства (в переводе с языка древнегреческих мыслителей на современный русский «але́тейя» означает «истина», «правдивость», «открытость»), и выбор основного направления в деятельности нового издательства: издание и распространение классического наследия, т. е. сохранившихся первоисточников по мировой и отечественной истории, классической литературе, религии, философии, а также издание современных исследований по основным отраслям гуманитарного знания.

Визитная карточка издательства — быстро ставшие известными книжные серии: «Античная библиотека» (издается с 1993 г.), «Византийская библиотека» (издается с 1996 г.); «Памятники религиозно-философской мысли» (издается с 1993 г.); «Исследования по истории русской мысли» (издается с 1996 г.), «Российские социологи» (издается с 1996 г.), «Античное христианство» (издается с 1998 г.), «Российские психологи. Петербургская научная школа» и некоторые другие. Всего, включая многочисленные внесерийные издания, «Алетейя» выпустила в свет уже более 200 названий книг.

В серии «ВИЗАНТИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
вышли следующие книги:

В разделе «Источники»:

— Анна Комнина «Алексиада» (1996 г.);

— Иордан «О происхождении и деяниях гетов (Гетика)» (1997 г.);

— Иоанн Кантакузин «Диалог с иудеем» (перевод с греческого);

— Прокопий Кесарийский «Война с вандалами. Война с персами. Тайная история» (перевод с древнегреческого, издание 2-е, исправленное и дополненное);

— Евагрий Схоластик «Церковная история».

В разделе «Исследования»:

— Ю. А. Кулаковский «История Византии» в 3-х томах (1996 г., готовится новое издание);

— Е. В. Герцман «В поисках песнопений греческой церкви. Преосвященный Порфирий Успенский и его коллекция греческих музыкальных рукописей»;

— А. П. Рудаков «Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии»;

— И. П. Медведев «Византийский гуманизм»;

— Г. Г. Литаврин «Как жили византийцы»;

— Г. Г. Литаврин «Византийский лечебник XIV в.»;

— А. А. Чекалова «Константинополь в VI в. Восстание Ника»;

— А. П. Каждан «Византийская культура»;

— М. В. Бибиков «Византийская историческая проза»;

— И. В. Кривушин «Ранневизантийская церковная историография»;

— А. П. Лебедев «Духовенство древней Вселенской Церкви от времен апостольских до X века»;

— А. П. Лебедев «Очерки внутренней истории византийско-восточной Церкви в IX, X и XI веках»;

— А. П. Лебедев «Исторические очерки состояния Византийско-восточной Церкви от конца XI до середины XV века (От начала Крестовых походов до падения Константинополя в 1453 г.);

— А. П. Каждан, Г. Г. Литаврин «Византия и южные славяне»;

— А. А. Васильев «История Византийской империи» в 2-х томах;

— Я. Н. Любарский «Византийские историки и писатели»;

— Г. Г. Литаврин «Византия и славяне»;

— «Византия между Востоком и Западом».

Издание «Византийской библиотеки» на сегодня является приоритетной задачей издательства, поэтому и планы выпуска новых книг здесь наиболее обширны. В наших ближайших планах выпуск в свет следующих уже подготовленных для печати книг:

— А. П. Лебедев «История разделения Церквей в IX, X и XI веках»;

— Олимпиодор Фиванский «История» (с параллельным греческим текстом);

— Михаил Пселл «Хронография. Малые исторические сочинения»;

— «Советы и рассказы Кекавмена»;

— Константин Багрянородный «Об управлении империей»;

— С. П. Карпов «Трапезундская. империя»;

— В. П. Буданова «Готы в эпоху Великого переселения народов»;

— М. В. Бибиков «Византия, Русь, славяне»;

— М. В. Бибиков «Византийские источники по истории Древней Руси»;

— Прокопий Кесарийский «Война с готами (перевод с древнегреческого, издание 2-е, исправленное и дополненное);

— Е. Ч. Скржинская «Византия, Италия, Русь»
и многие другие книги.

Издательство приглашает к сотрудничеству авторов, переводчиков, редакторов.

Телефон редакции: (812) 567-2239,
fax: (812) 567-2253
E-mail: aletheia@spb.cityline.ru
Пишите нам по адресу: Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, д 13, издательство «Алетейя»

Для получения книг почтой заказы направляйте по адресу:

199034: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9.
Издательство Санкт-Петербургского университета,
отдел «Книга — почтой»
факс (812) 218-4422, тел. (812) 218-7763,
а также заказав их через отдел «Книга — почтой»
Санкт-Петербургского Дома Книги,
прислав заказы по адресу:
191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 28